

ISSN 2221-9331



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

Том 28
2016

Институт Восточно-Славянской цивилизации
г. Харьков

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Председатель — А. Г. Романовский

Главный редактор — Л. И. Мачулин

Редакция не ведёт полемику на страницах издания.
Переписка с читателями по усмотрению редакции.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Адрес для писем: а/я 9127, Харьков, 61057, Украина.

e-mail: editor01@list.ru
<http://slvn.org/>
тел./факс +38 (057) 700-40-25

ПОЭЗИЯ

...

* * *

От тошноты политиканских рож
бросает в дрожь,
в озноб,
 в холодный пот,
тем более, что ясен их исход,
и повествует будничным осмотр,
какие страсти гладко сбриты с морд.

От белых вод до воложской Казани
раденья наши снова доказали,
что неспроста гнедым и вороным
мы — ворвань им
на их неправый хлеб.
Уж сколь тому, когда Борис и Глеб
их лошадиный видели оскал,
а с ними те же цензор и фискал,
палач и тать, и стащенный с креста,
и все — по нам, и вновь, и неспроста.

* * *

Ну, что — на свободу опять обнищали?
Тюремною веет пургой.
Когда-то один здесь язык запрещали,
теперь запрещают другой.

Живучи былых инквизиций надзоры,
бессмертны цензур пастухи.
Когда-то здесь портили Гоголю творы,
теперь — новым Фетам стихи.

Одни лишь заморские умники Дали
искали созвучья векам.

Да что же нам за географию дали,
где тесно вдвоем языкам?

* * *

Который век никем непокоряем
в миру буянит, а с трибун молчит
убогий вид казарменных окраин,
где наше большинство себя влачит.

Друзья мои, и правым, и неправым,
и тем, кто юн, и тем, кто ныне стар,
вам не в новинку прыгать по канавам
от магазина до постельных нар.

Устав от матерщины и от шуток,
сюда стремясь перекемарить ночь,
из духоты измученных маршруток
по щиколотку месиво толочь.

На зданьях крыша — как колпак холопа,
сквозь окна свет — как пьяная луна.
Неужто это все — почти Европа?
Неужто это отчая страна?

Весна скупа на ласку и покой,
босые ветки пообулись в капли,
туман уже полмесяца такой,
что в нем и тропки к радугам иссякли.

Вот вам и Крым. А тут ни гор, ни моря,
все — мгла вокруг, все — робкий плач и хворь,
и белый свет, до полудня миноря,
напрасно сосны мастерит из хвой.

Нет в мире сил препятствовать тоске,
ей всюду пристань с ложем на причале,
и мы опять висим на волоске
над пропастью унынья и печали.

Судьба скупа на ласку и покой,
Но и сама-то — как себя влачила?
Обещанного Марком и Лукой
она до сей поры не получила.

Из непогоды Ялты и Керчи
над жалкими слезами Иван-чая
десница не простерта, а торчит
в нее перстом, настырно поучая.

И то не так, и это поперек,
и в наказанье постная охота
от горизонта гонит пепелок
невидимо сотлевшего восхода.

Его эфирам не подняться с лап,
и потому к дождям миропомазан
столь безнадежно телевизор слаб
и умирает акварельным глазом.

Что проку в нем, когда в его интраде
царят не музы Прокловых триад,
а мартовские свадьбы на эстраде
да бесовство, приплывшее в театр.

В саду не сохнет тяжкое шматье,
под лавры еж не протоптал дорогу.
Вот вам и Крым. Вот вам и бытие.
А мать ее, такую жизнь, ей-богу!

* * *

Конечно, нам грешно равняться с ним.
Он жил не так, не нашей показухой,
и хлеб наш ежедневный несравним
с его макухой.

За то, что власти правдою бесил —
не нам чета, не нынешним острогам —
он даже не наручники носил,
а кандалами лязгал по дорогам.

О том, что он — зачинщик смут и бед,
что в снах его — анафемская сила,
донос писал не барину сосед,
сама империя народу доносила.

И на рассвете возле очага
под песнопенья северных хоралов
его вязал не шавка из ЧК,
ему в надсмотрщики давали генералов.

Среди чужих казарменных мокрот
его вернули к рабским укоротам.
И, как всегда, безмолвствовал народ,
и он заплакал над своим народом.

Прошли года, ведя свою игру,
и полетев по свету стаяй книжек,
вдруг новой власти стал он по нутру.
Я не пойму — с каких-таких коврижек.

Взяв под уздцы иные времена,
то в атаманы, то в святые мьясь,
уж так ли отличается она
от тех сученок, что над ним глумились?

Все те же вертухай и псари
с густым сачком, каким крамолу ловят,
с какого хрена новые цари
слышнее нас Тараса славословят?

Всю жизнь свою — тому свидетель Бог,
и скреплено делами и словами, —
не он ли вас, как грязь, стирал с сапог,
не он ли руки мыл, расставшись с вами?

Так что же вы на свой иконостас
его мастырите, натужа шеи бычьи?
Нет, не за вас отбедовал Тарас.
Покайтесь прежде, чем его величить.
1964

* * *

На желтых равнинах, на бледных морях
молчат и камыш, и сорока.
Жара разжирела на сухарях
вселенского солнцепека.

У этой погоды не взять, не купить
полкружки ни квасу, ни чаю,
стоишь на пороге и просишь попить,
она тебе не отвечает.

Ты думал, что мир тебя цацками ждет,
когда из теснин тебя перло,
а он и в холопы тебя не берет —
такими, как ты, сыт по горло.

* * *

А ведь оно — не озорство,
когда откушав по поллитрику,
сидевшие за воровство
кричат — сидели за политику.

Спокойно и разумно судячи,
смотри — вся нынешняя власть,
настырно таковою будучи,
не в состоянии не красть.

При здоровом понимании должности,
куда она ни держит путь,
нет малой у нее возможности
чтобы не тырить что-нибудь.

* * *

У депутата прострация,
задача неразрешима —
прислуге нужна операция,
а сыну нужна машина.

Цена там и там кусается,
и надобности похожи —
наследник на стену бросается,
прислуга плачет в прихожей.

Страшное неудобство,
решенью тесно пространство —
с одной стороны отцовство,
с другой стороны гражданство.

Только вчера в утайку
за приближенье к трону
непомерную пайку
отелюнил патрону.

Норку сварганил ведьме,
к морю возил малолетку,
в шампанском купал, а намедни
дачу спустил в рулетку.

Сын, безусловно, вышил.
Прислуга слезу прибавляет.
Сделать меж ними выбор
совесть не позволяет.

В душу вцепились клещи, —
дергают — мама миа!
Страшные это вещи —
джипы и лейкемии.

* * *

В беседе с дряхлеющим телом
лукавит словами душа.
«Как много я в жизни не сделал»
читай, как — «Еще б подышать».

Пусть тело подернет короста,
пусть где-то за благо война,
но снова б отведать с морозца
в декабрьском бокале вина.

* * *

Едва начав душой своей маячить
в окне, куда стучался белый клен,
родителей я звал спасать и нянчить,
еще не осмысляя их имен.

Потом шли дни. Я с детством расставался.
На зимы отчие из мчавшейся весны
с тех прошлых пор я только отзывался —
на крики их, на слезы их, на сны.

В черед, когда настанет время кануть,
жена и дети, твердь и семена,
пока слова не растеряет память,
шептать я буду ваши имена.

1

Лидия Егоровна, Лидочка, сегодня, как никогда, чувствовала себя хорошо. Голова не только не болела, но и была светла. За окном стояло лето — начало июля 2006-го года. Лидия Егоровна долго сидела на кровати, потом встала, подошла к окну, стала смотреть на двор, на лужи, которые быстро высохали от вчерашнего проливного дождя, как часто бывает, когда летит тополинный пух. Было странное предчувствие, что именно сегодня должно что-то случиться. Она всё думала, почему появилось это волнующее ожидание? И, наконец, поняла: сегодня она совсем не видела тот постоянный сон, который видела много лет подряд.

Это случилось ровно через двадцать лет, после того, как пропал Серёжа, её муж, и она перестала его ждать. И тут к ней стал приходить этот сон. Снился ей тот последний день: они расстаются у метро, он заходит в дверь подземки, она остаётся на улице. Ждёт, когда Сергей выйдет, он не выходит. Она подходит к двери, двери перед ней открываются, и она видит огромную чёрную яму — пропасть, — и ей хочется в неё заглянуть, но Лида чувствует, что пропасть затягивает, что она сейчас туда упадёт... Она просыпается, часто с криком, в холодном поту.

Первое время её охватывал сильнейший страх, она долго не могла прийти в себя, начиналась истерика. Павел, сын, в то время только женился, жил с женой вместе с матерью в трёхкомнатной квартире, и не знал, что делать. Он очень любил мать и жалел. Вера, его жена, была беременна и пугалась этих криков и истерик. Она, конечно, знала, что у Павлика пропал отец, но насколько сильно Лидия Егоровна это переживает — не догадывалась. Переехав жить к мужу, впервые увидела приступ. Поначалу очень боялась Лидию Егоровну — отрешённого молчания, того, что та вообще не воспринимала её ни как невесту сына, ни как жену. Но потом сочувствие и понимание победили страх, Вера старалась, как могла, помочь Лидии Егоровне.

Только с рождением внучки Лидия Егоровна немного ожила, но ненадолго. Вскоре она попала в больницу для тихо помешенных. Пролежала там три месяца, ей стало лучше. Но вскоре сон опять возобновился, однако ей очень не хотелось опять попасть в больницу. Она взяла слово с сына, что он её больше туда не отправит, что она сможет себя контролировать и не будет обузой их семье.

Когда ей становилось очень плохо, она чувствовала это приближение. Смесь меланхолии со страхом. Она звала Веру. Вера делала ей укол, который прописал врач-психиатр. Ей становилось легче, она долго спала, потом ещё дня три сидела, ничего не ела, ничего не говорила. Когда становилось лучше, начинала понемногу есть.

Ела Лидия Егоровна очень мало. Была худенькая, с большими печальными серыми глазами. Она и сейчас была красива благородной красотой, и совсем не седая, со стрижкой каре, которую ей делала внучка. Когда к ней в комнату заходила Юля, и она была здорова, появлялся свет в глазах. Улыбалась, спрашивала, как учёба, как Дима. Больше ничего не спрашивала, жила в своём собственном, — том, остановившемся для неё, — времени, где была счастлива и весела, молода и красива, с густыми каштановыми волосами, с голубовато-серыми весёлыми глазами, с задорным смехом, была любима и любила. Много лет она не выходила из дому, и не хотела.

Постояв у окна, Лидия Егоровна подошла к комоду. Достала небольшую красивую шкатулку, расписанную в русском стиле, открыла, долго смотрела, затем стала доставать фотографии. В этой шкатулке не было её детских фотографий. Они были в другом месте, а здесь — только их совместные с Сергеем. Их было немного. В то время сильно много не фотографировали. У них не было фотоаппарата, Сергей этим не увлекался. А вот друг его Толик — да. И это он их часто фотографировал, сам печатал снимки и дарил им на память.

Когда родился Павлик, они каждый год, на день рождения Павлика, ходили в фотосалон. Последний раз пошли туда, когда Павлику исполнилось пять лет. Вот перед ней эта фотография. Она, Лидочка, ей двадцать пять лет, Серёже — двадцать восемь. Наклонились головами друг к другу и улыбаются, посередине Павлик, слегка приоткрыв рот, ждёт, когда птичка вылетит. Их

тогда фотограф насмешил этой птичкой. Потом он предложил им перефотографироваться, но они отказались. Вспомнила, как возвращались домой от фотографа, как продолжали смеяться над Павликом, который расстроился, что не увидел птички. Сергей посадил сына на плечи, был месяц май, всё цвело и пахло. Долго гуляли, ели мороженое, эскимо на палочке, пили газированную воду с двойным сиропом. Вспомнила, как Павлик захотел в туалет, и Сергей его еле успел завести в кусты, а Лида всё смеялась и смеялась...

Когда вернулись домой и Пашу уложили спать, сами уставшие, но счастливые, решили, что надо Паше брата или сестру. Чтобы не так, как у них. Сергей один у матери, отец на фронте погиб, Лида тоже одна, отец был военным, много ездили, пока не остановились в Москве на постоянное место жительства, а Лиде уже пятнадцать было. Да и мама не молода с отцом. Поженились рано, да Лиду поздно родили, врачи не разрешали маме долго рожать. Лида была долгожданным ребёнком, её очень любили и лелеяли, возлагали большие надежды, хотели, чтобы была она доктором...

Нахлынули воспоминания, но Лидия Егоровна их сегодня не отгоняла. Очень давно она себя так хорошо не чувствовала и понимала, что это совсем ненадолго, что уже завтра может всё быть по-другому. Но она старалась держать себя в руках. Потому что сейчас в квартире была только она и Юля. Боялась напугать Юлю. Она знала, что Юля хорошо инструктирована в том, как помочь бабушке, куда позвонить, позвать соседку-медсестру для оказания первой помощи. Но Лидии Егоровне этого совсем не хотелось, тем более что сегодня она чувствовала себя как никогда.

Разложив на столе фотографии и сев рядом, она перенеслась в ту далёкую жизнь — начало 60-х годов, космическую эру, как говорил Сергей:

— Мы живём в великое время, нам повезло, мы покоряем космос, и все нам завидуют.

И это было так!

Тогда наконец родители привезли Лиду в Москву, в эту самую трёхкомнатную квартиру недалеко от станции метро «Краснопресненская». Теперь рядом с ними станция метро «Баррикадная». Дом был сравнительно новый, построен после войны, военнопленными немцами. Такие дома называли

«сталинками». Все квартиры были двух и трёхкомнатными, в каждой жили по две и три семьи. Им же сразу дали изолированную квартиру. Отец был уже в чине полковника, очень быстро шёл по политической линии, стал преподавать в военной академии, повысился в чинах и дослужился до генерала. Мама, Наталья Павловна, хотя и закончила Бестужевские курсы в Екатеринбурге, но, выйдя замуж, нигде не работала, ездила за мужем.

В 1940 году родилась Лидочка. В это время они были под Киевом. Там же их застала и война. Отец сразу отправил их в Свердловск к отцу жены и её мачехе. Эта женщина – вторая жена Наталиного отца, – была очень доброй крестьянкой, своих детей у неё не было. Она с радостью приняла Наташу с Лидочкой, носилась с ними, это немного раздражало Наташу. Когда стало трудно и холодно жить в городе, она увезла их в свою деревню за город. Благодаря ей, её заботе, молоку и хлебу, они выжили. Отец приехал за ними в 1947 году. Лиде было семь лет. К тому времени дед завёл пасеку. Часто брал Лиду с собой на пасеку. Она стояла в стороне и смотрела на деда. Добывали мёд. А потом они его ели, и она облизывала соты – это было такое счастье.

II

Отец вернулся в 1947 году и увёз их в город Калинин, который мама по старинке называла Тверью. Там Лидочка пошла в школу. Жили в однокомнатной квартире счастливо, Лидочка с мамой часто ходили гулять к Волге. Лида хорошо училась. Ей купили пианино, мама водила в музыкальную школу. Вообще Лида росла домашней девочкой, красивой и аккуратной, послушной и доброй. Ей было жалко своих одноклассников, которые были беднее её. В школе она всегда отдавала им свой бутерброд и яблоки. Знала, что дома всё это для неё есть. Мама, конечно, знала, – ей об этом рассказывала одна приятельница, мать Лидочкиной одноклассницы. Но дочери Наталья ничего не говорила и не запрещала этого делать.

В 1955 году Лида закончила с отличием восемь классов женской школы, музыкальную школу, и летом они переехали в Москву.

Лида сразу полюбила этот прекрасный город. Она не могла насытиться московским воздухом. Теперь она уже взрослая, и именно здесь, в столице, ей так хочется вырваться из-под маминой опеки и быть самостоятельной. Ей в этом помогла их новая

домработница.

Это была ещё молодая женщина, лет тридцати с небольшим. Не замужем, немного хромала, но из-за этого не комплексовала. Она не обращала внимание на свою хромоту, была здорова и жизнерадостна. В Москве жила давно в коммунальной квартире. Получила сразу после войны от военкомата, потому что работала в госпитале. Полина стала Лидочке почти подругой. Водила её по музеям, по выставкам. Родители ей полностью доверяли дочь. Полина любила кататься на метро, и чем дольше они ехали, тем больше Полине это нравилось. Лиду она держала постоянно за руку и понимала, какая на неё возложена ответственность. Очень часто оставалась у них ночевать.

В сентябре Лида пошла в девятый класс. Школы уже были смешанные, и мальчики заглядывались на красивую девочку, почти девушку — среднего роста, стройную и хорошо воспитанную. Многие мальчики предлагали свою дружбу, но Лида смеялась, ей было не до этого. Впереди — институт и Москва, которую ей хотелось узнать всё больше и больше.

Два года пролетели быстро. Родители убеждали её поступать в медицинский, но Лида категорически сказала «нет».

Сидя у стола, перед разложенными фотографиями, Лидия Егоровна вспомнила, как, заканчивая десятый класс, сказала родителям, что решила поступать в МГУ на физико-математический факультет. С мамой началась истерика. К тому времени мама, уже немолодая женщина далеко за сорок, начала часто расстраиваться, нервничать. Сказывалось сидение дома, скука, подруг в Москве у неё не было, она и не хотела ими обзаводиться.

Затем в Лидину комнату, там, где сейчас спит Юля, зашёл отец. Стал говорить, что действительно сейчас век ядерной физики, но это не женское занятие. Говорил, что много других интересных факультетов, можно пойти на иностранные языки, можно пойти в институт международных отношений. Но Лида настаивала на своём. Отец вздохнул и вышел.

В это время отец уже имел своего шофёра и адъютанта. Им был тридцатилетний Михаил в чине старшего лейтенанта. Он часто бывал у них дома, и маме очень нравился. Во всех отношениях положительный, вежливый, учтивый, довольно хорош собой. Лидочке он всегда говорил: «Здравствуйте, Лидия Егоровна», на что Лида отвечала: «Здравствуйте, здравствуйте». Смеялась и

уходила к себе в комнату.

Поступила в МГУ она легко — набрала нужные баллы. Перед самыми занятиями мама позвала Лиду к себе в комнату. И в открытую стала ей говорить, что необязательно идти учиться, что главное для женщины удачно выйти замуж, а есть уже готовый жених, ты ему очень нравишься, он просил у меня твоей руки. Он останется в Москве, значит, и ты всегда будешь обеспечена, он старше тебя, это хорошо, он никогда тебя не обидит... Много говорила о том, что мы не вечные, что отец себя плохо чувствует, ему уже скоро шестьдесят. И очень хотелось бы видеть единственную дочь крепко стоящей на ногах. Хотелось бы и внуков дожидаться.

Лида засмеялась, пообещала маме, что внуков дожждётся, и ушла. После этого старалась не попадаться на глаза Михаилу. Когда Лида училась на втором курсе, Михаил женился, его жена тоже была дочкой генерала. Быстро рос по званию и уехал с ней в Ленинград. А Лида совсем забыла о нём. Вроде как его и не было никогда в их квартире.

Училась Лида легко, всё ей давалось легко. Девочек на факультете было мало, Лиде как-то было скучно. И сама себе признавалась, что мама была права. И физика, и математика, и другие технические предметы не казались трудными, главное — было ей не очень интересно. Но именно в это время она познакомилась с Сергеем.

Он учился на четвёртом курсе, и не раз заглядывался на хорошенькую девушку. Была зимняя сессия. Лида стояла у двери аудитории и ждала своей очереди, чтобы отвечать. Сергей подошёл и спросил, не надо ли помочь с ответом. Лида засмеялась и ответила, что такой необходимости нет.

— А жаль, — сказал Сергей, — так хотелось помочь.

Затем Лида пошла отвечать. Когда она оделась, чтобы идти домой, и вышла из университета, она увидела, что Сергей её ждёт. На Лиде был белый длинный полушубок и песцовая шляпа. Она была очень хороша в своём наряде, и Сергей смутился. Она это заметила, ведь он был гораздо скромнее одет. Лида улыбнулась ему, и он подошёл. Ничего не говоря, они пошли медленно к метро. Вечер был хороший, тихий, без ветра и снега. Под ногами скрипел снежок, был небольшой мороз. Всё это бодрило, и совсем не хотелось ехать домой. Они прошли мимо станции, не спускаясь, и пошли дальше. Лида спросила, где живёт Сергей, он ответил,

что живёт в общежитии, общежитие находилось на станции метро «Маяковская».

Он провёл её к дому. Пожелал спокойной ночи. Они ещё немного постояли, он рассказал, что приехал из Калуги. Что там живёт его мама, отец не вернулся с фронта. Его лучший друг Валентин тоже из Калуги. Они одноклассники, были в школе влюблены в физику, вот и приехали учиться на физиков-атомщиков.

На пороге был 1961 год. С этого времени Лида и Сергей стали встречаться. И Лида себе призналась, что влюбилась, и поняла, что любима. Сергей был красив той красотой, которую привычно называли «русской». Высок, худощав, густые русые волосы. Большие серые глаза, прямой нос. Улыбка с ямочкой на щеках и, в то же время, что-то мужское, крепкое и немного грубоватое.

Время летело быстро. Наступил апрель, тёплый, мягкий. 12 апреля! Все были ошарашены и обрадованы новостью о первом космонавте. Все занятия отменили, казалось, вся страна высypала на улицу, все радовались, поздравляли друг друга. Первый раз Лидочка поехала с Сергеем к нему в общежитие. Ребята решили отметить немного это событие. Взяли шипучки, пирожное. Комната была на четверых, но жили в ней трое: Сергей, Валентин и Толик. Все друзья, все физики.

Когда немного выпили, ребята рассказали Лиде, смеясь, что Сергей хочет вывести формулу вечной молодости. Когда это произойдёт, — а это должно быть скоро, — то человек может оставаться очень долго таким, как есть сейчас. Сергей тоже смеялся, говорил, что это ерунда. Но Лида почувствовала, что сквозь смех и шутки, какая-то у Сергея грусть во взгляде...

Ребята незаметно ушли, Лида вдруг поняла, что уже поздно. Но Сергей её не отпускал, был очень ласков. И потом — эта непонятная грусть в его глазах... Она осталась.

В ту ночь они не только говорили друг о друге, строили планы на будущее. Лида почему-то всё время вспоминала о «формуле вечной молодости» — показалось ей, что для Сергея это очень важно. Ещё когда ребята весело об этом рассказывали, ей сразу захотелось расспросить Сергея. Но что-то останавливало, удерживало... Вот тот его необычно серьёзный, глубоко затаённый взгляд. Но сейчас Серёжа стал для неё самым близким и родным, ей хотелось понять его мечту. И она спросила:

— Ты правда изобретаешь формулу вечной молодости? А где

ты над этим работаешь, в лаборатории? Это будет что-то вроде машины времени?

Голова девушки лежала на плече парня, он коротко рассмеялся, коснулся губами её волос.

— Ты любишь фантастику? Веришь, что машина времени может существовать?

— Конечно, — воскликнула Лидочка вдохновенно. — Как же не верить после сегодняшнего дня! Фантасты писали о полётах в космос, а сегодня Юрий Гагарин туда полетел!

— Ты права! — Сергей приподнялся на локте, наклонился к Лидочкиному лицу. Глаза его блестели, голос звенел. — Всё, что фантасты придумали, всё воплотится. Но то, что хочу открыть я, — это не техническая разработка. Это — сила человеческого разума, это луч мысли, который пронзит время!

Она протянула руки, погладила его плечи.

— Я не понимаю, Серёжа? Как можно одной мыслью перенести человека во времени? Или омолодить его?

— Лидочка, учёными уже доказано, что мозг человека — неизведанная и таинственная область. Мы в нашей жизни задействуем лишь малую долю его, мизерный процент. Остальное нам недоступно. Пока недоступно. Те люди, которых мы называем гениями, сумели включить в работу ещё какой-то участок мозга, совсем маленький. А вот если человек станет пользоваться хотя бы четвертой частью ресурсов своего мозга, он тогда станет... Ты только представь — он станет подобен богам! Он такое сможет! Именно с помощью своей мысли!

Лидочка засмеялась:

— Ты хочешь стать богом?

Он снова лёг на спину, улыбка блуждала на его губах.

— Богом, не богом, но чувствую, что есть она, эта «формула вечной молодости». А, может быть, и «вечной жизни». Иногда мне кажется, что вот-вот, и я пойму её...

Теперь уже Лидочка склонилась над ним, прохладной ладонью коснулась его горячего лба. Прошептала:

— Мне кажется, если мы будем всегда любить друг друга, то останемся всегда молодыми. А, может, и жить будем вечно...

Всё, что произошло в тот вечер, 12 апреля, между ней и Сергеем, случилось так неожиданно. Но Лида ни о чём не жалела, она была уверена в Сергее. Когда приехала утром домой, а не на занятия, мама плакала, говорила, что дочь совсем от рук отбилась,

что если есть молодой человек, то пора их познакомить. Лида пообещала познакомить в самое ближайшее время. Договорились на воскресенье, когда дома будет папа.

Полине она рассказала обо всём, та вздохнула, потом одобрила, сказала, что молодость уходит быстро и если любишь, то ничего плохого в этом нет.

В воскресенье произошло знакомство, и Сергей попросил руки Лидочки. Мать ахнула, спросив, как студент собирается содержать семью? Не за их же счёт? Отец одёрнул мать, сказал, что если решили, то пускай, но не раньше, чем Сергей закончит учиться, то есть через год.

На майские праздники поехали в Калугу. Мама Сергея жила на окраине города, казалось, что это уже пригород. Цвела абрикоса — стояла вся в белом, как невеста, и Лида, зажмурив глаза, представила себя невестой рядом с Сергеем. Серёжина мама, Анастасия Фёдоровна — учительница небольшой начальной школы, — жила на краю посёлка в частном доме. Расплакалась, увидев их. Целовала Лиду. Узнала, что Сергей просил её руки у родителей Лиды. Не знала, где усадить, чем угостить. Лида смеялась, обнимала Анастасию Фёдоровну, предлагала свою помощь.

На следующий день они сажали картошку. В спортивных костюмах, весёлые и немного усталые, остались ночевать во флигеле. Вернулись в Москву счастливыми.

Ещё ничего не говоря Сергею, Лида почувствовала, что уже не одна. Она не испугалась, а немного растерялась. Ведь они хотели, чтобы Сергей закончил учёбу, а ему ещё год учиться. Врач подтвердил её догадку. Сергей тоже немного растерялся, узнав, но потом обрадовался, что скоро станет отцом, а ребёнок будет называть его папой.

Вечером явились вдвоём к родителям и всё объяснили: они распишутся и продолжат, конечно, учёбу. После разговора отец позвал Сергея к себе в кабинет. Он достал деньги и сказал, чтобы Сергей купил себе соответствующую одежду к бракосочетанию, кольца, и что он даёт эти деньги ему в долг. Начнёт работать — отдаст. Сергей молчал, тогда Егор Николаевич предложил, чтобы Сергей написал расписку. В течение пяти лет он должен вернуть деньги. На такие условия Сергей согласился. Когда Сергей пошёл к Лиде, Егор Николаевич вздохнул облегчённо, он боялся, что Сергей денег не возьмёт. Перед сном, когда Сергей уже ушёл, зашла Лида, поцеловала отца, немного даже всплакнула. Сказала отцу,

что Сергей очень трудолюбивый, обещал, что отдаст долг. Отец засмеялся и сказал, что он просто его не возьмёт, что они одна семья, и что деньги должны быть общими: «А на кого же мне их тратить!»

Отец поставил условие, что жить должны вместе, хотя бы первое время. Никто не спорил. Сергей понимал, что сейчас он не имеет права голоса, что Лида — единственная любимая дочь, и что они пока студенты.

Вечером, когда Егор Николаевич ложился спать, Наталья Павловна сказала:

— Не ожидала я от Лиды, что вот так всё будет.

— Почему? — спросил отец. — Ведь ты тоже ко мне пришла первой, когда узнала, что я уезжаю, и осталась.

Наталья Павловна обиделась, даже вспыхнула, что, мол, ты всё помнишь. Егор Николаевич погладил жену по плечу и сказал, что он был тогда очень счастлив и благодарен ей за этот поступок. Да и сейчас счастлив тоже, ведь у них есть такая замечательная дочь, а скоро и внук будет.

— Да, Лида сказала, что если родится сын, назовут Павлом, в честь твоего отца. Она его очень любит, всё до мелочей помнит, как вы в деревне жили без меня. Если дочь, Сергей не против Настей назвать.

Долго они сидели рядом, двое пожилых людей. Наталье Павловне было уже далеко за пятьдесят. Егору Николаевичу за шестьдесят...

Громкую свадьбу Лида с Сергеем отказались устраивать, расписались в начале августа в ЗАГСе. Лида была в красивом голубом шифоновом платье, Сергей в хорошем сером костюме. Гуляли в небольшом кафе на набережной реки Москвы. Много было студентов. Из взрослых только родители Лиды и мама Сергея. Сразу после росписи поехали к деду Павлу в Свердловскую область, он всё ещё там жил. И его жена была жива. Пасеки уже не было. Очень обрадовались приезду внучки. Лида водила Сергея по местам своего военного детства.

Осенью пошли учиться дальше. Сергей на пятый, Лида на третий курс. Вместе ходили на занятия, вместе с занятий, всегда за руки. Подходил срок родов. Лиде было немного страшно, но радостно. Все знакомые пророчили сына. Под самый Новый год, немного раньше срока, появился Павлушка. Родился крупный — четыре килограмма, причинив Лиде немалую боль и страдания.

Но всё ушло в прошлое: и боль, и страдания.

Сразу взяли няньку. Лида продолжала учиться, но всё больше понимала, что родители оказались правы, и она избрала не ту профессию. Это — не её. Тогда на неё первый раз напала меланхолия. Как же всё стало? Сергей предлагал оставить физико-математический и на следующий год поступать на факультет иностранных языков. Лида не знала, что делать. Потом это состояние прошло, и Лида решила, что когда Павлик пойдёт в первый класс, она пойдёт в эту школу учителем математики.

Павлик рос хорошим спокойным мальчиком, очень похожим на деда Егора, все его любили, немного баловали, что не очень нравилось Сергею, на этой почве у них иногда были разногласия.

Через два года, когда Сергей уже работал в институте закрытого типа физиком-ядерщиком и часто выезжал на разные испытания, и Лида тоже защитилась, отказались от няньки. Лида пока не работала, решила немного посвятить себя Павлику. В три года Павлик пытался читать, знал все буквы. Лиде было с ним весело и совсем не скучно. Они много гуляли, ходили в художественную детскую студию, на разные аттракционы. Полюбили готовить и ждали вечером мужа и отца. Сергей приходил довольный и усталый, рассказывал, что можно было рассказать, о друзьях — Толике и Валентине, — они работали вместе.

Когда Павлику было четыре года, скоропостижно умер отец Лиды, Егор Николаевич. Мама, Наталья Павловна, совсем ушла в себя, не хотела ничего, просила оставить её в покое, ей самой очень хорошо. Она уединилась вот в эту самую комнату, где сейчас и находится Лидия Егоровна. А они заняли две комнаты. Папин кабинет теперь стал Серёжиным кабинетом. И не было уже даже разговора, чтобы уйти и жить самостоятельно. Хотя им этого так хотелось, и Сергей мог бы от института получить однокомнатную квартиру. Но по просьбе Лиды он даже с очереди на квартиру снялся. Все прекрасно понимали, что Наталью Павловну нельзя оставлять одну.

В тот воскресный день, в конце августа, они поехали к Толику на день рождения, он обещал познакомить их с невестой. Жил он сам в однокомнатной квартире, которую получил от института. Приехал Валентин с женой Валей. Валя была очень скромная, немного стеснительная, работала в больнице медсестрой. У Валентина вырезали аппендицит, и в больнице они познакомились.

Теперь они уже ждали ребёнка. Лида с Сергеем гуляли у них на свадьбе. И вот теперь Толик тоже собирается жениться, знакомит их с невестой.

Вика — красивая брюнетка с тонкими чертами лица, — работала секретарём в райкоме партии при большом начальнике, знала себе цену. Мало говорила, снисходительно всем улыбалась. Было видно, что Толик влюблён в неё по уши, видел только её. Да и Вика, похоже, видела его будущее как физика-атомщика, знала, что он хорошо зарабатывает и совсем не умеет считать деньги.

Всё было вначале хорошо, пили лёгкое вино, разговаривали, ставили пластинки. Потом появилась бутылка водки, ребята начали понемногу пить. Повеселели. Стали шутя подсмеиваться над Сергеем: мол, ни сегодня-завтра он всё-таки выведет формулу вечной молодости, это его жизненное призвание. Лида никогда не забывала их с Серёжей разговор об этом в ту, первую ночь. Хотя потом к этой теме они никогда не возвращались. Сейчас же шутки ребят почему-то были ей неприятны, да и Вика раздражала своим надменным взглядом.

Потом Сергей пригласил Вику танцевать, потому что Толик не танцевал. Они смеялись, Вика что-то шептала Сергею на ухо, он ещё больше смеялся. Лиде это было в новинку и очень неприятно. Валя заметила её состояние, просила не обращать внимание: ребята ведь выпили...

Расходились поздно. Молча вышли на улицу. Сергей уже отрезвел, хотел взять Лиду под руку, но она отстранилась.

— Лидочка, — сказал он виноватым голосом. — Ну да, я сглушил. Знаешь, о чём мы с ней говорили, с Викой?

Лида дёрнула плечиком, хотела сказать жёстко: «Не знаю и знать не хочу», но промолчала. Ей было интересно.

— Она сказала, что я хороший танцор, но надо даму крепче к себе прижимать. Я ответил, что Толику это не понравится, зачем его дразнить, если ты его любишь. «А кто сказал, что я его люблю?» — засмеялась она. Я тоже засмеялся: «Ты шутишь! Зачем тогда выходить за него замуж?» «Ты ведь уже женат» — вот что она ответила мне.

— И ещё сильнее к тебе прижалась, — бросила Лида и попыталась вырвать свою руку.

Но Сергей удержал её, обнял за плечи:

— Глупенькая! Мне эта Вика совсем не нравится! И, попомни моё слово, Толик скоро тоже в ней разберётся.

— А сейчас он в неё влюблён, — Лида успокоилась, прижалась

к плечу мужа. — Но, согласись, она красивая.

— Для меня лучше тебя никого нет. И не будет.

— Даже когда мы постареем?

— Ты забыла? Я ведь изобрету формулу вечной молодости...

У Сергея вдруг почему-то сошла с губ улыбка, взгляд стал затуманенным, отрешённым. Они как раз подошли к станции метро, когда он резко стал. Мимо ехал автомобиль с шашечками, и Сергей поднял руку. Такси остановилось.

— Лида, — сказал он странным хриловатым голосом. — Ты езжай домой. А я хочу проветриться... Что-то не очень хорошо себя чувствую. Я потом вернусь, скоро...

Захлопнул дверь машины и скрылся в дверях метро.

Лида вначале хотела побежать за ним, но потом вдруг её взяло зло, и она подумала: «Ну и пусть проветривается, подумаешь», — и поехала домой на такси.

Она так устала, что сразу легла и заснула. У Сергея был ключ, он откроет сам, а Павлик первое лето был у бабушки в Калуге. Они его уже два раза навещали, ему там очень нравилось. Носить воду, помогать бабушке, бегать с соседним мальчиком босиком до речки и обратно. Речка была близко, и бабушка видела, как они добегают и сразу возвращаются. Он им это всё рассказывал взахлёб, они смеялись и были счастливы. Вообще Лиде очень нравилось у Серёжиной мамы. Ей там было как-то очень уютно в окружении старой мебели, ковриков. У них давно уже было всё современное и добротное. Вот и на следующие выходные они должны поехать за Павликом, чтобы его забрать в Москву. Он уже с трёх лет ходит в детский сад, а в этом году пойдёт в подгруппу.

Вспоминая всё это, Лида уснула. Проснувшись в два часа ночи, увидела, что Сергея нет ни рядом, ни в кабинете. Больше она не спала. Именно с сегодняшнего дня, с понедельника, Сергей был в отпуске. Они должны были поехать экскурсией по Золотому Кольцу, а затем за Павликом. Ни утром, ни днём Сергей не появился, Лида не знала, что и думать. Вечером позвонила Толику. Толик ничего не знал. Валентин тоже. Не зная, что и думать, куда обращаться, она решила, что, может, он уехал к матери утренним поездом и вот-вот ей позвонит. Но звонка не было. Прошла ещё одна ночь. Ни слуху, ни духу.

Лида решила ехать в Калугу. Взяв билет на утренний поезд, она уже днём была в Калуге. Когда доехала к дому Серёжиной матери, увидела замок. Соседка сказала, что бабушка с Павликом

на огороде, начали картошку копать. Лида поняла, что нет здесь Сергея, иначе бы соседская баба Нюра обязательно упомянула об этом. Медленно она пошла на огород, это было совсем недалеко, за речкой, а река рядом. Пройдя мост, она увидела их. Павлик небольшим ведёрком сносил картошку в одно место и рассыпал, чтобы она подсохла. Лида немного постояла, взяла себя в руки и, улыбаясь, подошла к ним. Скоро все вернулись в дом. Для свекрови Лида придумала, что Сергея отправили срочно в командировку и отпуск перенесли. Она решила сама приехать за Павликом, ведь с сентября он должен пойти в подготовительную группу. Анастасия Фёдоровна что-то почувствовала, спросила, всё ли с Сергеем в порядке, не поссорились ли они. Лида успокаивала, говорила, что всё хорошо.

Вернувшись в Москву и поняв, что Сергея нет, она пошла в ближайшее отделение милиции, и там ей помогли правильно оформить заявление на розыск мужа. Успокоили, что сразу будут предприняты меры и её сразу оповестят по телефону.

Никто из ребят не звонил, потому что именно с понедельника весь отдел физиков-ядерщиков ушёл в отпуск. Никто ещё не знал, что Сергей пропал без вести вот уже неделю. Лиде не с кем было поделиться. Мама привыкла, что Сергея часто не бывало, да она как-то и не замечала его, только иногда с Павликом общалась. Он заносил ей в комнату свои игрушки и всё спрашивал, что у бабушки болит. Наталья Павловна отвечала, что голова, он гладил её по голове, она плакала, целовала Павлика, говорила, что он очень похож на дедушку, и это действительно было так.

Павлик рос очень спокойным и не капризным мальчиком. Не по годам серьёзным. Рано научился читать и хорошо считал, складывал, отнимал. Когда его спрашивали, кем хочет стать, он отвечал: «Солдатом», что очень радовало Наталью Павловну. Наталья Павловна радовалась ещё тому, что он не похож на Сергея и Лиду. Она полностью видела в маленьком внуке своего любимого Егора.

Время шло, Сергея не было. Возвратился из отпуска отдел, стали звонить ребята. У Толика намечалась свадьба, а Сергей как в воду канул. Все не находили себе места. Ребята ходили в милицию, просили что-то делать.

На станции метро «Павелецкая» — той самой, куда зашёл Сергей, были опрошены дежурные. Одна из них, пожилая женщина, вот что рассказала в милиции. В тот день она дежурила по станции,

было уже поздно, одиннадцать часов вечера, на станции пассажиров было мало. Она обратила внимание на красивого парня в клетчатой рубашке, он был похож на какого-то популярного артиста, которого она не помнит по фамилии, но точно похож на него. Этот парень сидел на скамейке с каким-то отрешённым видом, он был явно отчего-то растерян. Поезда приходили, а он всё не заходил в поезд, сидел. Она даже хотела к нему подойти и, было, уже направилась, как он вдруг резко встал и подошёл к краю платформы последнего вагона: в это время гудела подъезжающая электричка. Дежурная на минуту замерла, в это время на платформу влетела электричка, и ей, дежурной, в какой-то миг показалось, что этот красивый парень растворился впереди поезда каким-то синеватым дымком.

Она зажмурила глаза, её пошатнуло, а когда открыла глаза, всё было как прежде. Электричка остановилась, кто-то вышел, почти никто не зашёл. Объявили, что двери закрываются, и поезд тронулся. Платформа осталась пустая, только сама дежурная стояла как столб, сильно колотилось сердце, но всё было в полном порядке. Парня не было. Присев на скамейку и немного успокоившись, она решила, что в то время, когда она закрыла от испуга глаза, парень зашёл в последний вагон...

Вот такой был её рассказ. Да, действительно, Лида подтвердила, что это был Сергей. Это он был в этот вечер в клетчатой рубашке с коротким рукавом и светлых брюках. Лида с ребятами даже узнали, где живёт эта пожилая дежурная, и ходили к ней домой. Она им повторила рассказ, при этом не сводя глаз с Лиды, что ту очень смущало. Убеждала, что всё это с дымком ей привиделось, что когда электричка быстро едет, то всегда перед ней колышется воздух, вот и показалось, а на самом деле он просто зашёл в последний вагон и уехал. При этом она очень глубоко вздохнула, как бы пожалела то ли Лиду, то ли Сергея.

Когда вышли от этой женщины, долго шли молча, и вдруг Валентин сказал:

— Неужели удалось?

Толик остановился как вкопанный, а Лида первый раз расплакалась.

Время шло. В ноябре женился Толик, а летом он и Вика расстались. Через год Толик встретил очень хорошую молодую женщину, у которой уже была маленькая дочка. Они поженились, и у них ещё родились мальчишки-близнецы, которых назвали

Сергеем и Валентином. Семья Толика очень поддерживала Лиду, часто приглашали к себе. Жена Толика – Оля – была с Подольска, куда они ездили и брали Лиду с Павлушей. Часто к ним присоединялся Валентин с женой Валеёй, у них уже было две дочки. Только Сергея не было. Но почему-то все верили, что Сергей должен вернуться.

Когда прошло три года, прекратили поиски. Много за эти три года Лида пережила. Надо было ездить на опознание в морги, что делали ребята вместо Лиды, ездили в психиатрические лечебницы, но всё было тщетно.

Так прошли первые десять лет. Умерла мама, учился в восьмом классе Павлик. После школы решил идти в военное училище – ракетное. Лида работала в школе, преподавала математику, но как-то без энтузиазма, классное руководство не брала, не хотела. Она резко сдала, была уже не весела и очень резко отличалась от той, прежней Лидочки. Она уже перестала, кажется, ждать Серёжу, и только Павлик её радовал своей серьёзностью, аккуратностью, дисциплиной. Она теперь тоже видела в нём своего отца, а ей так хотелось, чтобы сын был похож на Сергея.

Когда исполнилось десять лет от того дня, они с Павликом поехали в Калугу к Серёжиной маме. Они ездили каждый год, часто приезжала сама мама к ним. Она была ещё бодрой женщиной, просила Лиду не падать духом и, главное, ждать, ведь не война:

– Мы обязательно дождёмся, я это знаю, он мне снится и просит дождаться.

Лиде Сергей ни разу не снился, значит, «забыл её», – думала она, а маму помнит.

Тогда, на десятилетие, она первый раз сорвалась и привезла вино. Анастасия Фёдоровна испугалась, что это поминалы. Пить не стала, но срыв был. Когда вернулись в Москву, началась истерика. Пришла соседка, вызвала скорую. Отвезли в больницу. В больнице Лида была не долго, три дня. Вышла вроде успокоенная, но из школы ушла и больше не работала.

Время шло. Павлик не прошёл по здоровью в военное училище, при комиссии обнаружили язву желудка в начальной стадии. Павлик поступил в политехнический институт, закончил с красным дипломом, женился на Верочке. Вера была той самой девочкой, которую Толик удочерил, женившись на Ольге. Павлик и Вера были знакомы с детства, крепко дружили, всегда стояли друг за

друга. Выросли и не захотели расставаться. Вскоре у них родилась Юля. Лидия Егоровна немного ожила с появлением внучки. Надо было помочь молодым, Вера ещё училась, Павлик работал заместителем главного инженера на одном из московских заводов. Он быстро рос по служебной линии, подавал большие надежды.

Когда подошло двадцатилетие пропажи Сергея, с Лидией Егоровной опять случился срыв. В этот раз она в больнице была больше месяца, вышла очень постаревшая и замкнулась в себе. Вера боялась оставлять на неё Юлю, и это ещё больше на неё повлияло. Юлю рано отдали в детский сад, и Лидия Егоровна подолгу оставалась одна. Вера работала вместе с Павликом на заводе. Работой они были довольны. Когда Юля болела, то приезжала ещё молодая Верина бабушка и сидела с внучкой, что очень раздражало Лидию Егоровну.

Время шло. Для Лидии Егоровны была нанята сыном медсестра, женщина средних лет, она полностью обслуживала Лидию Егоровну. Готовила ей еду. Убирала в квартире. Она находила общий язык с Лидией Егоровной, они вспоминали то время 60-х, когда были ещё молоды. Но всё чаще и чаще Лидия Егоровна впадала в меланхолию. Сидела и смотрела перед собой невидящим взглядом, не ела, не пила. Это всегда случалось после её страшного сна. Медсестра делала успокоительный укол, и дня через два шок проходил.

Так длилось почти двадцать лет. Выросла Юля. Ей сейчас двадцать один — она студентка истфака МГУ. Ещё на первом курсе Юля подружилась с ребятами, тоже историками, которые увлекались историческими полевыми играми. Такие игры их факультет устраивал каждый год. Летом парни и девушки выезжали за город на несколько дней, с палатками, провиантом. У них уже был разработан сценарий — чаще всего из средневековой истории: рыцари, принцессы, варвары-захватчики, а то и фантастические персонажи. И, конечно, костюмы, которые ребята делали сами. Девушкам шить красивые длинные платья было проще, а вот парням приходилось самим ковать себе кольчуги, мечи, шлемы. Около университетской турбазы было уже обустроенное место с имитацией замка, крепостных стен, пещеры. Там юные историки и разыгрывали свои приключения.

В первое же лето, на играх, Юля познакомилась со второкурсником Димой — теперь он её жених. На днях они

собирались выехать на игру, причём на этот раз именно им достались главные роли. Юля должна была быть похищенной герцогиней, а Дима — её рыцарем и спасителем. Теперь герцогиней станет другая девушка, и спасти её будет другой рыцарь. Дима не хотел ехать без Юли, но она настояла — у него ведь была определённая роль в игре, нельзя подводить ребят. Он уехал.

Сама Юля спокойно приняла такой поворот — была умной и доброй девушкой. Прекрасно понимала, что бабушку нельзя оставлять одну, потому что папе дали лечебную путёвку в Трускавец — ему обязательно нужна была эта путёвка, а мама поехала с ним, и на месте возьмёт тоже курсовку, чтобы быть рядом с отцом.

...Юля тоже смотрела в окно на лужи после дождя. Вздыхнув, она подошла к двери бабушки. Пора было заглянуть и узнать, как самочувствие, и принести бабушке чай. Юля знала историю бабушки: 1965 году пропал дедушка, и бабушка долго ждала, а потом сломалась, у неё часто стали случаться психические расстройства. И бабушка совсем не хочет выходить из своей комнаты, только тихонько, чтобы никто не слышал, она выходила в туалет или в ванную помыться.

Юля легонько постучала и приоткрыла дверь. Бабушка сидела к ней спиной за столом. Юля подошла, взяла бабушку за плечи и увидела, что на столе лежат фотографии. Фотографии бабушкиной молодости.

— Можно посмотреть? — спросила Юля.

— Садись.

Юля села. Она сразу обратила внимание, что бабушка сегодня не такая, как всегда: в глазах блеск, причесалась и, кажется, чуть припудрилась. Даже халат надела новый, который подарили ей родители на восьмое марта. «Он ей очень идёт, голубой, как глаза», — подумала Юля.

— Дима не звонил? — спросила бабушка.

— Пока нет, но должен сегодня или завтра вернуться. Присылал эсемеску.

Бабушка улыбнулась:

— Да, как сильно прогресс вперёд пошёл. А мы думали в шестидесятых, что нам повезло: первый человек в космос полетел. А теперь уже и не сосчитать всех космонавтов, компьютеры, мобилы. Жаль, что Сергей не дожил до этого.

И замолчала. Юля на минуту испугалась за бабушку.

— Расскажи о дедушке, — попросила она, и опять испугалась: может, зря.

Но бабушка оживилась.

— Смотри, на этой фотографии тот самый день, последний. Вот я с Серёжей сиюю немного обиженная, а он весёлый. Это потом Толик мне принёс. Хорошая память. А это мы все вышли на улицу, уже было темно, и Толик фотографировал со вспышкой, а мы все зажмурились. Вот Сергей взял меня за руку, рядом Валентин с Валентиной. А вот мы втроём, здесь Павлику четыре с половиной года. Зимой, на свой день рождения, он болел, мы его не сфотографировали, решили в мае.

Юля смотрела на фотографии, где бабушка и дедушка такие молодые и красивые. Бабушка в модном платье с юбкой-клет, в горошек, с красивой стрижкой, у бабушки волосы красивые и волнистые. Дедушка в рубашке с коротким рукавом, тоже красив. Говорят, что Юля на него очень похожа. У неё тоже светлорусые волосы, приятные черты лица, улыбка с ямочками, добрый, весёлый взгляд.

III

В это время раздался звонок в дверь. Это было так неожиданно, что и Юля, и бабушка вздрогнули. Какие-то секунды обе молчали и смотрели друг на друга.

— Ну вот и Дима? — сказала бабушка.

Но Юля знала, что это не Дима, Дима звонит не так — он долго и мягко нажимает на кнопку. Юля несколько раз ему говорила в шутку, что не глухая, а он смеётся: «А вдруг не услышишь да не откроешь». Этот же звонок был какой-то резкий и короткий.

— Пойду открою, — сказала Юля и встала.

Краем глаза она увидела, что бабушка сильно напряглась. Юля вышла и прикрыла дверь. Звонок не повторялся, но Юля слышала, что за дверью кто-то есть. Какая-то тревога передалась ей от бабушки. Постояв секунду у двери, она приоткрыла её и замерла. Перед ней стоял тот самый молодой человек, которого она только что видела на фотографиях у бабушки. Это был её дед. И муж бабушки Сергей. Он был в той самой клетчатой рубашке и светлых брюках, красивый, с голубыми глазами и русыми волосами, чуть-чуть не бритый и какой-то растерянный.

Они молча смотрели друг на друга.

— Извините, — прервал паузу первый Сергей, — здесь живёт

Лидия Егоровна?

— А вы кто? — выдавила из себя Юля.

— Я ей знакомый, то есть, я сын её знакомого с Урала, — как-то заикаясь немного, сказал он. — А вы?

— Я внучка Лидии Егоровны, Юля.

— Значит, вы Юлия Павловна?

— Да, я Юля.

Теперь Юля точно знала, что это дед. «Боже мой, — мелькнуло в голове, — но откуда? Почему такой молодой? И как это сказать бабушке? Бабушка сейчас не здорова, она не сможет всё принять».

Он переминался с ноги на ногу.

— Можно мне зайти?

— Да зайдите, конечно, ведь вы с дороги, — сказала Юля и опять подумала: «С какой это дороги?» Мысли путались в голове.

Сергей зашёл.

— Пойдёмте на кухню.

Когда они проходили мимо бабушкиной комнаты, услышали:

— Юля, кто там?

Оба замерли.

— Это ко мне, бабушка, от Димы.

Они прошли в кухню, и Юля прикрыла дверь. Она обернулась к Сергею и, глядя на него в упор, спросила:

— Где вы были всё это время? Ведь вы мой дед? Я это точно знаю! Я только что видела ваши фотографии.

Сергей опустил на стул, закрыл лицо руками и тоже сказал:

— Я не знаю. — Посмотрев на Юлю, он ещё раз сказал: — Я действительно не знаю. Меня не было всё это время.

И тут он заговорил быстро.

— Понимаете, Юля, в молодости, работая физиком-ядерщиком, я хотел вывести формулу вечной жизни, при которой человек ещё и остаётся вечно молодым. Все надо мной подсмеивались, а я... То верил в это, то разуверивался. Мне это удалось, в тот вечер, когда я исчез — тебе ведь бабушка рассказывала? Я спустился в метро, как в тумане, долго сидел, проносились электрички. И вдруг так ясно понял, как это можно сделать — словно молния блеснула. Ни на секунду не задумываясь, просто опьянённый своим открытием, я тут же, сразу загадал сам себе: вернуться через сорок лет.

— Как же это подло было по отношению ко всем, — воскликнула Юля. — К вашей жене, к сыну, к вашей матери — она ведь ещё

жива! Вы даже не представляете, как все страдали!

Сергей опустил голову:

— Это был эксперимент, и он удался... Я не нахожу слов для оправдания, но что сделано, то сделано. Помогите мне, Юля, я чувствую, что именно вы мне сможете помочь.

— Но чем?

— Расскажите мне всё, что вы знаете, что было за это время, что происходило в нашей семье. И чего достиг мир — хотя бы вкратце.

— Чаю хотите?

— Очень.

Юля быстро заварила чай.

— Сейчас я отнесу бабушке, а вы пойдите в ванную, а потом мы пойдём в мою комнату.

— Спасибо, Юля.

Юля зашла к бабушке.

— Что там случилось?

— Всё в порядке, бабушка, это от Димы, он там немного приболел, вот и приехал Андрей. Мы чай пьём.

— Ну хорошо, не буду вам мешать.

Юле почудилось, что бабушка слишком пристально смотрит, и зрачки у неё такие большие, глубокие, странные. Испугалась: «Неужели начинается приступ? Нет, не похоже. Предчувствует что-то. Всё равно узнает, но пусть немного позже...»

Она зашла в свою комнату. Как-то странно билось сердце. Сама себе говорила, что всё это из области фантастики, но ведь перед ней её дед, молодой и красивый и, конечно, несчастный. Что же делать?

Пока Юля стояла и думала, дверь тихонько открылась, зашёл Сергей. Юля быстро сходила на кухню, принесла чай и бутерброды с сыром и ветчиной. Сергей ел жадно.

— Сорок лет не ел, — пошутил он грустно.

Юля ещё пошла и подрезала. Затем принесла эклеры. Наконец Сергей, кажется, немного насытился.

— Что же нам делать? — спросила Юля. — Как-то надо ведь бабушку подготовить.

В Юлиной комнате стоял компьютер. Лежала мобилка на журнальном столике. Сергей с интересом всё это рассматривал. Он рассказал Юле, как он очнулся. На той же самой станции, на той же самой платформе. Как понял, что в совсем другое время попал. Как шёл от метро пешком к ним и боялся, что его остановят

и подумают, что он не в себе. Но всё прошло благополучно.

Юля рассказала, что отец с мамой сейчас в Трускавце, что у отца болит желудок, что через две недели они должны вернуться. Рассказала о друзьях, о Валентине с Валентиной. У них две дочки и внуки. Что её бабушка — жена Анатолия, и он ей сводный дед. Рассказала про бабушкину болезнь, о том, что Лидия Егоровна два раза была в больнице, но сейчас она чувствует себя лучше, и что-то предчувствует. Они вместе с ней смотрели их фотографии, когда раздался звонок.

Юля хотела ещё что-то рассказать, но в это время дверь открылась и на пороге появилась Лидия Егоровна. Все замерли. Сергей вскочил с кресла и сделал шаг навстречу. Она слегка пошатнулась и схватилась за кресло. Юля подскочила к бабушке и усадила её в кресло.

Лидия Егоровна закрыла глаза руками, минуту так сидела, когда открыла, то Сергей стоял перед ней на коленях. Он взял её руки, прижал их к своим губам и тихо прошептал:

— Прости меня, Лида.

— Где же ты был? — еле слышно спросила Лидия Егоровна, и слёзы потекли из её глаз. — Мы тебя все так ждали. Павлик так долго ждал и вырос. Твоя мама, она ещё жива, но уже не может сама приехать. Юля к ней часто ездит.

В это время Юля увидела, что Сергей плачет. Он положил голову на колени к Лидии Егоровне, и она гладила его волосы. «Он совсем не чувствует себя молодым, — подумала Юля, — и так же любит бабушку. И она, как будто даже не удивилась его молодости...»

— Что же делать? Надо, наверное, позвать Толика и Валентина, — сказала Лидия Егоровна. — И что-то решить, как нам быть дальше.

Юле дали задание съездить к друзьям Сергея и ввести их в курс дела. Юля вышла из комнаты, оставив их вдвоём.

К вечеру пришли Анатолий с Ольгой и Валентин с Валентиной. Конечно, как Юля им не объясняла, они всё равно все были шокированы, увидев Сергея. Сергей рассказал, что всё это время его просто не было, он заказал сам себе явиться через сорок лет. Это была очень большая глупость, но она случилась. И вот он перед ними — такой же, как в минуту исчезновения.

Часа через два друзья ушли — ошеломлённые и возбуждённые. Юля в окно видела, как они шли по улице, продолжая громко

обсуждать происшедшее, размахивать руками. Она сама, чувствуя сильную усталость, пошла отдыхать, оставив бабушку и деда одних.

Они сидели на диване, голова Лиды лежала на плече мужа — это было так привычно, что, в какие-то минуты, казалось: ничего не изменилось, не было сорока лет... Но они были. И Лида спросила:

— И что же, эти годы оказались для тебя одним мгновением?

Сергей, невесомо коснувшись губами её волос, вздохнул:

— Да. Из тоннеля уже выезжала электричка. Я увидел прямо перед ней... вихрь, завивающаяся спиралью молния — это трудно объяснить! Никогда раньше такого не видел и понял: вот оно! Сам себе словно приказал: «Вернуться через сорок лет!» И вернулся, как мне показалось, тут же. Но почти сразу понял — нет, время другое! Получается именно так, что для меня сорок лет оказались мгновением. Но знаешь, Лида, было ещё что-то... Трудно объяснить! На уровне подсознания. Что-то завораживающее и страшное. Яма, бездонная воронка...

Лида вздрогнула: бездонная яма! Это был её сон. И вдруг испугалась: не сон ли то, что происходит сейчас? Но Сергей обнимал её за плечи, глядел прямо в глаза. Она улыбнулась:

— То, что ты для меня, вот такой молодой, остаёшься в моём восприятии мужем, и меня это не удивляет — это понятно. А для тебя? Не кажусь я тебе старухой? Может, ты заставляешь себя думать обо мне, как о жене?

— Ты поверишь мне? — Он взял обе её руки, сжал. — Со мной странная вещь произошла, и сейчас странное происходит. Моё тело осталось молодым, а душа... Может быть, это две разные субстанции? Душа словно другая... мудрая, много испытавшая... Нет, Лида, ты для меня ровесница, и мне вовсе не приходится притворяться!

— Ты веришь в душу? В Бога? Ведь сорок лет назад не верил.

— Вот я об этом и говорю! Может, всё это время, все эти годы моя душа жила отдельно от тела? А значит, она есть! И путь у неё особый.

Лида долго молчала, потом тихо, почти шёпотом, произнесла:

— А у меня наоборот. Тело старело, а душа оставалась молодой. Ждала тебя...

Анатолий и Валентин приходили каждый вечер. Рассказывали о работе, обо всех технических новшествах, подарили Сергею мобильный телефон. Он совсем не удивился этому прибору, так

же, как и компьютеру. Быстро понял принцип функционирования, а, посидев день вместе с Юлей у монитора, во многом разобрался.

В один из таких вечеров Валентин, пристально взглядевшись в Сергея, сказал удивлённо:

– Дружище, ты, кажется, быстро стареешь! Прямо на глазах.

Лида тихонько улыбнулась, она заметила это ещё раньше: морщины у глаз, на лбу, чуть отступившие со лба волосы, слегка посеребрённые виски... И Сергей кивнул:

– Да, ребята, я уже это понял. Время, видимо, не обманешь, оно своё берёт. Скоро нагоню вас. Вот только не хочется, чтоб вы это наблюдали... – Он бросил быстрый взгляд на Лиду. – И соседей шокировать как-то не хорошо, не объяснишь ведь. Мне бы на месяц уединиться куда-нибудь и предстать перед всеми таким, каким должен быть сейчас. Вот только куда?

Анатолий предложил пожить ему на своей даче, оставшейся после тётчи. Юля сидела рядом с бабушкой, слушая все разговоры. Она тут же захлопала в ладоши.

– Есть самый лучший вариант! Завтра возвращается Дима, и мы сразу, с ребятами из поисковой группы, поедим по местам боевых действий – под Москвой и дальше, там, где сейчас до сих пор идут поиски погибших и их захоронений. Если Сергей Павлович не против, поедем с нами?

Юля называла деда именно так – «Сергей Павлович», – язык не поворачивался сказать «дедушка».

Сергей обрадовался этому предложению. Но было решено, что вначале они поедут в Калугу. Так и договорились.

Утром приехал Дима, примчался к ним прямо с вокзала, так соскучился по Юле. Сергея ему представили, как дальнего родственника с Урала. И решили, что завтра они уже тронутся в путь. А потом Юля ему всё расскажет. С Лидией Егоровной осталась Оля – Юлина бабушка и жена Толика.

Взяв с собой рюкзаки и проверив всё, отправились в путешествие. Лидия Егоровна была уверена, что всё теперь будет хорошо. Ведь Сергей не один, а с Юлей и Димой. И что через месяц, как сказал Сергей, он вернётся, но уже другой: такой, какой и должен быть в свои шестьдесят восемь лет. Она была спокойна.

Сергей, Юля и Дима приехали в Калугу. Мама Сергея, Анастасия Фёдоровна, поцеловала Юлю, Диму, которые не раз уже вместе приезжали. И долго смотрела на Сергея. Заплакала, прижалась к нему. Так они долго стояли и плакали.

Юля и Дима потихоньку вышли на улицу. У девушки на глазах были слёзы, но она улыбалась радостно.

— Конечно, — сказала она, взяв Диму за руку и прижавшись к нему, — матери гораздо проще принять сына таким молодым. Он ведь для неё всегда ребёнок.

Дима уже знал историю Сергея, Юля не выдержала, рассказала ему сразу.

Два дня побыли гости в Калуге. Потом, пообещав на обратном пути вернуться и забрать Анастасию Фёдоровну в Москву, они уехали подо Ржев. Присоединились к поисковой группе добровольцев и целый месяц находились вместе. Жили в палатке все вместе.

Вскоре Юля и Дима стали замечать, что Сергей Павлович начал потихоньку меняться. Через две недели это уже был не тот молодой человек двадцати восьми лет, а зрелый мужчина. У него уже была борода, и она его облагораживала.

Свою палатку они поставили в стороне от общего лагеря поисковой группы, чтобы не вызывать любопытство у других. Когда подошло время возвращаться, то и Юля, и Дима увидели в Сергее теперь уже взрослого пожилого красивого мужчину. Тогда Юля впервые его назвала дедом. Сергей Павлович очень этому обрадовался, и впервые обнял и поцеловал Юлю, как это и положено деду.

Как-то, сидя поздним вечером у костра, Дима сказал:

— Сергей Павлович, а может, вы на другой планете были? Ведь не зря у вас имя Сергей Павлович, как у Королёва, а родом вы из Калуги, где родился Циолковский! Может, вы просто не хотите об этом рассказывать?

Дима по натуре был парень с юмором.

— Нет, Дима, — покачал головой Сергей, — я и правда ничего не знаю, что всё это время со мной происходило.

— А вы могли бы повторить этот свой... ну, эксперимент?

В глазах у Димы мерцали, переливались отблески костра. Может быть поэтому казалось, что он как-то особенно взбудоражен. Сергей обнял его за плечи.

— Для того, чтоб сконцентрировать и выпустить наружу ту энергию, которую я называл «формулой вечной жизни» или «вечной молодости», нужно определённое состояние. В это состояние много чего входит. Одно из главных — большое, нет, страстное желание... Нет, Дима, я никогда этого больше не смогу. Нет у меня желания.

— Но почему? — воскликнул Дима. — Это же такое открытие!

— Открытие... Жизнь прошла мимо меня, — горько сказал Сергей. — Я не видел, как пошёл в школу мой сын Павлик, не решал с ним задачки, не переживал, когда он болел или сдавал экзамены. И свадьба его, и твоё, Юленька, рождение, и взросление твоё... Ведь это должна была быть моя жизнь, а её не было! Я пережил день, когда полетел в космос Юрий Гагарин. Какое испытал тогда счастье, какая это память на всю жизнь! А вот все современные открытия — они тоже прошли мимо меня, я не был их участником и свидетелем. А должен был быть! А Лида!

Он повернулся к Юле, покачал головой:

— Ты говорила мне, что она сильно переживала моё исчезновение, что у неё были расстройства психики. Ты сказала вскользь, без подробностей, но я ведь знаю, какая она впечатлительная и ранимая, и даже боюсь представить, что это было! Нет, ребята, никогда я больше не захочу повторить свой эксперимент. А значит — и не смогу.

Он замолчал, Дима с Юлей тоже молчали. Сергей долго смотрел на горящий костёр, потом поднял взгляд вверх. Небо было усыпано просто-таки гирляндами ярких звёзд. Особенно выделялась чёткая широкая полоса Млечного пути. Сергей не мог оторвать от него глаз. Он всегда очень любил смотреть на Млечный путь. Но только теперь, вдруг, понял почему. Потому что это — вечность.

Они уже были в пути на Москву, и их там ждали.

Конец.

...

* * *

Сквозь зелень бьется звездочками солнце,
целуя и кору, и комара,
и по лучу прозрачному несется
белесый, как раздумье, дым костра.

В нем — зримей луч. И тишина слышней,
когда гуляет птичий посвист в чаще.
И я сама проявленное в ней,
как луч, как тишь, как этот миг летящий.

* * *

С полуденных веток стекает земная тоска.
И час истекания этой тоски неизбежен.
Но сердце стучит — будто бьет за раскатом раскат.
И где-то в груди закипает безудержный ливень.

Как медленно длятся, как тихо минуты ползут,
никак не прорвет от горючей тоски избавленье.
Я ждать не хочу! Я ударю по струнам минут
и выплесну ливневой яростью стихотворенье!

Оно разразится, прорвется, ударит грозой
в бессмысленном том ожиданье, тоскливом и сонном,
и будет светиться оно, но светиться слезой,
и пахнуть, но пахнуть промокшей листвой и озоном.

Я вызов бросаю вселенской бессмертной тоске —
своей незавидно-завидной летучею долей.
Прольется мой дождь, и проклонется в мокром песке
мгновенный росток ликованья, и счастья, и воли.

* * *

До клетки раствориться в этой иве,
что одиноко во дворе стоит.
Чтоб ветви не висели сиротливо,
и чтоб она не плакала навзрыд.

Открылась всем ветрам, и ливням тоже,
и робкого не прятала лица.
Мы — всё и вся. И умереть не можем,
друг в друге растворившись до конца.

* * *

Молчат деревья. В чуткой тишине
удержанно скользящее мгновенье.
Переплетенья света и теней
препятствуют его исчезновенью.

Так облако зависло пеленой,
и тень его распластана над лесом.
Так вечность тихо плещется волной
по рекам, по лесам и горным срезам.

В удержанной листвою тишине
не различимы шорох, щебет птичий.
И миг, и вечность растворились в ней
так полно, что меж ними нет различий.

* * *

Слетаемся на миг.
Слетаемся на час.
Слетаемся на жизнь.
Разлука неизбежна.
И расставание,
и душ,
и глаз,
и сердце захлебнется болью нежной.

Утихнет боль. Нас понесет вразлет.
И будет миг иной.
И жизнь иная.

С другими будем — потеряем счет —
слетаться, ни о чем не вспоминая.

Но всё пройдет, как крепко ни держись.
... Я счастлива, слиянем, единением
и этим ускользающим мгновением
длиною в миг.

И в час.

И в год.

И в жизнь.

Зеленый цвет на пепельный окрас
меняет лес, когда подходит полночь.
и я туманюсь в этот смутный час,
и беспросветною тоскою полнось.

Исконный мрак, что гложет душу мне,
со всею безысходностью земною,
впотьмах неотвратимей и вольней
глядят в меня и говорят со мною.

Но чуть спадет мерцающий покров
с макушек дуба, клена и рябины,
дремучий ужас, студящий кровь,
неспешно уползет в свои глубины.

Рассветный час торжественен и тих.
Молитвенная дань всего живого.
Вот так в душе моей восходит стих,
и, верно, так же зародилось Слово.

И гуще розовеет небосвод
над миром ждущим и оцепенелым.
Незнаемая радость сердце рвет:
пунцовое сиянье стало белым.

И раскаленно бел воздушный зонт,
и сквозь него бестрепетная сила
всю тьму мою огнем своим прожжет,
чтоб я его, как капля, отразила.

* * *

Р. В.

Всё в мире стораает — и сердце истаает в золе.
Мы живы пока — и за сердце друг друга в ответе.
И может ли что-то важней быть на этой земле
живого тепла, что одно нас и держит на свете?

Все ценности мира — ничто перед этим теплом.
Миг жизни — и каждый из нас — бесконечно бесценен.
Мы можем по-разному видеть, что будет потом.
Но здесь и сейчас нам никто никого не заменит.

И сердце трепещет, боясь невозможных потерь.
И к небу вызывает отчаянно и близоруко.
Ничто не стораает. И ты мне, пожалуйста, верь.
Никто не уйдет. Все пребудут, кто любит друг друга.

Разбираю предметы в столе...
(Прежде — думать боялась об этом.)
Вот ключи в самодельном чехле.
Вот часы с потемневшим браслетом.

Кошелёк (грудка мелких монет).
Эта брошка мне очень знакома.
Вот с бумагами толстый пакет.
Даже письма мои из роддома...

Фотографий минувших времён
достаю пожелтевшие стопки.
Тихо тенькнули об медальон
обручальные кольца в коробке...

Нет хозяев. Сердечная стынь.
Жизни будто бы и не бывало.
Им теперь вместо белых простынь —
только белых снегов покрывала.

Бусы старые грею в горсти...
Глядя в спутанность ниток-иглонок,
тайну жизни пытаюсь найти...
Не нашла. Только маленький сколок.

* * *

Люди придумали
протезы всего, что угодно:
зубов, глаз, ушей, рук и ног,
даже почки и сердца.
Есть протезы для памяти —
телефонные книжки, конспекты...
Есть протезы ума —
калькулятор, компьютер.
Но никто никогда не заменит протезом
сердечность.

* * *

Сосна о себе не кричит.
Цветок молчит о себе.
Покой их не нарочит,
не отвоеван в борьбе.

Различны и вид, и рост.
И разве сравнишь красу?
Но нрав у обоих прост.
На равных они в лесу.

Молчанья легла печать
на лес, луга и холмы.
Зачем о себе кричать,
коль с ними на равных мы?

* * *

В безвоздушном пространстве, в безнежности и безлюбовье
ты живёшь много лет... А теперь — ну откуда взялось! —
чувство, как ураган, разнесло вековое зимовье
и горячим потоком прожгло твое сердце насквозь.

Без него уже впредь не смогу. Мне для зренья и слуха
так нужны его буйные краски, крутые ветра.
Только после него не случилась бы где-то разруха —
ураганная суть на такие подарки щедра.

Ты пытаешься чувство стреножить, но властью глубинной
так охвачена вся, так трепещет твоё естество!
Только вот перед Богом — не знаешь — права ли отныне.
Что там чувство твоё — перед вечною бездной Его!

Но когда свою душу, как смятую ветошь, расправишь
и всю бездну вместишь, где свой нором смирит ураган,
кто-то в дальних пределах коснётся невидимых клавиш
и душа зазвучит, как не ведомый миру орган.

Мы не знаем что такое любовь...
З.Фрейд

Не знаю, у кого — как, но где бы я не был, где образуется хоть малейшее скопление людей — будь то очередь за чем-нибудь, в поезде, в автобусе, трамвае или троллейбусе, в магазинах, театре и просто на улице... Разглядывая особей прекрасного пола от нимфеток до женщин осенней поры, невольно мысленно выделяю одну самую привлекательную из них и украдкой смотрю на Нее. И Она уже в чем-то моя: я то прикасаюсь к ее руке, то слегка дую на локон ее волос. Что-то шепчу ей на ухо. Представляю, какая она под одеждой, какая у нее грудь, какого цвета соски, каков ореол вокруг них, загадочно миниатюрный или роскошно обширный и порой доходит до того, что я делаю с объектом моего наблюдения все, что мне заблагорассудится, а точнее — что взбрдет этому наглецу в голову.

Господи, если бы знали женщины, что о них думают другие, не знакомые им мужчины?!

Но вместе с тем и нам, мужичью, совершенно неведомо, что думают о нас незнакомые женщины, которые смотрят на нас в людных местах!

Не совпадают ли иногда у нас мысли? Как далеко они заходят? У вашего покорного слуги — иногда далековато, так далеко, что самому перед собой становится неловко. Быть может, я какой-нибудь чокнутый?.. Или самый обыкновенный?.. Не знаю...

В подобных случаях, которые, признаюсь, бывают со мной нередко, я жутко не нравлюсь себе. Думаю: вон у других совсем иные мысли в голове, более простые, благородные, а то и возвышенные, а у тебя, стервеца-нахала-хама...

Но однажды я убедился, что подобные мысли, бывает, совпадают... И тогда происходят, если можно так сказать,

миниатюрные романы...

Как-то я стоял в длиннющей очереди в одном непопулярном заведении... Пришел чуть свет и коротал время в ожидании супруги, которая должна стать на мое место, чтобы заложить кой-какие вещи... Место, я вам скажу, не из приятных — ломбард. Тут каждый сразу расписывается, что он не миллионер и что ему аж горит надо одолжить у государства энную сумму. Здесь все одинаковые, одного поля ягоды. И здесь нет жизнерадостных лиц, здесь не слышно веселых разговоров, шуток и смеха. Но здесь, как и везде, есть привлекательные особи прекрасного пола. По привычке обежав глазами пестрое скопление жаждущих разбогатеть, я выделил одну особу...

Ей было лет двадцать, но по виду было понятно, что жизнь потрепала ее основательно и не в пример мне, который, стоя в очереди, думал не только о будущем кредите, но и о том, что люди разные: одни симпатичные, другие — нет, одни красивые, иным со своей внешностью не повезло...

Она же была красива... Красива той неброской красотой, которой наделены большинство женщин: статная фигура, в лице врожденное достоинство, независимый вид, правильные черты лица с оттенком чего-то восточного и бесконечно грустные черные, как смоль, глаза...

Я мысленно пропел любимое: ах, эти черные глаза-а... меня плени-и-ли-и...

И она, будто услышав мой голос, а скорее всего, просто почувствовав на себе чей-то пристальный взгляд, резко взглянула на меня и тут же отвела взгляд.

А я продолжал смотреть на нее. Она мне явно нравилась. Своей неброской красотой. Своей печалью.

Вспомнились стихи приятеля... Они родились у него после того, как в трамвае он увидел девушку, которая ему понравилась, с которой он хотел бы познакомиться. Но не познакомился — она вышла на одной из остановок. А он не последовал за ней. Не остановил ее... Он больше никогда ее не видел... Как поется в одной песне о снежинке: вот она была и нету... Стихи кончались словами: «Кто знает, быть может, счастье свое остановить не смог...»

И я в ту минуту подумал: а, может, это мое счастье?..

Известно, что глаза человека порой бывают красноречивее любых слов. Нет-нет, да и она одаривала меня своим трогательным

и каким-то глубоко опечаленным и волнующе призывным взглядом.

Мы стояли в той проклятой очереди долго. Я чувствовал, что не могу не подойти к ней, ибо мы уже были знакомы. Взглядами. Мы уже породнились — душами... Мы одного поля — ягоды... Нам не стыдно друг друга... Мы приятны друг другу... Нам бы поговорить... прикоснуться друг к другу...

Так думал я. Не знаю, что думала она.

Я никогда не отличался смелостью в обращении с девушками. Но тут мне показалось, что не подойти к ней — потом буду проклинать себя. Я чувствовал: она хочет, чтобы я подошел. Я этого хотел... И еще чувствовал, что вот-вот на горизонте появится моя половина...

И ватной походкой направился к прекрасной незнакомке, Подошел, не заготовив никакой дежурной фразы... Подошел и без всякого вступления спросил:

— Как тебе позвонить?

К моему удивлению, она не оттолкнула меня, не оскорбилась, что я с ней вот так сразу на «ты» и тут же безропотно произнесла номер своего телефона...

— А-а... зовут?..

— Женя... — произнесла она.

Буквально через секунду я увидел вошедшую в зал ломбарда супругу... Поспешно назвал свое имя и, обронив «извини», двинулся к своей законной... Скрепя сердце.

В тот же день позвонил с автомата моей новой знакомой, и мы несколько натянуто, но очень мило поговорили с ней. И я спросил, что она думала обо мне, когда мы увидели друг друга и мысленно познакомились. Оказалось — то же самое... Ей тоже хотелось заговорить со мной... прикоснуться... Дальше этого разговор у нас не пошел. Мы решили встретиться. Но обстоятельства сложились так, что встречи у нас не получилось...

Однако, как бы там ни было, мне все равно всегда приятно вспоминать наш, так сказать, только-только намечавшийся роман, который ничем не окончился.

Тут же пришел в голову и еще один случай, о котором просто не могу не поведать. Не могу не поведать вовсе не потому, что горю желанием похвастаться женским вниманием к своей особе, а потому, что хотелось бы, наконец, понять, что же это за такая тяга людей друг к другу? Это что — все любовь? Придуманно, правда, еще и спасительное слово «увлечение». Есть еще и слово

«флирт» с прилагательным «легкий». Есть еще и еще множество всяких определений, которые, оберегая нашу честь, подменяют ко многому обязывающему слово «любовь».

Или же это элементарная распущенность? Или что-то другое? Как мы привыкли смотреть на так называемые походы налево? Если простой человек это делает, то он — развратник. Ну мягче — бабник. А если какая-то знаменитость, высокий чиновник, то — жизнелюб!

Или все-таки человеку мало одной любви? Пусть самой-самой настоящей? Пусть самой-самой большой?

Самые-самые счастливые женщины (как и самые-самые счастливые мужчины!) в глубине души совсем не против легкого флирта на стороне. Или же я глубоко ошибаюсь?

Как-то в пригородном автобусе, где люди разговаривают меж собой несколько громче, чем в городском транспорте, две женщины клеймили какого-то мужчину, у которого жена-то молодая и распрекрасная, а он, стрекозел, еще и к другим ходит. Водитель, слышавший этот разговор, лукаво бросил: «Наче дома не така...» И люди понятливо заулыбались — значит, не такая...

Или человеку все-таки мало одной любви? Или, если тянет еще к кому-то, это не любовь?.. Или все-таки человеку мало одной любви?.. Или же все эти встречи и не встречи — просто никакая не любовь?!.. А что же тогда?..

Ромео и Джульетта — красиво, возвышено, но что было бы с ними через десять—двадцать пять лет совместной жизни?..

Человеку нравится жить иллюзиями, нравится все приукрашать, идеализировать, но жизнь вносит свои поправки, от которых никуда не денешься, тем более, что ты сам с превеликим удовольствием идешь им навстречу.

Как-то суровой сибирской зимой на одном из вокзалов мне предстояло пересаживаться на другой поезд. У билетных касс — длиннющие очереди. Неохотно пристроившись к одной из них, принялся рассматривать женский пол. И почти сразу мой взгляд привлекла стройная девушка в меховой шапке с модными в ту пору в Сибири длинными, чуть не до пояса, ушами, которые служили, кажется, сразу и своеобразным шарфом.

«Ты здесь — лучше всех!..» — мысленно сказал я и мельком

помечтал: вот было бы здорово, если бы нам выпало ехать вместе, в одном купе...

Выпало. Ей-богу — выпало. Правда, не в купе, а на боковых сиденьях — друг против друга. Дело в том, что я использовал один из всем известных приемов знакомства с девушками. Если ты пошел в кино один, подойди к той девушке, которая тебе приглянулась, и попроси купить билетик — почти сто процентов, что вы окажитесь в зале сидящими рядом...

Тогда, на вокзале, я попросил ту девушку в необычной шапке купить билет и мне. Оказалось, что и она ехала в тот городишко, куда держал путь и я, она ехала в Дом отдыха. А через полчаса мы оказались в одном вагоне — друг напротив друга. Меж нами хлопкий столик, который при надобности можно опустить меж нашими сиденьями и сделать спальное место...

В вагоне было сумеречно и тепло, а за окном темень и мороз градусов за тридцать. Я предложил разложить сиденье, на что она ответила, что спать не хочет, любит смотреть в окно поезда.

— Я, между прочим, тоже, — с понятной лишь мне радостью промолвил я. И как бы доказывая свои слова, сунулся к окну, а оно оказалось все сплошь покрытым шершавым сероватым льдом.

Попутчица подалась было к окну, чуть не носом ткнулась в него и тут же разочарованно отпрянула.

— Ничего не видно...

— Ага... не видно... — подтвердил я.

С минуту сидели молча, испытывая некоторую неловкость. Потом лицо ее осенилось внутренним светом, красиво собрав губы в трубочку, она дунула на окно и длинным указательным пальцем чуть подтаяла ледок — как раз меж нами. Пальцу ее, наверное, стало холодно, и она спрятала его в ладонку другой руки. Я же ретиво продолжил увеличивать проталинку своим дыханьем, пальцами и всей ладонью. Вскоре лед поддался, образовалась проталинка, мы одновременно прильнули к ней и, стукнувшись лбами, рассмеялись.

— Темно... ничего не видно... — показала она глазами на окно и преувеличено огорченно вздохнула.

Я согласно кивнул и снова припал к проталинке.

— А я вижу огонек...

— Да-а? — сказала она так заинтересованно, словно там, за окном, была не глухая темень, а поезд сопровождала дюжина сияющих летающих тарелок.

И тоже подалась к окну, уже осторожнее, чтобы не столкнуться головами. Я услужливо отодвинулся, уступая место для обозрения того, что было видно сквозь проталину, но отодвинулся ровно настолько, насколько мне было нужно... А мне нужно было хоть чуть-чуть прикоснуться к ней, к пряди ее волос, которые, как мне казалось, пахли летом, а может, даже и к ее щеке прикоснуться, будто бы нечаянно... Щеки ее разрумянились после мороза, а может и оттого, что чувствовала — она приятна этому хитрому попутчику...

Надо было что-то говорить...

— Кажется, звезда... — несколько таинственно прошептал я и тоже припал к проталине... а на самом деле — к очаровательной девушке.

— Просто огонек... — возразила она.

— Может, огонек... — согласился я.

Слегка касаясь друг друга, мы уже совместно кончиками пальцев дружно отвоевывали в промерзшем окне быстро запотевавший глазок обозрения, радовались, когда что-то видели на миниатюрном круглом экране и терпеливо ждали, когда снова что-то покажется: полустанок ли промелькнет, луна ли выплывет из-за туч, встречный ли поезд с грохотом пронесется... И наши чувства неслись друг к другу...

Совместная забота о проталине, полумрак в вагоне и монотонный перестук колес буквально за какой-то час езды нас сблизили настолько, что мы, не испытывая неловкости, говорили уже друг другу «ты» и чувствовали себя хорошо знакомыми. Мы уже знали, как друг друга звать, кто куда едет и зачем.

В вагоне уже все спали, и я осторожно предложил тоже последовать примеру всех пассажиров. Она сказала «да-да, надо спать», но я чувствовал, что спать ей не хотелось, точно как и мне.

Мы все-таки разобрали нижнее место, превратив его в спальное. Расстелили постель. Я спросил, где она желает отдыхать: на верхней, ее полке, или на моей, нижней.

На верхнюю никто из нас не полез. Нас тянуло друг другу, как магнитом, и вскоре мы сидели, обнявшись, а потом прилегли, плотно прильнув друг к другу. Мгновение и губы наши встретились. На большие действия нам не позволяла ни совесть, ни обстановка.

В тесном вагоне нам было уютнее всех.

Утром, доехав до станции назначения, мы прощались. Глядя мне прямо в глаза, она прошептала:

— Тысяча благодарностей тебе...

Она сказала именно то, что я хотел сказать ей. И я об этом ей сказал. Глаза ее стали влажными.

— Вот как бывает... — словно оправдываясь, промолвила она и трудно выдавила. — Иди...

Больше я никогда Её не видел...

Но она живет в моем сердце. И я ей тоже тысячи раз благодарен за то, что с нами было. Хотя по большому счету у нас ничего не было. Или было? Что?...

А что это было с нами? Не знаю. Знаю одно: нам обоим чего-то страшно не хватало, быть может, элементарной человеческой нежности, истинного тепла. И мы, как могли, согрели друг друга, пусть даже мельком, на ходу.

Мы часто не даем своим чувствам воли. Мы живем, как в тиски зажатые.

И, может, права все-таки красавица-коммунистка Коллонтай, которая ратовала за свободную любовь... Она считала, что любовь — это стакан воды: увидела, ощутила жажду — выпей!..

Не знаю, как правильно жить. Знаю только, что живу не так, как надо.

Просто живу...

Когда мужику стучает сорок, он мысленно вбирает голову в плечи и осторожненько так озирается: все ли видят, что с ним стряслось?

И начинают происходить странные вещи. У каждого по-своему. Он, Колька Замятин (сорок лет, а все Колька), придя в себя после юбилейных пьянок, проснулся однажды среди ночи, проплепал в ванную и полчаса таращился на себя в зеркало с затаенной ненавистью и презрением, пытаясь понять, что же произошло. И он это или уже не он...

А произошло, как он понял, жуткое и непоправимое — жизнь прошла!.. Проехала-промчалась голубым экспрессом, сделав ему на прощанье ручкой.

Когда со всей глубиной уразумел это, в груди так защемило, что он чуть не взвыл. И снова хотелось хорошенько хряпнуть, да сдержался — хватит. И призадумался, стал оглядываться назад,

взвешивая, что он делал в жизни так и что не так. И почему она у него оказалась такой быстротечной и куцой. Быстро, стремительно быстро пролетела жизнь, как он понял, потому, что всю жизнь свою он только то и делал, что работал, вкалывал, вкалывал и вкалывал. До седьмого пота. Как вол. Как проклятый. Как раб. Как быдло. Как идиот.

В детстве, насколько он помнил себя, живя в деревне, уже лет с пяти гонял на луг коровок, школьником имел дело с тяпкой, лопатой, пилой и топором; в стройбате, где ему выпала честь служить, снова те же народные инструменты: топор, лопата, «карандаш» — то бишь, лом. После службы скоростно женился, на городской, конечно — хотелось и самому стать городским. Работал там, сям, всюду, где неплохо платили. Но бабок все время не хватало. А хотелось, чтоб их было много: в один карман полез — хрустят, в другой — шелестят... И машину хотелось купить. Потому и полез в шахту. Деньги вроде бы шли неплохие, а все — мало. Семья-то стала больше. Сначала сынок появился, потом дочка. И то надо и другое, и жену хотелось приодеть, да и квартиру надо бы иметь свою собственную. Заимел, трехкомнатную, кооперативную. Обставил как надо. Жигуленка приобрел, гараж построил, дачку смастерил, жену, детей приодел и сам не гол и не босой, даже печатку на безымянный палец напялил и цепочку на грудь — не бедняк, мол, уже и золотишко имеем.

Все шло вроде бы чин-чинарем — все как у людей. И если бы не эти сорок лет, что его на днях догнали, настигли, достали... Он, наверное, так и продолжал бы себе жить, незаметно для себя потихонечку старея, дряхлея, но этот непопулярный срок (сорок лет!) встряхнул его и заставил взглянуть на свою прошедшую жизнь несколько по-иному: как у людей... А как у людей? У каких людей? У таких же как и он? Да разве это — как у людей...

Чем-то жутко он был неудовлетворен. Если разобраться, то ничего, кроме работы, в своей жизни он по-настоящему и не видел. Ну, где он был за свою жизнь? Деревня, потом махонький северный городок с красивым названием Сокол, где три года отрубил в стройбате и вот этот столь же небольшой шахтерский городишко со звонким именем Брянка, где тебя все знают и ты тоже знаешь всех — та же деревня.

Поймал себя на мысли о том, что за свои сорок лет — теперь это уже был и его козырь — сорок!) он ни разу не был — не то,

что за какой-то заграницей, куда теперь мотается всякий, кому не лень, а даже на обыкновенном Черном море не был ни разу. Думал, что только в кино да по телеку видит все это: солнечные пляжи, красивых женщин, на которых почти ничего, счастливых мужчин, которые с небрежной ленцой их по-хозяйски обнимают.

Поймал себя на мысли и о том, что как ни странно, а может, это и вовсе не странно, он стал более внимательно смотреть на слабый пол. Не в том смысле, что у него появилась любовница или любовницы. В эти тяжкие послелюбилейные дни он обнаружил вдруг, что в маленьком их городишке заметно больше стало молодых и красивых женщин. А девчонки так вообще одна лучше другой.

Жена у него, Лидушка, хорошая. И красивая, и неглупая, и хозяйка на все сто. И верная, как собачка. И ласковая, как котенок. И все же, все же... И все же что-то не то! Может, приелась... Теперь уж только когда подвыпьет — тянет к ней. Да и то далеко не так как когда-то. Возраст, конечно. А может эта собачья жизнь, в которой главное — кусок хлеба.

Анекдот друг на днях поведал. Сын спрашивает отца, что такое процветание, и что такое прозябание. Ну, процветание, сказал отец, это ресторан, казино, шампанское и девочки. А прозябание: работа, ужин на кухне и твоя мама.

Работа, кухня и Лида... Да еще пивбар. И так всю жизнь. И так будет и впредь — всю оставшуюся жизнь.

В один из последних вечеров, после ужина на кухне он мрачно выплеснул больное:

— Надоело мне это все хуже пареной репы!

Супруга виновато посмотрела на суженого, потом на недоеденную им в сковородке жареную картошку и сказала, что завтра пойдет на базар и постарается купить хорошего мяса, на котлеты...

— Да не об этом я! — взмахнул он в сердцах рукой.

Жена вскинула свои красивые черные брови, не понимая, что происходит с мужем. И постаралась недолго возиться на кухне и лечь спать, пока он еще не захрапел. И постаралась, вернее, пыталась его растормошить, поднять ему настроение. Однако на сей раз ничего у нее не получилось и настроение у него не поднялось.

Утром, по-прежнему чувствуя себя виноватой в чем-то, она сказала:

— Может, возьми отпуск да съезди куда-нибудь, может, на

море.

— Один? — спросил он.

— Один, — спокойно ответила супруга и посмотрела на него так, будто он уже и не ее. Заморгала ресницами, оправдалась: — дети ж в школе...

И вот оно знаменитое Черное море. Такое огромное, до самого горизонта, все вода да вода. И солнце печет, будто уже не начало октября, а разгар лета. Бархатный сезон! Кажется, так называют курортники это время года. Он думал, бархатный сезон — это потому, что все тут в бархате ходят. Потом думал, что так называют этот сезон потому, что все же не такая сейчас жара тут как летом: мягкая жара. Топчан, правда, жесткий и почему-то без ножек — дерева тут мало... Вода, да камни, да песок. А вот людей — кишмя кишит... И баб полно. И таких, и эдаких. На одних даже смотреть противно. А на других все смотрел бы и смотрел. Да и на него некоторые кидают косяки. Хотя какое тут это имеет значение. Тут, похоже, все холостяки и холостячки. И песни тут поют крутые:

Ты целуй меня в живот,

Еще ниже, ниже — вот!..

Наслаждаясь морем, солнцем, шальной музыкой и близким соседством с полуголым слабым полом, Колька Замятин вдруг ощутил, что сердечко его забилось чаще. Попытался завести знакомство, но получился прокол, уж больно молоденькую избрал он для флирта, и она сходу отбрила: «Вы бы лучше, дяденька, за детишками своими смотрели, чем приставать к малолеткам!..»

Пристыженный и расстроенный, он покинул належанное место и побрел берегом, куда глаза глядят. Долго шел. Уже кончились все обустроенные пляжи, а он все шел и шел, сплевывая в набегавшие волны. Солнце уже скатилось к самому горизонту, когда он увидел одинокую парочку, возлежавшую прямо на голых камнях и наслаждавшимся друг другом. Немного опешив от такой картины, хотел обойти их, но заметил рядом еще одного мужика, который сидел на корточках и смалил сигарету. А в воде у самого берега с горящими глазами покачивался на мелкой волне третий — ждали своей очереди, что ли. Деваться было некуда: слева море, справа какой-то забор, и раз не только одинокая парочка, а группа людей, то можно пройти, не обращая ни на кого никакого внимания. И он попер дальше. Боковым зрением увидел обнаженный сдобный бюст девушки, наполовину прикрытый

партнером, на миг затаившимся под слегка накинутым на зад махровым полотенцем.

Чуть прибавляя шагу, он, Замятин, уже прошел было мимо, как услышал хриловатый, с ленцой и придыханьем голос жрицы любви:

— Закурить есть?

Вобрав голову в плечи, Колька поспешно достал из кармана пачку «Кэмэл», не глядя на девулю, вытряхнул обойму сигарет и заспешил дальше, хрустя галькой и оступаясь в мусор прибрежной волны.

Подмывало желание оглянуться — такого он еще никогда не видел, чтоб среди бела дня ни от кого не таясь, на глазах у всех... да еще и закурить просит... во дела! Сдержал себя, не оглянулся, подумал лишь: как это у них просто...

Оглянувшись назад в свою интимную жизнь и с запоздалым огорчением отметил, что женщин было у него раз-два и обчелся. Все работа, работа, работа... будь она проклята. А другие, а эти...

Он все-таки оглянулся, будто что-то под ногами интересное заметил, и боковым зрением увидел как тот, который только что «работал», оторвался от дамы сердца, сделал пару шагов к воде и с размаху плюхнулся в волны, а тот, что был на бережку, выплюнул сигарету и заспешил к сдобе.

А Колька Замятин размышлял дальше. А другие... вон мастер у них на шахте... так он домой не уйдет до тех пор, пока какую-нибудь не обработает, хоть кладовщицу, хоть инженершу, хоть уборщицу. А вон прочитал утром в газете «Бульвар»: один артист из Голливуда — так тот вообще на своем счету в тридцать лет имеет три тыщи женщин. Когда ж он в кино снимается? А тут... с одной-единственной бабенкой попытался знакомство завести — и то получил по зубам.

Откровенно говоря, он не особенно желал чего-то такого. Но «чего-то такое» пришло к нему само на следующее утро. В образе миловидной девушки с невинными глазами, она была в белом переднике и больше похожа на принцессу, чем на обыкновенную горничную, каковой была. Он только-только побрился, принял душ, выходит из ванной, а тут дверь без стука отворяется и на пороге она — принцесса.

— Ой, извините, — говорит виновато, — я думала, в номере никого, хотела убрать. Извините, я потом... — И посмотрела на него так, что он сразу понял — с этой у него точно что-то будет.

«Потом» было в тот же вечер. Встретил он ее в коридоре, разговор потек сам собой. Он пригласил ее на чай, она не отказалась. Они выпили. И чая, и покрепче.

— А ты красивая, — сказал он, возгораясь.

— Я знаю, — с достоинством ответила она и расстегнула на груди одну пуговицу. И потому, что ее щеки запылали. И для того, чтобы он увидел на ее груди маленькую, как маковка, пикантную родинку.

Он увидел, и она удовлетворенно улыбнулась.

— И ты расстегни одну пуговицу, — сказала она.

Он расстегнул сразу три.

— Не спеши, — сказала она капризно. — Я не люблю спешить... ты понимаешь, не люблю спешить...

А пальцы ее расстегивали и расстегивали очередные пуговицы, где они только были, сначала свои, потом — его.

— Я люблю это делать сама, только сама не умею...

Она показала глазами на грудь, затаившуюся в кружевно-прозрачном бюстгальтере. Сквозь него просвечивались огромные темно-коричневый ореолы, такие большие, что у него глаза расширились, будто эти чудо-ореолы не могли втиснуться в его глаза.

Он не знал, что значил таких больших размеров окрас вокруг соска, но через минуту понял, когда чуть не задохнулся в объятьях «принцессы» и ее неистово щедрых ласках.

— Господи, какая ты! — воскликнул он в восторге.

— Какая?

— Такая... такая...

— Говори еще... говори еще... — требовала она.

Они еще долго «говорили». До самого утра. И на следующий вечер тоже «говорили». И потом...

— Мне это очень нравится, — призналась она.

— Мне тоже, — сказал он.

После нее у него была еще одна принцесса, с которой было ему также хорошо, легко и просто. И, пожалуй, даже лучше. Он даже сделал для себя небольшое открытие: каждая новая женщина лучше прежней.

Наверное, у него были бы еще соблазнительницы, если бы не подоспело время отчаливать домой.

Назад он ехал, как писали когда-то газеты, усталый, но довольный. На мир теперь смотрел он несколько иначе. И на

себя в зеркало смотрел по-другому: спокойней, нормальной, как и подобает сорокалетнему мужику.

И даже на свою супругу, когда приехал домой, смотрел теперь иными глазами. Она показалась ему такой милой, такой красивой, такой притягательной, что он никак не мог дождаться вечера. И когда дождался, в порыве чувств выпалил давно забытые слова:

— Я люблю тебя!..

И как это ни странно, а может быть и вовсе не странно, он говорил правду. Он действительно любил свою вторую половину, как и двадцать лет назад, когда увидел ее впервые.

-

1.

За свою пока еще недолгую жизнь он повидал немало городов, но ни к одному из них не относился так нежно, как к этому тихому, ничем непримечательному городишке на Днестре. Сюда он приезжал всегда с удовольствием и особым настроением, с глубоко упрятым в душе праздником, с предчувствием, что здесь он встретит Ее.

Сколько раз он уже бывал тут и, конечно же, не встречал. Чудес не бывает...

Он знал, что и в этот раз не встретит. Однако, устроившись в гостинице, второй раз в день побрился, что делал очень редко, надел свежую белую сорочку, свой любимый черный свитер и, проглотив в буфете пару каких-то бутербродов, поспешно вышел на улицу. Вышел с таким выражением лица, будто где-то рядом, за углом, под часами уже полдня ждет — не дожидается его Та, о которой он мигом вспомнил еще там, в своем городе, как только узнал о предстоящей поездке.

Сделав несколько стремительно быстрых шагов от гостиницы, он осадил себя: чудака-рыбак, куда летишь?..

Закурив, мысленно упрекнул себя за лирический настрой (о работе надо думать!) и ощутил неловкость перед самим собой: женат же, притом давно и притом удачно — живут они с супругой, можно сказать, душа в душу.

И перед женой стало неловко за свою лирическую прыть.

Принялся думать о ней. О том, какая она у него хорошая, хозяйственная, душевная. О том, как она умеет выкручиваться в это невероятно трудное время. Думал и о себе, какой он. И был недоволен своей персоной. Думал: что же он такое, тюфяк или железный мужик? Или ни то, ни се, ни рыба, ни мясо...

Как ни странно, он сам толком не знал, какой он. Несмотря на то, что не зеленый юнец и в душе считает себя неплохим психологом. Чуть ли не с первого взгляда может определить, кто есть кто, у кого какой характер, кто на что способен, как может повести себя в той или иной ситуации. Своим друзьям он может дать дельный совет, как действовать в определенной обстановке. Начитавшись специальной литературы, пробует предсказывать будущее. Особенно женщинам. Каждый свой и чужой поступок или проступок может разложить по полочкам и прочесть целую лекцию о том, почему так случилось. Он знал, что может быть, если пойдет прямо и что, если шагнет направо или свернет налево — знал. Он мог корректировать свое и чье-то поведение. И вместе с тем он сам порой выкидывал такие коленца, откалывал порой такие номера, что после глаза таращил: да он ли это сделал? А если он, то как это он мог такое совершить? Порядочный, интеллигентный человек, почтенный отец семейства, неплохо знающий свое дело — как?

Вглядываясь в свое «я», он думал о своей семейной жизни, о своей супруге, которую любил. Одновременно он продолжал думать и о той, которую сто лет не видел, которая когда-то ступала вот по этим самым слегка припорошенным снегом серым плитам тротуара полузаброшенной набережной. Смотрела на шелестящую у берега мутную воду. На лунную дорожку, преломляющуюся на невидимых волнах. Дышала этим пахнувшим мокрой корой воздухом.

Приостанавливаясь, он едва заметно улыбнулся, ловя за хвост очень важную, как ему сейчас казалось, мысль: любовь любви — рознь! Одно дело, когда у вас все состоялось. И другое дело, когда любовь была не до конца. Когда оборвалась она на самом взлете. У них была, так сказать, неполная любовь, или, как говорят, нереализованная.

Прерванный полет глубоких чувств имеет особенную прелесть. И удивительную долговечность. Когда где-то, что-то было — было и былшем поросло. А тут столько лет прошло, можно сказать, вся жизнь, а он ее помнит и видит, словно только вчера это было.

Он не помнит точно, где именно они встретились. Встретились. Он увидел ее и чуть было не поздоровался, потому что она посмотрела на него так, будто они были давным-давно знакомы. Невольно он шагнул к ней и она улыбнулась, едва заметно, одними глазами.

У нее были изумительные глаза. Пронзительно светло-серые, от которых невозможно было отвести взгляд. И в то же время долго смотреть невозможно, она проникали в тебя, доставая до самого донца души. Быть может, таким свойством обладали ее глаза и потому, что сама она была темноволоса и смугла, с иссиня-черными бровями и ресницами, загнутыми от избыточной длинноты, на которые ему почему-то иногда хотелось подуть. Предки ее, наверное, были болгарами или турками. А сама она была с Украины, также, как и он.

Подойдя ближе, спросил, не земляки ли они. И она страшно обрадовалась, что земляки. Помнится, она одарила его сдержанно-ликующей улыбкой и благодарно сжала его руку. А он едва сдержался, чтобы не заключить ее в объятия — настолько сильно потянуло его к ней какой-то невиданной силой. Но он лишь положил ладонь на ее руку, прохладную, с длинными пальцами и тоже мягко сжал, сказав что-то при этом незначительное. Кажется, что-то о том, что чем дальше удаляешься от родных мест, тем больше обретаешь земляков — встретились они в Сибири.

С тех пор и подружились. Работали они в разных городах, виделись не часто. Однако, когда доводилось снова встретиться...

Сейчас он закурил новую сигарету и, глядя на лунную дорожку, зигзагами преломляющуюся на невидимых волнах, покачал головой каким-то лишь ему известным мыслям.

По вечерней реке, сверкая огнями, трудно шел вверх по течению приземистый пароходик. С реки тянуло студеным ветром — срывался колкий снежок. Он поднял воротник куртки, подумал, что если бы им тогда было побольше лет, все могло получиться иначе. Но они тогда были простительно молоды и обнаженно чисты и честны. Да еще он и она были, так сказать, заняты: она — замужем, и он — женат. И отношения у них складывались будто бы чисто товарищеские. Они даже упорно старались показать друг другу, что они люди порядочные. Он прямо лез из кожи, чтобы она, не дай Бог, не заподозрила в нем эдакого стрекозла: там, в другом городе семья, а тут он с кем-то пашни водит.

Вели они себя так, как и должно вести себя семейным интеллигентным людям — пристойно, благочестиво. А внутри у каждого из них...

Когда однажды во время очередной встречи, идя по улице, он случайно (или неслучайно!) прикоснулся к ее руке, она вздрогнула:

— Ой, ты бьешься током!

Один раз они пошли в кино. Не потому что им очень нужно было то кино — просто им некуда было деться в зимнем городе. Встретились на улице, а мороз как назло — ресницы слипались, губы дубели. Вот и забежали в первый попавшийся на пути кинотеатр. «Зимняя вишня», что ли, шла.

Когда в зале погас свет, руки их мигом встретились, сами по себе. И ток их уже не бил. Их бил озноб. От чувств, которые они пытались скрыть друг от друга. Выйдя из кино, долго молчали. Он проводил ее в тот вечер до самого дома.

— А если муж увидит? — спросил он.

Она, казалось, не расслышала, что он сказал. Улыбнулась чему-то в сторону, сдержанно вздохнула и, не глядя на него, как-то жалостливо попросила:

— Поцелуй меня...

То был первый и последний их поцелуй — так распорядилась судьба. В тот вечер она говорила, что скоро вновь переедет жить в свой родной город на Украине. Вот в этот самый город на Днепре, в который он так любит приезжать. Они никогда не переписывались и специально встреч не искали, считая, что все это ни к чему.

Он не знал, думала ли она когда-нибудь о нем. Судя по себе, полагал, что думала.

Быть может и сейчас иногда. И вполне возможно, что так же, как и он, не теряет надежды, что когда-нибудь где-то и как-то они снова встретятся — судьба вспомнит о них. И где же еще как не в этом городе...

2.

Он бродил по набережной и тихим улицам, ловил себя на мысли о том, что пристальнее обычного заглядывает в лица идущих навстречу женщин.

Интересно, узнал бы он ее сейчас и какая она теперь? Ведь прошло столько времени...

На мгновение посмотрел на себя со стороны и ощутил вину

перед своей супругой за свои мысли о другой женщине. Но мысли есть мысли — куда от них деться. Что думают люди, никому неизвестно.

Заметив на противоположной стороне улицы холодно мерцавшую неоновыми огнями вывеску «Междугородные переговоры», по диагонали пересек дорогу и вошел в надышанное помещение с двумя рядами телефонных кабин, среди которых были и свободные. Позвонил жене, сказал, что доехал нормально и устроился в гостинице нормально. Спросил, как она. Супруга ответила, что у нее тоже все в порядке. Поговорили о погоде, о всяких пустяках. Жена сказала: «целую». И он сказал то же. И с чувством исполненного долга с облегчением на душе вышел на улицу, все еще видя в своем воображении лицо супруги и слыша ее милый переливчатый голос.

Он любил свою жену той особенной любовью уже немолодого человека, который знал, что это любовь у него последняя. Его половине тут, можно сказать, повезло. Да и ему тоже. Ибо она, как он видел, старалась быть хорошей, настоящей женой. В слово «настоящая» он вкладывал многое. Они были хорошей парой. Ее подруги завидовали ей, его друзья — ему. Они подходили друг другу во всем. И что их особенно радовало — даже по гороскопу. Они, можно сказать, были счастливы, несмотря на сумасшедшие трудности, свалившиеся на их плечи.

Все-таки она у меня славная, опять подумал он, проникаясь нежностью к жене и мысленно извиняясь перед ней за свои вольные размышления о другой женщине.

Мысленно упрекнул себя в том, что надо на работу настраиваться, завтра предстоят деловые встречи, надо еще и еще раз обмозговать все, а он забивает себе голову хрен знает чем. Как человек, привыкший следить за ходом своих мыслей, усмехнулся своей неискренности: сие грубое словцо никак не подходило к тому, о чем он только что думал на набережной.

И теперь уже мысленно извинился перед той, которая заставила его смотреть на этот заштатный городишко восторженными глазами пацана, внезапно очутившегося где-то в далеком Рио-де-Жанейро.

Который раз в глубине души пытался понять, что он из себя представляет, и где он настоящий: тот, что был до звонка жене или который был после звонка. Или вот теперь он настоящий... всякий-разный-непонятный...

Приглядываясь к себе, остался доволен тем, что он такой непонятный, стало быть, сложный, стало быть, личность... Взглянул на свое отражение в витрине магазина — ничего мужик... Снова потянулся было к карману за сигаретами, как вдруг его кто-то окликнул:

— Виктор!

Приятный женский голос. Может — не его окликнули... что он один в этом городе Виктор?... Заставил себя не оглянуться, однако шаг замедлил.

— Ви-итя! — снова раздалось за спиной. Голос был уже требовательней и какой-то отчаянно-радостный.

Не может быть, сказал он себе и приостановился, чувствуя, что совершается чудо, которого он ждал столько лет. Или страшно желал, чтобы оно наконец свершилось.

С секунду медлил, не оглядывался, боясь ошибиться, боясь разрушить иллюзию счастья, но уже явственно ощущая затылком, спиной, жаром, хлынувшим в него, всем своим существом ощущая, что это — она!

Оглянулся — в самом деле — она!..

— На-а-а-а!?

— Господи — ты!.. — воскликнула она на самой высокой ноте, готовый вот-вот оборваться. — А я смотрю-смотрю: ты это или не ты... вижу — да ты же! Господи... надо же...

С растеряннно-ликующей цепкостью они разглядывали друг друга, успешно преодолевая преграду, которую им выставило время, быстро становясь такими, какими они были много лет назад, отмечая и прощая те изменения, которые с ними за это время произошли. Каждую секунду изменения не в их пользу стремительно улечивались, рассеивались и они снова были такими, как и много лет назад. Мгновенно они совершили беспосадочный перелет в прошлое и незаметно для себя дерзнули шагнуть в волнуемое будущее, которое для каждого из них было смутным, как диск солнца сквозь утренний туман.

Она все повторяла: «Надо же — ты... Господи — ты...»

А он смотрел на нее во все глаза и как-то глуповато улыбался, ибо сейчас он был не тем солидным, умудренным жизненным опытом мужем, привычно носившим на лице маску глубокомыслия — на миг он стал самим собой: обыкновенным мужиком средних лет, порядочно уставшим от житейских забот, которому гораздо больше по душе простые земные радости, чем бесконечные хлопоты

все прибывающие и усложняющие. На миг он просто стал мужиком, встретившим женщину, которая ему когда-то нравилась.

Они все еще не могли до конца поверить, что свершилось умопомрачительное: мир такой большой-огромный, а они такие маленькие в нем и вот встретились!

— А ты такая же, — сказал он осевшим от волнения голосом, сказал не ради комплимента.

Она действительно почти нисколько не изменилась за эти годы. Те же светло-серые глаза. Тот же пронизывающий тебя насквозь взгляд. Те же губы с чуть жеманно опущенными уголками — казалось, она всегда сдерживала улыбку.

Сейчас он задержал на мгновенье взгляд на ее губах, вспоминая, что когда он целовал их, у него было желание куснуть их. Ни с одной женщиной у него не появлялось такого странного желания.

... Те же загнутые от избыточной длины темные пушистые ресницы, на которые ему и сейчас хочется подуть.

— И ты тоже почти совсем не изменился, — проговорила она, — разве что стал... — она забавно изобразила на своем лице напыщенную важность.

Спросила, каким чудом он здесь оказался и надолго ли. Он сказал, что работает на одном из заводов и вот приехал сюда решить кой-какие вопросы. О заводских делах распространяться не стал, придерживаясь давнего правила: о делах вести речь только с теми людьми, которые имеют к ним прямое отношение. Он был патриотом своего предприятия, переживавшего не лучшие дни, хотя верил, что наступят и другие, светлые времена и никогда нигде ни с кем не болтал о заводе, дабы случайно вырвавшимся неосторожным словом не навредить его благополучию. Поэтому и перевел разговор на другое — личное.

Она, узнав, что он пробудет здесь с неделю, радостно всплеснула руками и подпрыгнула, как девчонка.

— Ой, как здорово! Значит, у нас уйма времени. Мы ходим в театр, у нас совсем неплохой театр, мы...

— Давай сегодня куда-нибудь пойдем, вечер у меня свободен...

— Нет-нет, — затрясла она головой, — сегодня не надо.

— Почему?

Деланно пояснила:

— Должна же я привести себя в порядок. Я только немного провожу тебя...

Она прикоснулась к его руке и тут же отдернула свою руку:

— Ой, ты бьешься током!..

Молча прошли они один квартал, другой, время от времени

взглядывая друг на друга, заново привыкая друг к другу и затаенно прикидывая завтрашнюю встречу.

Каждому из них хотелось выяснить семейное положение. Смелее в этом вопросе оказалась она.

— Ты, конечно, женат, — проговорила она не столько спрашивая, сколько утверждая.

— Да, разумеется, — несколько пресно произнес он. — А ты... тоже...

— Да, — кивнула она.

Одновременно они посмотрели друг на друга, тягуче, с глубоко упрямой тоской.

— Господи, — произнесла она, — какими мы были с тобой тогда дураками... выпендривались друг перед другом, выпячивали никому не нужную порядочность...

— Я, между прочим, тоже только что подумал об этом, — признался он, ловя себя на мысли о том, как легко им быть сейчас предельно откровенными.

Она внимательно посмотрела на него и, притушив свой пронизывающий взгляд, задумчиво чему-то улыбнулась. Быть может, представила на миг его своим супругом. Не глядя на него, спросила:

— Ты счастлив?

Если бы об этом спросил его кто-то другой, он бы сказал, что да, наверное, счастлив. Однако в ее голосе он уловил желание услышать иной ответ. Да и уместно ли сейчас бахвалиться своим семейным, скажем, благополучием. Пожал плечами:

— Да как тебе сказать...

Понятливо кивнув, она иронично усмехнулась (это новое, отметил он, что появилось у нее — ироничная усмешка, которая почти не сходит с ее губ).

— У меня тоже... «как тебе сказать...» — промолвила она вразтяжку и посмотрела на него продолжительно, доставая его своим пронизывающим взглядом до самого донца души.

Дальше шли молча.

В окнах домов зажглись огни. Пускался мелкий колкий снежок. К ночи брался мороз. Но они долго еще бродили по вечернему тихому городу. Даже посидели в безлюдном стылом скверике и распрощались с таким ощущением, будто они никогда и не расставались.

3.

Назавтра они не встретились. Она должна была позвонить. И почему-то не позвонила. Он просидел у телефона целый вечер. У него был и ее телефон, рабочий. Она преподавала в вечерней школе английский, но говорила, что ей лучше не звонить, что она сама ему позвонит. А ей звонить только в самом крайнем случае.

Вообще-то он мог считать, что этот случай крайний. Однако что-то сдерживало звонить. Быть может, думал он, то же, что и ей не позволило звонить — нужны ли им еще встречи? Все-таки они порядочные люди. Семейные! Ну, встретились, ну, поговорили. Ну, что из того, что когда-то симпатизировали друг другу? Ну, однажды целовались. Но кто в их возрасте не целовался, не влюблялся?!

На другое утро он подумал, что, может, это и к лучшему, что она не позвонила — к чему им эти шуры-муры? И перед женой будет чист. И перед своей совестью. Он считал, что она у него имелаась. И в душе гордился этим. Когда в подобных случаях бывал не на высоте. А если не бывал... старался не думать о высотах духа. Старался поскорей забыть о том, что где-то попустил вожжи... И его понесло, занесло... С годами заносы случались реже. А в последнее время и вовсе не случались.

И вот эта встреча. Она, конечно, особенная. Надо же, через столько лет... так неожиданно... вычислили друг друга...

Целый день он был занят заводскими делами. И хотя голова его была переполнена производственными проблемами, которые с каждым днем все труднее решать, в уголке сознания дежурила мысль о ней. Почему не позвонила? Ну, почему? А может, и действительно не нужны им никакие встречи...

Не было от нее звонков и на следующий вечер. Терялся в догадках — почему?

Чувствовал, что может, имеет право и он звонить ей. И тянул, не звонил. Не хотел выглядеть настырным. Конечно, за эти годы они стали другими. Да и не так просто оживить искорку, когда-то вспыхнувшую меж ними. И опять эта тормозящая мысль: а надо ли?

Так размышлял он, меряя шагами гостиничный номер, смаля сигарету за сигаретой и время от времени бросая нетерпеливый взгляд на целомудренно молчавший телефон.

Истерзанный неопределенностью, помимо своей воли снял

трубку и решительно набрал номер ее рабочего телефона. Странное у него было в это мгновение состояние. Он не знал, чему больше обрадуется: ее голосу или продолжительным гудкам.

К его удивлению, не было ни гудков, ни ее голоса: трубка была мертва. Он еще раз набрал ее номер, постучал по рожкам рычажков. Глухо, тупая тишина в трубке. Хотел было взять телефон с тумбочки и поставить его на колени, однако аппарат оказался накрепко прикрепленным к тумбочке — чтоб никто не украл... Дожились казаки... Скоро и ножки кроватей будут прикреплять к полу, чтоб не унесли...

Приглядевшись к аппарату, обнаружил, что он, бедняга, распрошан, раскурочен до основания — только коробка, а все внутренности изъяты... Так вот почему она «не звонит»...

Мигом представив как она, приведшая себя «в порядок», приятно взволнованная, тысячи раз набирала его номер телефона. И вчера, и сегодня, может, и сейчас набирает...

Наливаясь досадой и охваченный щемящим чувством вины перед ней, он ринулся в коридор, нашел дежурную, с возмущением поведал об испорченном телефоне и потребовал немедленно его исправить.

— Мне позарез он нужен для работы! — для пущей убедительности добавил он, не сдерживая гнева.

Дежурная, симпатичная, знающая себе цену женщина, спокойно ответила, что в курсе дела, что мастер уже смотрел, но пока ничего сделать не может, так как аппарат надо менять, а новых аппаратов нет — нет денег на их приобретение...

Проклятая страна! Нет денег на телефон... А за телефон, который не работает, плати!.. За холодные батареи — плати! За горячую воду, которой не бывает — плати!.. Зато за работу, которую ты делаешь довольно исправно тебе не платят! Сволочи!

Такие мысли пронеслись у него в голове, но он их придушил и лишь стиснув зубы, негодуя от отечественного бардака и своей беспомощности.

Понимая состояние клиента, дежурная великодушно подвинула свой неприкрепленный к столу телефон:

— Можете от меня позвонить.

От дежурной звонить он не стал. Разъяренный, вернулся в номер, оделся и вышел на улицу, разыскивая телефонную будку, послушал, жива ли трубка и набрал нужный номер. Пока тянули мелодию долгие гудки, он поймал себя на мысли, что хочет

услышать ее голос, все объяснить, повозмущаться и договориться о встрече и вместе с тем чувствовал, что в глубине души не очень этого хочет. Что, может быть, был бы даже больше удовлетворен, если бы она не подошла к телефону или сказала бы, что сегодня встретиться они не могут.

Она не подошла к телефону. Чей-то сухой мужской голос ответил, что она сегодня не работает.

И он не знал, радоваться ему или огорчаться. В нем жило и одно чувство и другое, рядом. Он злился на себя, что совсем не знает себя. В голову пришли слова какого-то поэта, хорошие слова: «Я знаю все, я знаю свет и тьму...» и еще что-то и еще и еще, вплоть до смерти. Стихи заканчиваются строкой: «Я знаю все, но только не себя...»

Как верно, как точно, думал он сейчас. Ведь он себя тоже совсем не знает. Он и так думает и эдак. Один человек в нем хотел встретиться со своей старой доброй знакомой, другой колебался: надо это или не надо?

Ему неприятно было сие балансирование на одной ноге. Жил в нем еще и третий человек. Быть может, самый на данном этапе жизни главный — тот, который был против звонков и встреч с кем бы то ни было, пусть даже с королевой красоты, которая бы вдруг изъявила желание с ним пообщаться. Третий человек, кажется, брал бразды правления в свои руки. А может быть, случай, стечение обстоятельств, которые и к счастью и к несчастью нередко правят судьбами людей.

Как бы там ни было, не встретились они и в этот вечер. Перед сном он заглянул на переговорный пункт, позвонил жене. И от ее торопливо-радостного голоса по телу разлилось тепло. И опять он сказал, что у него все в порядке. И она сказала, что дома все в порядке. Поговорили еще о том, о сем, признались, что соскучились друг по другу. Она сказала, что ждет его, он сказал, что уже взял билет на обратный поезд. Они поцеловали друг друга и расстались.

Умиротворенный разговором с супругой, выпил в буфете чая и отправился отдыхать. Намеревался сразу уснуть, однако бесик, сидевший в нем, тот самый первый человечек, а может, человек, шепнул на ушко: а если бы сейчас с тобой была она, Надя...

Подумал, что им сейчас было бы гораздо интересней, чем если бы тогда они встретились и в интимной обстановке.

Нет, сказал он себе мысленно, это лучше, что все так сложилось, что ее здесь нет. Или хуже?

В глубине души он знал, что — хуже.

С тем и уснул.

А утром подумал: лучше!

Утром голова работает иначе. Не зря же родилась поговорка, что утро вечера мудренее. И еще одна, более современная: чем лучше вечером, тем хуже утром.

Подумал так еще и потому, что утром в своем дипломате обнаружил какой-то плоский сверточек, аккуратно завернутый в белый лист бумаги, развернул, а там — шоколадка. Кажется, та самая, которую он недавно принес ей, а она припрятала ее и вот подсунула ему, свой маленький сюрприз. Для такого трудного времени и эта шоколадка — лакомство заметное. Да дело не в лакомстве и даже не в том, что маленький гостинец идет по второму кругу. На внутренней стороне белого листа бумаги знакомым ровным почерком было написано крупными красивыми буквами:

Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ!

Она всегда, его жена, приносила ему какие-нибудь большие или небольшие, но всегда приятные сюрпризы.

Она действительно любит его.

И он ее — тоже.

И она не скрывает своего чувства. Недавно спросила:

— Ты меня всегда так будешь любить?

Он ответил, что всегда, всю жизнь.

— И даже когда я буду старенькой старушкой? — спросила она, специально морща свое милое личико.

— И даже когда ты будешь старенькой старушкой, — ответил он, нисколько не кривя душой.

У них, считал он, отношения особенные. Поэтому и жил иначе, чем некоторые, если не многие, его друзья, сослуживцы. Так как вы, подумал он однажды, я в свое время уже жил. И ничего из этого хорошего не вышло... А вот попробуйте пожить как я...

И в глубине души гордился своим не весьма модным в мужском обществе пристойным поведением. И если бы не эта неожиданная встреча, он гордился бы собой и дальше, однако гордость, как шепнул ему бесик, не такая уж и благодатная штука. Разве что в зеркало глянешь на себя. И отвернешься, чтоб не плюнуть...

Он продолжал злиться на себя, что утром он один, а вечером — другой. Что живет в нем то, что он сам отрицает.

К вечеру бесик, сидевший в нем, напомнил слова, которые он

выписал однажды откуда-то будучи еще студентом и которым в свое время, бывало, следовал: лучший способ отделаться от соблазна — это поддаться ему.

И в тот вечер, справившись с делами, он замедлил шаг возле одного из телефонов-автоматов. Можно позвонить... И вместе с тем... Если они встретятся... Как он будет потом смотреть в глаза человеку, который искренне любит его, верит ему, ждет его?

Все-таки, наверное, жили на земле сильные и красивые существа — андрогины. И, разъединенные Зевсом, продолжают искать друг друга и сегодня в этом огромном и яростном мире. Тычутся в потемках, спотыкаются, падают и поднимаются, переступают друг через друга или помогают подняться друг другу, идут вместе, расстаются, снова встречаются, ошибаются, уступают друг другу дорогу или не уступают и вдруг... Это вдруг бывает у одних на заре жизни, у других в ее закате, у третьих на закате — и вдруг находят друг друга, обретают свою половину — самих себя. И в этот звездный час, час торжества любви, когда они становятся единым существом — над землею восходит солнце. Рождение каждого дня — рождение чьей-то любви. Первой или последней.

В свое время Час торжества любви пробил и для него. Дружба не раз говорили: «На твоём лице написано счастье...» Да, в любви он счастлив, он нашел свою половину и ему больше никто не нужен, никакая женщина с пронзительным взглядом. Да пусть она великодушно простит его непутевого старого приятеля.

Может, и ей эта встреча не так уж была и нужна.

И прошел мимо телефона-автомата, думая о том, что порой живешь не столько по своей воле, по своим жизненным принципам, сколько по какой-то не свойственной тебе инерции, заложенной кем-то в тебя далеким и чужим.

Побродив еще по вечернему городу, снова зашел на «междугородку» и позвонил домой. Жена тут же взяла трубку. Он сказал, что звонит просто так, что стосковался по ней и хочет домой. Она сказала, что чувствовала, что он сейчас позвонит, и сидела у телефона. Помолчав, добавила, что ждет его еще с того дня, когда он уехал.

Через день заснеженный поезд подвозил его к родному городу. Одним из первых он покинул вагон. Одним из первых нырнул в сырую утробу тоннеля. Одним из первых вскочил в электричку.

А когда вышел из метро, на миг приостановился. И для того, чтобы перевести дух и ослепленный неожиданной белизной —

ночью выпал свежий снег и все кругом и тротуар, и деревья, и низкий заборчик вдоль сквера — все кругом было белым-бело. Даже как-то неловко было ступать по такой непривычной для города белизне, в этот ранний час еще никем нетронутой.

Отрывая взгляд от искрящегося снега, посмотрел на видневшийся за белым сквером дом с лесом снежных антенн на крыше и среди многочисленных окон сразу нашел и свое — в нем горел свет.

Цепко держась взглядом за живое окно в еще спящем доме, с ненужной осторожностью шагал он по крахмально хрустящему снегу, неся в душе только ему известный праздник...

Чем старше становишься, тем чаще и сильнее влечет в родные края, тем дороже и милей все, что в свое время почти не замечал.

Дорога проселочная, по которой катится грузовик, подпрыгивая на рытвинах, увлекая за собой ленивый шлейф седой клубящейся пыли. Когда-то ты бегал по ней, по этой самой дороге, ловко оседлав палку-коня, представляя себя Чапаем.

Кряжистая груша у двора, она казалась когда-то очень высокой до самого неба, теперь вроде бы вниз растет.

Возле ворот, покрытых с солнечной стороны зеленым бархатом мха, сруб колодца под крышей, чуть помятое цинковое ведро, барабан с кольцами ржавого троса до глянца обласканный руками.

Хата под соломой, в каких сейчас доживают свой век лишь одинокие старушки. Хата имеет что-то общее с моей бабушкой: согбенная годами и непогодами, но приветливая и аккуратная, всегда в белой сорочке и сереньком платке, выгоревшем на солнце.

На окраине села, венчая выгон, стоит древний ветряк. Звенящий, гудящий, рипящий, продуваемый ветрами, побитый дождями, снегами и градами он чем-то похож на моего деда, изрубленного шашками, битого шомполами и пулями, но никогда неунывающего, веселого и доброго.

А за хатой, за садами-огородами, переплетаясь ветвями, взметнулись к небу две стройных березы. Таких высоких берез в селе больше нет. И вообще — таких высоких деревьев. Они заметно возвышаются над кленами, осинами, тополями. И я знаю, нет в селе деревьев старше, чем эти березы: в войну все было

вырублено — переведено на топку, даже сады пошли под топор. Я спросил как-то бабушку, зачем садок-то вырубил, когда рядом такие большие березы растут, а лучше березовых дров не сыскать, мол...

Бабушка взглянула на меня строго, нелегко вздохнула и промолчала. Молчала, я видел, она о чем-то. Может, о деде думала. Давно его нет. Дед погиб уже после войны, на mine подорвался, когда хлеб сеял. Похоронили его не на кладбище — на развилке дорог. Он любил дороги. После войны работал объездчиком. Обычно люди с неприязнью относились к объездчикам, но деда уважали. Завидев в поле женщину с ворохом колхозной соломы в сетке за плечом, он не ловил ее, покусившуюся на общественное добро, не приводил в контору, не штрафовал. Что возьмешь с одинокой женщины, вдовы-солдатки, у которой единственное богатство — полдюжины детей, не у нее — у детей брать будешь, не на базар же несла она ту солому...

Люди рассказывали: завидев в поле такую женщину, он говорил ей: иди той-то дорогой, а то на председателя нарвешься...

Любил он людей. И просил похоронить возле дороги: кто ни пройдет — ни проедет, всяк посмотрит-оглянется на обелиск с красной звездочкой и свежим белым рушником, который приносила бабушка.

Она часто вздыхала-сетовала:

— Господи, сорок лет как нема деда, а я-то все живу... грех, поди, жить мне столько одной...

Они жили душа в душу. Как-то приехал в село я зимой. Погода была студеная. Бабушка вернулась откуда-то озябшая, посиневшая. Похлопоталась, что холодно нынче. Я посоветовал поддевать меховую безрукавку, что у нее без дела лежит зимой и летом под подушкой.

— Пускай себе лежит, — сказала она, подошла, бережно поправила ее.

Безрукавка была совсем новая, ненюшенная. И меня удивила и даже немного рассмешила такая излишняя бережливость старой женщины. И я сказал, зачем, мол, ее, безрукавку эту, беречь, вещи для того и существуют, чтобы их носить. Она коротко и строго взглянула на меня, потом взгляд ее смягчился, и она рассказала, что безрукавка эта дедова, в партизанах ему дали, а он принес ей в подарок. При деде она берегла ее, потом, мол, буду носить, когда состарюсь. Пришло время — состарилась, но все равно не носила, берегла, как память о деде. А под подушкой хранила потому, что когда укладывалась спать, натруженные и больные руки (они

так болели после работы!) клала их под подушку, сунет в теплый мех дедовой безрукавки и сразу легче рукам станет и на душе тоже...

В последнюю для бабушки осень она часто выходила из хаты и подолгу смотрела на березы, что взметнулись к небу за садами-огородами.

— Погляжу на березы и помирать легче, — сказала она однажды, а может подумала вслух. И попросила: — Когда умру — пусть они стоят, дед их очень любил, мы посадили их вместе... вон та его, а это — моя...

Давно уже нет в живых ни деда моего, веселого и доброго, ни бабушки, ласковой, приветливой, но стоят на пригорке две стройных высоких березы, стоят, переплетаясь ветвями, то печальны и задумчивы, то веселы и говорливы. Как дети, что беспечно играют сейчас в их уютной тени.

На зимних каникулах мы разъехались с моей девушкой. Она — к своей сестре в один город, я к родителям в другой. Мы собирались ехать автобусом — полдороги вместе, но несколько дней шел сильный снег, и автобусы не ходили. Свою любовь я посадил на пригородный поезд, а сам, взяв билет на другой поезд, поднялся на второй этаж, где было теплее, но многолюдней, чем на первом холодном этаже. Прошел зал вдоль и поперек — ни одного свободного места. Собрался уходить, как увидел девушку в военной шинели. Приподнявшись, она сделала приглашающий жест, здесь, мол, есть место, рядом...

Не совсем уверенный, что сигнал относится именно ко мне, стоявшему в растерянности юнцу в лопухой шапке, я приложил руку к груди: вы мне?

Она убедительно кивнула. И раз, и другой.

Переступая через чемоданы и сумки дремлющих пассажиров, направился к свободному месту.

— Спасибо! — сказал я.

Она улыбнулась и тоже села, слегка повеяв на меня незнакомым приятным запахом, в котором была сразу и зима, и лето — так мне подумалось.

Мы посмотрели друг на друга. Я почему-то сразу отвел взгляд,

и зачем-то сказал:

— Собирался ехать автобусом, да вот...

— Трассу замело, да?

— Да...

Мне хотелось снова посмотреть на нее, но она разглядывала меня так откровенно, что я оробел, сидел как кролик и не мог поднять на нее глаза. Посмотрел только на ее погоны — лейтенант...

— А я в командировку... — сказала она и вздохнула.

— А я к родителям...

— Там, наверное, девушка... — в голосе игривость.

— Нет, — почему-то поспешно ответил я, и посмотрел ей в глаза. И не мог отвести... Что в них было? Какие они были? Цвета не помню. Они томно обволакивали и властно влекли к себе.

— Тебе сколько?

— Шестнадцать, — соврал я.

— А я думала — восемнадцать, — сказала она и взгляд ее притух.

Через мгновение еще раз коротко, но пристально взглянула на меня. Во взгляде ее таилась загадка и какая-то отчаянная отвага.

— Ты думаешь, я — военная? Да, я окончила училище, в прошлом году. Но я просто девушка, понимаешь? И вполне ничего...

Чуть грустно улыбнулась, привстала, расстегнула и сняла шинель.

— Держи! — изящным жестом кинула мне ее на колени.

В гимнастерке и синей юбке, по-военному прошлась по ремню, и ни на кого не обращая внимания, крутнулась на каблуках аккуратных сапожек.

— Как я тебе?

Я не знал, что сказать. Мне она очень, просто очень... Понравилась — не то слово... Она как-то сразу стала очень моей, что ли... Родной — нет... Моей... Если бы она протянула мне руку и сказала: пошли — я бы не спросил, куда и зачем — пошел бы сразу. Вот такая была она. На ее вопрос, как она мне, лишь смущенно улыбнулся. По-моему, она поняла меня правильно. Она тоже улыбнулась, чуть печально. Глядя мне прямо в глаза, доверительно зачем-то проговорила:

— Твои губы хорошо целовать...

Никогда не думал о своих губах...

— Жаль, что надо ехать... — взяла мою руку, свою положила сверху, погладила и снова, глядя мне прямо в глаза, горячо прошептала. — Я бы научила тебя всему-всему...

Отвела взгляд в сторону, долгий, тягучий.

Я был поражен ее откровенностью. И почувствовал, как в одно мгновение она стала для меня совсем моей и страшно желанной. Что-то пролепетал невнятное.

— Да-да, — неопределенно протянула она. Кажется, хотела еще что-то сказать, но диктор объявила об очередной посадке... Незнакомка приподнялась, грустно проронила:

— Это — мой...

Я тоже встал, намереваясь ее проводить.

— Не надо, сиди, а то место займут... Прощай, мой мальчик!.. — и совсем по-свойски с горчинкой в голосе добавила: — Такова «сэляви»...

Мне перешло ехать к своей девушке. Охватило страстное желание уехать с этой прелестной незнакомкой, от которой так упоительно пахло сразу и зимой, и летом. И еще — легким духом коньяка, приглушенного ароматом миндаля и неповторимым загадочным запахом... Нет, не запахом... От нее исходило головокружительное дыхание крепкого девичьего тела, обволакивающего и влекущего в тайны жизни.

Позже, когда трафило вкушать прелесть любовных утех, меня неотступно преследовал этот неповторимый букет ароматов. И будоражила воображение волнующая мысль: а как бы это было с нею, с той моей незнакомкой?

Пусть ханжи осудят автора этих честных строк, но я и теперь, будучи в возрасте, лелею надежду, что снова встречу Ее и, наконец, познаю тайны, в которые загадочная незнакомка хотела посвятить зеленого юнца.

...Прелесть нереализованных отношений в том, что они надолго остаются в памяти и кажутся нам более романтическими.

, ...

Чем ближе к нам живут люди, тем меньше они нас интересуют. Особенно это касается взаимных симпатий, влюбленности. Как «В своем Отечестве пророка нет», так и в рядом живущих с тобой нет особ, при виде которых в душе бы возгорались высокие чувства.

Девчонка по лестничной площадке была и будет «соседской девчонкой», пигалицей, а то и замухрышкой, которую ты знаешь как облупленную и помнишь, как она играла в песочнице и пицала: ма-ма, хочу пи-пи... И ее мать, раздраженно сдернув с нее трусики, морщась, держала над травкой.

Девчонки из твоего класса тоже не очень котировались. А вот из другого класса... А если из другой школы... А еще лучше — из другого города... И еще круче — из другой страны — вот это да! Вот это девчонка! Вот это девушка! Вот это женщина! «Ах, какая женщина — мне б такую!»

У Высоцкого была Марина Влади, славянского происхождения, но парижанка... У Дали — русская, у Бальзака — украинка... Сама природа подсказывает: не женись на близких, крепче будет потомство.

Да пусть простит меня взыскательный читатель за то, что я невольно пристаиваюсь к великим (я ищу у них поддержки!), речь идет не о степени таланта, а о самом высоком чувстве на земле, о котором много написано, спето, говорено, но так толком никто и не знает до сих пор, что оно такое — это чувство.

А я влюблен был в девочку с Востока. Она была иранкой, точнее, персианкой (до сороковых годов позапрошлого уже века Иран назывался Персией). Девочку звали Шагоег, что означает красивый, очень красивый цветок. Свои же называли ее кратко — Шаго. А я за глаза называл ее Шаганэ. И в первые же дни ее появления перечитал «Персидские мотивы» Есенина и поймал себя на мысли, что повторяю и повторяю эти строки: «Шаганэ ты моя, Шаганэ...».

Никакой моей она не была и не могла быть. Ей было (неловко об этом говорить) всего одиннадцать лет, а мне уже прилично за тридцать. Я невольно призывал на помощь историю и классиков.

Гете, когда ему было 74 года, влюбляется в 17-летнюю красавицу и даже просит ее руки... А Набоков, точнее, его герой, влюбляется в нимфетку Лолиту. Набоков — случай особый. Хотя он и писал эту вещь якобы от имени человека с ненормальной психикой, но мне кажется, он описал себя. А Чарли Чаплин... А древняя египтянка, дочь Нефертити Анхесенамон вышла замуж за фараона в одиннадцать лет... Восток — дело тонкое... Любовь — чувство древнее и труднообъяснимое. Пути любви неисповедимы. Покорны ей все возрасты...

Случись так, что мать Шагоег, красивая женщина средних лет, уехала в Эмираты, полностью доверив нашей семье свою юную

дочь, красавицу-персианку. Она была в меру смугла, с черными как смоль глазами. Она была диковата, игрива и любознательна. Говорить по-русски научилась мгновенно. Я работал дома, и мне приятно было в свободное время с ней общаться. По-моему, ей — тоже. Она мешала мне работать, дурачилась, потом временами становилась очень серьезной, спрашивала, что, как называется, иногда смотрела на меня, как на музейный экспонат, с приятным акцентом говорила:

— Такой волёси (у меня — русые) как у тебя — красиво, а у нас... — она морщила носик, — как это... осень-осень черный — плёхо...

— Почему — плохо? — спрашивал я, — мне нравится...

— А-а, — слегка кокетничая, отмахивалась она, — ти говори это, чтоб я не обидеть.

— Чтоб меня не обидеть, — поправлял я.

— Чтоб минья не обидеть, — старательно выговаривала она.

— И у всех у нас такой черный глаза — фу... — она так красиво складывала в трубочку губы, что хотелось прикоснуться к ним своими губами... чуть-чуть прикоснуться. И — дальше, глядя на меня, как на вещь: — Вот у тебя...

Она потерла пучечками пальцев, подыскивая нужное слово.

— У меня саме обыкновенные — голубые.

— Голубие, — расцвела она мечтательной улыбкой, — красиво! Осень красиво!

Боже, подумал я, а я и не знал, что такой красавец...

Иногда она подолгу молча смотрела на меня — человека из другого мира. А я — на нее. И однажды вот так молча глядя на нее, я вдруг поймал себя на мысли, что она мне жутко нравится. Я давно не испытывал ничего подобного. А может, и вообще никогда не испытывал ничего подобного. Нет, у меня не было желания сгрести ее в охапку. В том чувстве, которое захлестнуло меня жаркой волной, были сразу и несказанная нежность к этой девочке с Востока, и понятное ощущение неловкости и перед ней и перед самим собой... Я взрослый человек, а она девочка, ну уже, правда, обретавшая начальные формы прекрасного пола. Не буду описывать, это очень трогательно и свято. Подсознательная мысль: в таком возрасте там, на «тонком» Востоке уже отдают в жены... Ее мать отдали в жены в двенадцать лет.

Я старался не думать о том, что мне нравится Шаго. Но попробуй не думать, когда она все время перед твоими глазами.

Так мило улыбается. Так звонко смеется. Так загадочно кокетничает.

Жена купала нашу прелестницу. Шаго сперва противилась: я — сама! Жена убедила, что тут ничего такого, что они — женщины. Тем более, говорила, что мать ее, Шаго, перед своим отъездом наказывала дочке слушаться «русскую» маму. Шаго так и называла мою супругку: мама, а меня — папа. Своего папы у нее не было. Она там купала Шаго, а я, мерзавец, в своем воображении видел — какая она. И, наверное, многое бы отдал, если бы купать потрафило мне. Да не купать, а просто взглянуть, хотя бы мельком, хоть одним глазком. Помню, я тогда опять подумал стихами Есенина: мне бы только смотреть на тебя...

Мы записали Шаго в школу. Отводить и забирать из школы чаще доводилось мне. Величайшее удовольствие мне доставляло ходить за ней в школу. Приятно было подавать ей курточку, помогать нести тяжелый, будто кирпичами набитый, ранец, вести ее за руку, так как порой было скользко, а ко льду на тротуаре она не привыкла, приятно было при переходе через дорогу чуть крепче сжимать ее пальцы и приятно было ощущать, как и она сжимает мою руку.

Была зима. Шагоег любила кататься с горки на санках. Она садилась на санки, я брал ее за узкие плечи и мягко толкал вниз. Она вскрикивала, и морозный воздух наполнялся ее удивительным смехом. Ей было хорошо, а я был счастлив.

Помню, в те дни друзья мои при встрече на улице не раз мне говорили: у тебя вид счастливого человека — с чего бы это?

Я не говорил, с чего, боясь своим признанием разрушить тот хрупкий замок счастья, который неведомо для себя возвела Шаго. Никто не знал, почему я так счастлив, даже сама Шагоег.

Летом будущего года приехала ее мать и они отбыли на родину. Перед отъездом Шаго поцеловала меня, в губы. Для нее это был обычный поцелуй. (Она и раньше целовала меня, когда шла в школу одна). Для меня же это был не просто мимолетный прощальный «чмок»... Я был ей очень благодарен за то, что она вообще была, живет на белом свете, общается со мной, внесла в мою серенькую жизнь столько радости!

А как она танцевала... И я возле нее топтался, замороженный ее красотой и лебедиными движениями ее совершенного хрупкого тела.

— Ты ослепительно красива! — сказал я.

— А что такое «ослепительно»? — спросила она.

Я посмотрел вверх: «как Солнце...» Это было почти объяснение в любви. Она посмотрела на меня дольше обычного, быть может, поняв это и великодушно прощая меня.

Думая о Шагоег, я впервые до боли позавидовал восточным мужчинам, которым и сегодня можно иметь несколько жен. Восток — дело тонкое. И мудрое. Чего кривить душой, нам иногда нравятся не только наши любимые жены. Точно так же, как и им нравимся не только мы, «любимые»...

К своему счастью или несчастью — до сих пор не пойму! — человек я влюбчивый. Кто-то, правда, сказал, что влюбленность — нормальное состояние человека. Дело в том, что, думая о Шагоег, я думаю и о ее сестрах Нобанд и Махназ (Махназ означает Луна), и ловлю себя на мысли, что и в каждую из них я понемножку влюблен. И даже в их мать, которая не утратила былой красоты. Все они такие необыкновенные и такие притягательные. И каждую из них при встрече хочется поцеловать, хотя бы в щечку — ну что тут плохого!? Недавно я понял: я просто влюблен в персианок...

Но любимая моя «жена», конечно — Шагоег. Моя Шаганэ. Где она сейчас? Кого целует? Мама у нее состоятельная, проводит время там, где ей нравится. То в Голландию едет, к старшей дочери, то в Эмираты, к сыну, когда очень жарко — в Лондон. И всюду возит с собой свою младшую дочь Шагоег. Сейчас ей шестнадцать. У нас есть ее фотография — красавица, каких не увидишь на конкурсах красоты. Сестра Махназ, которая сейчас живет в Харькове, говорит, что к Шаго сватается сынок одного нефтяного магната. Однако Шаго отвергает его ухаживания, не хочет замуж. Дикая. Вольнодумная. Мудрая. Изумительно прекрасная.

А недавно я узнал, что моя восточная принцесса скоро собирается приехать в Харьков. И с сестрой повидаться, и с подружками, и с «русской» мамой. Обо мне, она, конечно же, не думает. Но все равно в ожидании встречи с ней я трепещу от радости и счастья, что снова увижу ее. В груди и сладкая горечь: ничего никогда у нас не может быть, да и не должно быть, я же не восточный мужчина...

Не может быть... но оно есть... это — мое трепетное чувство к ней... к тебе, Шаганэ... «Мне бы только смотреть на тебя...» А в глубине души шальное: припасть бы, как к роднику, к твоим губам, осыпать поцелуями каждую клеточку твоего прекрасного

тела!

Шаганэ ты моя, Шаганэ, прости, что я так откровенен. В жизни мы часто с легкостью говорим друг другу грубости, гадости, оскорбляя чувства друг друга. А вот на хорошее скупимся, хорошего стесняемся. И напрасно. Если бы мы были так же щедры на добрые слова, как на плохие, мир хоть чуть-чуть стал бы светлее.

Пусть и тебе будет светло в жизни, милая моя Шаганэ!

Говорят о странностях, загадках любви. Существует не вызывающая ни у кого любовь первая и любовь последняя. А что бывает между этими двумя признанными обществом и не идущими вразрез морали любовями? Или больше судьба никого никогда не сводила, не сталкивала? Или встречи были несерьезными?

В каждой встрече участвуют двое. Для одного из них это действительно может быть просто легким увлечением, но для другого это может быть первая любовь или последняя. Почти во всех книгах писатели чаще описывают или первую любовь или последнюю, воспевая и ту, и другую. Воспевают еще и «невстречу». «Сюда принесла я блаженную память последней неувстречи с тобой...»

А сколько в жизни вообще бывает «невстречей»? Когда он и она увидели друг друга, кто-то кого-то ослепил, зажег в груди огонь и «чудное мгновенье» исчезло навсегда.

И мне однажды довелось такое испытать. Было это на Алтае. Высокогорная степь-полупустыня. Переправа через бурливую Катунь. Я стоял возле своей машины, ожидая парома, и вдруг обратил внимание на всадницу-казашку, тоже ожидавшую парома. Она была молода, красива и величественна на своем сильном космагривом коне. Он нетерпеливо переступал ногами, высекая из камней искры и, казалось, гордился своей чудной наездницей. Я взглянул на нее снизу вверх и, наверное, смотрел дольше, чем можно было смотреть. Она стрельнула взглядом на меня и отвела глаза. Потом снова посмотрела и, словно мы уже были знакомы, сказала с легким восточным акцентом:

— Не смотри так — тосковать будешь!

И вдруг прищипорила коня и ринулась с ним в бурную Катунь.

Я рванулся вперед, испугавшись, что вода собьет всадницу и девушка может погибнуть. Но, видимо, она хорошо знала те места или, может, у нее тоже вспыхнул в груди огонек, и она ринулась его тушить. Борясь с течением, конь трудно преодолевал реку, то погружаясь в кипящий поток до самой гривы, то вырываясь из него, поскользываясь на подводных камнях, оступаясь, падая и снова поднимаясь, взрывал копытами мощный поток и, наконец, достиг другого берега, от которого отходил уже по тросу, ожидаемый всеми паром.

Давая коню передышку, девушка-казашка ласково похлопывала его по сильной блестящей от воды шее, затем оглянулась, помахала кому-то рукой, быть может, мне. Потом подняла коня на дыбы и, припав к его гриве, умчалась-улетела в степь.

«Не смотри так — тосковать будешь!..»

Как я на нее смотрел? И почему она так сказала? И почему не дождалась парема? Что у нее было в душе? У меня — пылал огонь.

Все-таки жили на земле сильные и красивые существа — андрогинии. И разъединенные Зевсом, они продолжают искать друг друга в этом непомерно огромном и сумбурном мире.

В кино бы мы обязательно встретились. И в романе — тоже. Но жизнь движется по другим дорогам и тропам. Конечно же, мы больше никогда не встретились. Много лет прошло с тех пор. Я давно женат и вроде бы счастлив. Но нет-нет да и вспомню ту прекрасную девушку-казашку, которая, гарцуя на красивом коне, игриво бросила: «Не смотри так — тосковать будешь!»

И представьте себе — тоскую!

...

* * *

Я одна. Между стен, между книг.
Стены, книги... Со мной не случилось,
Чтобы каждый заполнился миг
Их, таким отрешённым, молчаньем.

Где-то дочка, и внучка, и зять, —
Далеко они, за океаном...
Да и брата вот так потерять,
Оставаясь с помятым диваном.

Я — одна. Но без стонов, без слёз.
Всё мечусь в переулках квартиры.
Всё ищу не на шутку — всерьёз
Нитку жизни меж мною и миром.

И каких бы невзгод превозмочь
Не судилось, каких бы препятствий, —
Брежит свет. Одиночество, прочь!
Здравствуй, жизнь, пусть не лёгкая, здравствуй!

март 2015

Л.К.

А нынче я — счастливая.
Все горести — в расход!
Ещё чуть-чуть красивою —
Встречаю Новый год.

Принёс мне чудо-ёлочку
Нежданно, как-то вдруг,
Сосед мой, званный Лёничкой, —
До страху верный друг.

Вся в блёстках, вся мохнатая,
Вся в капельках дождя, —
Не очень — пусть! — богатая,
Но всё-таки — звезда.

декабрь 2015

* * *

Не терплю ожидания,
Даже с доброю нотою.
С кем-то, с чем-то свидание
Нависает
заботою.

То ль с каким-то там юношей,
То ль с подругой ненастной,
То ль с рифмой простуженной,
То ль с лукавой
напраслиной...

всё во мне заколготилось.
Изнуряет гадание.
Вечно горькой занозою —
Треплет нерв
ожидание.

март 2014

* * *

Устала зваться умницей,
Мне по сердцу б — дурёхой, —
И распахнутся улицы
Улыбкою черёмух.

Долой все предсказания
Интуитивной спеси! —
И заиграют заново
Слова забытой песни.

И падать в негу слёзную,
И от души смеяться,
Забыв про боль стервозную, —
Так просто, по-дурацки.

декабрь 2015

* * *

Мы живём на разных континентах —
Выпала по-разному судьба.
Для тебя границ на свете нету,
Я — в доме, словесности раба.

Твой звонок — надёжная порука,
Словно колдовство издалека.
И уже разлука — не разлука,
И смолкает глупая тоска.

Символы, и грифели, и краски, —
Всё твоя родная колея.
Носишься с неукротимой страстью,
Дочь моя.

Но в чём-то — не моя.

февраль 2016

Ну, признайся, где-то в глубине,
В глубине души твоей таится
Знаковою памяти частицей
(Обо мне, конечно, обо мне),
Пусть и не по-прежнему остра
(Притупили всякие невзгоды),
Вспыхнувшая вдруг в крутые годы, —
Крохотная клеточка добра.

январь 2016

* * *

Тебе — не до меня, и мне — не до тебя.
У каждого — своя — строптивая судьба.

Случайно мы сошлись — логично разошлись,
И застывает наш малёванный эскиз.

Умолк трескучий мой, усталый телефон,
И не стучится в дверь знакомый почтальон.

А говор мой горчит, всю память беребя:
Тебе — не до меня, и мне — не до тебя.

декабрь 2015

* * *

Скучаю ли я по тебе?
Сама не знаю.
Ты — стебелёк в моей судьбе,
Пригоршня чаю.

Глотну немного и — покой
Вмиг наступает,
Как будто бы святой водой —
Бросок из рая.

Скучаю ли я по тебе?..

февраль 2014

* * *

Чужими стали — я и ты.
Чернеющий сюжет...
И вянут вечные цветы,
И жидкий брезжит свет.

А стены знобкие в дому
И немые, и глухи...
... Но почему, но почему
Пишу тебе стихи?!

май 2014

* * *

Мне кажется — белый цвет,
Дарованный вешней порою,
Сегодня весь белый свет
Живой чистотою покроет.

Он так засветился вдруг
За окнами стройной черешней!..
Молоденьких яблонь круг
Завихрился белой надеждой.

И лица озарены.
Девчонки строчат каблучками,
А глянешь со стороны —
Простукивают мир мелками.

На сотни и сотни лет
Он — высшее из знамений.
Мой храмный, мой белый цвет —
Мне до конца не изменит.

май 2015

Чайник, нет, тобой не налюбуюсь я.
За окном густой февральский снегопад.
А в моём доме — почти весенний лад,
Звонкий твой свисток заменит соловья.
Ты — такой надёжный, маленький мой тыл.
Мне с тобой беда любая не страшна.
А внутри кипит знакомая душа.
Красный,
 белый,
 черный, —
Где ты раньше был?!

февраль 2015

Людмиле

Нет, ну, какие тюльпаны
Из твоего вдруг сада!..
Вмиг разгоняют туманы,
Глушат легко досаду.

Стройные, свежие вихри
Пурпуром звонко брызжут.
Хочется мудро и тихо
К ним вознестись поближе.

Смолкнут мои костоправы.
С новой цветною силой
Я появлюсь по праву —
Стройною и красивой!..

май 2015 г.

* * *

Не выношу самоуверенных.
Особенно — в кругу политиков,
Что, возомнив себя элитой,
Старьё стегают ржавой версией.

Шикованные, с мощным голосом,
До самых пят макияжированы,
Словесной рухлядью жонглируя,
Швыряются спесивым гонором.

А мы, восставши от безмолвия,
От их блажного выкаблучиванья,
Пытаемся сражаться с тучею,
Что мечет роковые молнии.

июль 2012

* * *

Донельзя мы были доверчивы
И думали, что это мудро.
С надеждою встречали вечер,
С надеждой привечали утро.

Но всех накрыло недоверие —
И незнакомых, и знакомых.
Пошли греметь шальные нервы,
И день — не день, и дом — не дома.

И вдруг в глаза — до боли дивное
На сплошь затоптанной алее —
Росток — пока что сиротливо,
Но всё же, всё же —
зеленеет.

март 2016

« »

КРУГИ СВОЯ

А между тем, без отрыва от куска хлеба, добываемого ремеслом, я окончил университет. Мне было интересно узнавать. Как раз за этим я рвался в универ. И как раз это — желание узнавать — оказалось там такой редкостью, что не было преподавателя, который, читая лекции, не обращался бы лично ко мне.

Я не просиживал, отбывая номер, я слушал. И тем для людей, которые готовились и хотели передать, был роднее родного. Поэтому все с чистым сердцем ставили мне пятёрки, только пятёрки и ничего, кроме пятёрок.

Да что пятёрки — меня позвали работать на кафедру. Предложив, правда, жалование, на треть уступающее той зарплате, при которой я не мог купить штаны.

Мне так неловко было отвечать отказом, тем более, что ни один из моих резонов не мог быть озвучен. Они нипочём не приняли бы всерьёз, что я любил и люблю своё ремесло — не самое завидное и не самое чистое. Что его, это ремесло, когда я пропал, судьба, снизойдя к сиротству, бросила мне как спасательный круг. И что пока ещё, а может быть, и никогда, у меня не будет ничего другого, за что бы я мог удержаться в жизни.

И уж и вовсе не подлежало озвучке, что мне неинтересна кафедра, что мечу я куда как выше. Что я — ну чем же не старуха из «Рыбака и рыбки»? — не хочу остаться изучающим кого-то, хочу, чтоб изучали меня.

Нет, с красным дипломом на руках я отправился в контору родной фабрики с намерением рапортовать, что учёба завершена и что самое бы время доверить мне что-нибудь посерьёзнее роли кустаря-отшельника. И попал в яблочко.

Следует сказать, что желающие похлопотать не впустую шли

на фабрике к Вере Павловне. Замеченная в приёмницах, названная жена директора и главный инженер, она, всеобщая миротворица и душа всех начинаний, умела необходимо отказать или найти тысячу и один способ осуществить то, что пообещала.

При тонкой талии Вера Павловна имела развитые плечи, тяжёлую грудь и сильный, как у упитанной лошадки, зад. Её лоб казался несколько стиснутым с боков, а щёки и подбородок тяжеловатыми, что вместе с причёской, свёрнутой в узел на затылке, делало её лицо похожим на грушу. Ещё у неё были чёрные усики, умеющие заразительно улыбаться, быть надменными и грозно гневаться.

В отличие от моего диплома, цветом похожего на старый кирпич, Вера Павловна покраснела нежно, как девочка, и обратила ко мне полный хорошего удивления взгляд. Быстрая в своих реакциях и действиях, она подхватила и тут же потащила меня к директору.

Теперь, когда всё упростили и обесценили деньги, такое трудно встретить, но тогда люди, которым после начальной школы не довелось поучиться, склонны были относиться к документальным свидетельствам чьей-то образованности с преувеличенным и не всегда оправданным пиететом. Последнее в полной мере можно было отнести к Вере Павловне, которая, сбежав в город, начала работать с пятнадцати лет, и к Ивану Мефодиевичу, семиклассником угнанному в Германию.

Сухие и шёрхлые от частого мытья, с остриженными под корешок ногтями, имеющими продольные утолщения, похожие на рёбра жёсткости, руки директора никак не походили на руки управленца. Казалось, они так и не смогли отойти, отмякнуть от тяжёлого крестьянского труда, которого с избытком выпало на их детство и юность. И он их моет, моет, чтобы хоть безупречной чистотой они соответствовали месту, занятому им среди людей.

С замедленным, слегка корявым согласием сильных пальцев они, эти руки, раскрыли мои корочки. Затем, словно опасаясь повредить, с напряжённой осторожностью развернули сложенное четверо извлечение из зачётки, и он, Иван Мефодиевич, помогая себе губами, добросовестно прочёл мою фамилию, даты учёбы, названия всех пройденных предметов с одинаковой везде оценкой «отлично».

Вера Павловна, стоя за его спиной, так же подробно, зато раз в пять быстрее прочла то же, что читал он, и с идущей откуда-то из глубины симпатией, почти с умилением, смотрела на то, как он

шевелит губами.

Вместе они напоминали старинную фотку с сидящим главою семьи и полной почтения спутницей жизни, которая стоит рядом.

Подумалось, она нарочно не закрашивает первых у неё седых волос — чтобы смотреться ближе по возрасту, быть парой.

Длились звёздные минуты моего диплома. Нынче же он заляжет в ящик письменного стола до следующего, так же, как и сегодня, не имеющего ничего общего с конкретикой дела, чисто показательного появления на свет. Службу буквальную, юридически полновесную, он сослужит только однажды — когда военкомат задумает призвать меня на переподготовку, что, как это обычно и бывает, случится в самое неподходящее для работы и всего прочего время. Вот тогда-то я и прикроюсь дипломом, удостоверив, что я больше не сапожник. А новая специальность, обрётённая в результате упорной учёбы, армии не понадобится: недостатка в болтунах она, армия, не испытывала.

Жёсткие, ёжиком, волосы директора, от седины по-волчьи серые, двигались вместе с кожей лба, который в процессе чтения то сунулся, сдвигая брови, то гармошкой сходил у кромки низко растущих волос. Затем он поднял на меня, словно нарочно в угоду стилю и солидности, серые, как и ёжик, глаза и с полминуты смотрел, изучая со строгостью и уважением. Мы встречались с ним каждый месяц в течение шести лет в этом же кабинете, где он принимал отчёты. По убогости мастерской я не приносил денег, а он отвечал согласием на всегда одну и ту же просьбу уменьшить план, аргументируемую тем, что к выполнимому плану есть смысл и охота тянуться. Но теперь он изучал меня как незнакомца, и это не вызывало удивления: он примерял на меня другие обязанности, пытаясь представить, насколько они мне по силам.

Люди, которыми располагала фабрика, делились на два сорта: сапожники, из которых почти никто не способен был к руководству, и приёмщицы, чаще всего обладавшие и нужным характером, и смёткой, и трезвостью, но не владеющие ремеслом, и потому зависимые от норовистой сапожной братии. При этом варяги на места, куда текли ручейки и речушки живых денег, допускались лишь в виде редчайшего исключения: они, во-первых, в отличие от приёмщиц, вообще не знали работы, а во-вторых и в главных, они не были испытаны малым — той левой копеечкой, вокруг которой топчутся рядовые.

Я же, как тот пострел, который везде поспел, был пригоден со всех сторон, с какой ни возьми. И объявился в тот самый момент, когда центральная мастерская города — флагман со штатом в сорок мастеров и пять приёмщиц — в очередной раз осталась обезглавленной.

ТОНУЩИЙ КОРАБЛЬ

Вера Павловна, обожавшая ковать, пока горячо, не мешкая, повезла представлять меня коллективу.

Обширный зал в цоколе с по-старинному высокими потолками служил приёмной. В нём было тесно. Очередь, сломленная в несколько колен, гудела, как трансформатор, грозящий взорваться. Солировал в этом гуле визгливый скандал у окна приёмщицы, к которой мы и протиснулись, чтобы попасть в запертые двери, и на лице которой увидели оскал загнанного в угол зверька, ощерившегося перед последним броском.

Вера Павловна отняла у неё квитанцию орущей заказчицы, коротко сказав:

— Принимай новое, мы на выдаче.

Я взял квитанцию следующего в очереди, и приёмная стихла, соблазнённая любопытством и подкупленная тем заразительным чувством, которое возникает, когда у утраченной было надежды появляется вдруг второе дыхание.

Мастера в цеху с большей долей пустующих мест настороженно примолкли, с показной старательностью уткнувшись в работу. Не найдя нужной пары на полках готового, я спросил:

— Ребят, у кого туфли женские красные, набойки с подмётками и обивкой?

Хитрющая сапожня услужливо нырнула в кучи при верстаках, и туфли нашлись у юного парнишки — инвалида детства, движения которого были угловаты, как у робота.

— Когда? — сказал я.

— Веч-чером, — проговорил он непослушным языком и губами, которые, будто с мороза, с опозданием брали нужную звуку форму.

— Завтра после обеда, — сказал я заказчику, беря на всякий пожарный полдня про запас. Заказчик признательно кивнул, не усомнился, а я уже шёл на поиски с другой квитанцией.

Чутьё и опыт выводили Веру Павловну на искомое, словно нюх ищейку. Переламываясь в позу огородницы, без оглядки на маникюр, она стремительно перебирала кучи и управлялась вдвое

быстрее меня. Обнадёженное множество в приёмной редело на глазах. Минут через сорок Вера Павловна, разгорячённая работой, которую знала назубок и по которой скучала, помыв руки и посчитав излишним представлять меня, пошутила с работягами и уехала.

В кабинете зава нашёлся ключ от сейфа и запасные ключи от мастерской. Туда же, в кабинет, я отложил несколько вусмерть заношенных пар, которые нашёл ничейными, отброшенными кем-то и проболтавшимися в мастерской по месяцу и более того. Собрал их столбцом, как делал Колюня, я вышел в цех и увидел, что все попрытали глаза. Нетрудно было догадаться: обувь эта уже навязывалась каждому из присутствующих, и всякий, кто дерзостью, кто лукавством, успел отчураться от неё.

У верстака, пустующего рядом с дверью кабинета, я спросил:

— Ничей? Значит, будет мой, — и поставил злополучный столбец к себе на верстак. — Завтра в семь открою, кто хочет, приходите пораньше.

— Я такой, что и в шесть пришёл бы! — откликнулся жилистый и сухой, как хорошо провяленная рыбка, мастер, внешность которого, словно кокетничая, не говорила прямо о возрасте. — Я тут через два дома...

У него было тонкое лицо, как у нарисованного школьницей принца, который немного состарился. А спецовкой служило что-то спортивное и очень тесное, прилипшее к телу. Завтра я узнаю, что он — отпущенный на пенсию артист балета, что в мастерах без году неделя и, не имея ещё успеха, старается взять упорством. Я протянул ему ключи, спросил:

— А закрыть?

— Закрою. Мне не к спеху, в шею никого не погоню.

— О, Данька, ги я з тобою! — оживился тучный, большеголовый и рослый дядька с багровым, в складку загривком и с пальцами враслопырку, похожими на городошные чурки. Он с какой-то особенной игрою мощной спины поёрзал на «стулке», и только тут я увидел, что у него по самое основание отнята правая нога. — А ты, Царёк? — бросил он сидевшему визави вечному сапожнику, легендарному дедушке-Царьку, востроносому, усохшему, скрюченному, ощипанно-лысому и уморительно похожему на скульптурный портрет Вольтера. — Га?!

— Нога! — ехидно ответил ему устоявшейся в их диалогах рифмой Царёк и с усмешкой Вольтера воззрился на меня. — Без

вступительной оно-то и неуважительно...

— От клиентов отобьёмся — гульнём, — с удивлением замечая у себя интонации и слова Сергея, сказал я. — Наше от нас не уйдёт. Да мы как-то и закусывали с Колюней, с Янчиком...

Царёк от уха и до уха расплылся беззубым ртом:

— Помню! Колюнин ученик! Колюнина гордость!

— Дед, а куда отсюда народ разбежался? — кивнул я на пыльные верстаки. — По толпе в приёмной надо понимать, что мастера были правильные, место прикормили — лучше не бывает. Небось почванилась дура какая-то?

— И не одна!

— А где кто? Ты же на фабрике всех наперечёт... Кого ещё можно, вернуть бы, а?

МАРУСЯ

Куда как хуже, чем в цеху, обстояли дела с приёмкой и выдачей. Уцелела единственная приёмщица, которая, бесменно выстояв десять суток штормовой вахты, была на грани помешательства. Бегая с квитанциями наперегонки с Верой Павловной, я уже собрался было попросить у неё кого-нибудь из других мастерских на временную подмогу.

Но схлынула очередь, и, успокоившись, я подумал, что это не выход. Нужно звать и учить своих девчонок — расторопных, смыслёных, приветливых и мечтающих заработать. Кого? Кого?

По всем статьям подходила Маринка, с которой свёл как-то в гастрономе вздорный и комичный случай. Незатейливые наши шашни не имели регулярного продолжения, но и сказать, что мы раззнакомились, тоже было нельзя.

Открыла мама, зная меня, Маринку позвала сквозь зубы. А та выбежала с настроением; накинув на себя что-то старенькое и тёплое, потащила меня в облюбованную нами некогда сию бабы Дуси, которой, как бывшему завучу, доставили в узкую нишу во дворе списанную парту, чтобы баба Дуся в сезон созревания сторожила оттуда посаженный ею абрикос.

— Марусь (мама и близкие звали её Марусей), что у тебя с работой?

— Если без лишних предисловий, полная жопа.

— Какие-то неприятности?

— Были.

— И закончились?

— Почти.

— Чем-то помочь?

— Пока не надо, сами, думаю, отстанут.

— Марусь, я принял мастерскую, позарез нужна приёмщица, и ты бы подошла ну просто идеально.

Она подняла ко мне глаза. Было темно, но я знал, что они акварельно-голубые, как ясное летнее небо.

— Работа каторжная, но денежная.

— Я уже согласна. Хотя мама сойдёт с ума: она за устройство давала на лапу семьдесят рублей, мою месячную зарплату.

— Лаборанткой в НИИ — на лапу?..

Она хмыкнула снисходительно.

— Ты ничего не понимаешь! Институт-то не шалай-валяй, там водятся женихи из приличных семей.

— Серьёзно?

— А то! И я с одним даже ходила в парчок.

— Интересно.

— Представь, что он в свои двадцать пять ближе, чем на метр, не подошёл ни к одной дурёхе.

— Считаю, что уже представил.

— И я повела — из соображений высокой гуманности решила приблизить.

— И?

— И только это приблизила — над самым ухом: «Сержант! Здесь извращенствуют!»

— Вот тебе и на! И что же?

— И он как дрыснет через кусты!

— Марусь, если так: ты утречком относишь заявление и сразу ко мне? А на те две недели, что ты должна отработать, мы с Жеккой сделаем тебе больничный. Пройдёт такой вариант?

— Думаю, пройдет.

— А маме ничего не говори. Денька три-четыре покрутишься, возместишь ей взятку и тогда уж...

— Сколько-сколько покручусь?!

— Ну, максимум за неделю управишься.

— Ва-аня! — пропела она голосом героини из мультика. — Я ваша навек!!!

— И ещё нам будет нужно девчонки три, а лучше четыре. Как ты, шустрых и умненьких. Найдёшь?

— Точно таких, как я, не бывает!

— Ну а не точно?

— А что-то наподобие на такие условия — как из пушки. Только они пришлют тебе по стольнику за поступление.

— Вы мне нужны, как воздух. Я сам за них кому хочешь и не по одному стольнику пришлю!

— Я правильно понимаю, что нужны кристально честные в деньгах и безотказные в работе?

— Правильно.

— Значит, пришлют! И будут знать, что устроены по огромному моему знакомству! Чтобы ценили, лахудры несчастные! У нас же с тобой большое знакомство, а?

СЛЕТАЙТЕСЬ, ПИОНЕРЫ!

С утра пораньше повозившись за верстаком с развалюхами, которые за то, что они не уходят из мастерской, зовут сторожами, и дождавшись Маруську, чтобы, едва переступив порог, она угодила на подхват и в обучение к приёмщице, я на пойманной машине умчался в контору.

В кабинетике с табличкой «Фабком» удачно застал Аннушку — улыбочивую, смугленькую товарища Приходько, председателя фабкома.

— Ань, горим! Плевательница закончилась, — посетовал я, имея в виду зиц-жалобную книгу, в которой взбешённые клиенты исписали уже и обложки. — Парадную поганят — можешь представить?!

Из сейфа председателя появилась новая, с печатями и подписями жалобная книга.

— И ещё одну! — попросил я, расплачиваясь, как за две.

Она с неохотой вынула вторую, произнося дежурное:

— Что-то нам нужно делать с жалобами. Надо, наконец, взяться за тех, кто их порождает!

— Анечка, я как раз с этим и пришёл. Ты же знаешь, кто работал в мастерской и кто из хлопцев куда убежал. Не хозяйски — золотое дно пустует, а бойцы болтаются чёрт знает где. Давай их вернём. И сразу забудем про жалобы.

— Приказом?.. — задумалась она. — Это к Вере и с ней — к Мефодичу...

— Анечка, ну не твой же метод! Ты же любишь, когда человек сам, когда с дорогой душой. Нахвали им меня, как ты умеешь. Скажи, что я свой в доску. Тем более что это чистая правда.

— Поняла. И у Мефодича сегодня на планёрке говорили — поддержать тебя всеми службами. Сделаю.

— И ещё, Ань, как мне найти Фёдора Ивановича?

Значительно дешевле, всего по пять рублей, у Симы Самойловны продавались другие зиц-книжки — квитанционные. Для полного сходства с Марецкой из «Сельской учительницы» Симе Самойловне не хватало лишь веточки сирени и ордена Ленина на лацкане.

— Да, деточка, конечно, — с неизменным пониманием кивала она, грустно глядя сквозь тонкие очки с поблекшей позолотой. Опрятная старушка, мирволящая ко всем и со всеми хранящая дружбу мудрая бабушка, она грузовиками доставляла из типографии левые книжки, которые отличались от правых только тем, что были отпечатаны сверх заказа.

«Конечно, деточка, конечно», — означало, что номера квитанций в левых будут совпадать с номерами квитанций в тех книжках, которые она выдаст по ведомости, с тем, чтобы даже самая ушлая из проверок с гарантией обречена была всегда оставаться с носом.

— Симочка Самойловна, — обратился я, точно зная, что она не откажет и что уж к ней-то непременно прислушаются, — помогите, пожалуйста! Ваше слово на вес золота, позовите ребят из моей мастерской обратно. Они не пожалеют. И кто из хлопцев не устроен — тоже ко мне. А? Хорошо?

— Конечно, деточка, конечно.

СИНДРОМ ФОН-ПЕТИ

И вот в пиковое время я бегал на выдаче, выручая приёмщиц, а так с утра и до ночи сидел за верстаком, беря на себя самое каверзное из потока, в котором, батрача не разгибая спины, безнадежно тонул цех с оставшимися в нём слабаками, не сбежавшими только потому, что их никто нигде не ждал.

Дни, которые просили на увольнение с прежних мест соблазненные Маришкой девчонки, казались вечностью, и медленно, боже, как медленно заполнялись верстаки в цеху!

Зато, не дав и глазом моргнуть, заканчивался мой первый месяц, приближая день отчёта, когда на фабрику несут конверты, и донимая меня неразрешимым вопросом — сколько?

Спросить у получателей представлялось чудовищным и бесполезным — не скажут. Коллеги-завы, к которым я сунулся за советом, в один голос отвечали, что готовы подсказать всё, но

только не это. «Доходы у каждого свои, — наводили они тень на плетень, — и каждый благодарит руководство, как подсказывает ему совесть и позволяют финансы».

Сообразуясь с поступлениями текущего дня и угадывая, какими они могут стать с приходом ожидаемых ударников, я полагал справедливым отдать рублей шестьсот в месяц. Двести ей и четыреста ему. Потом, в точности, как некогда говаривал Фон-Петя, мысль моя предположила: «А пятьсот будет не мало?» Но пятьсот плохо раскладывались на доли. Легко делились триста, но эта сумма представилась совсем уж несерьёзной. А четыреста уже не разнимались в пропорции один к двум, которую я посчитал почему-то справедливой. Сомнения мои ложились так и этак, пасьянс не сходился, и сумма в триста рублей отвергалась в процессе размышлений всё менее решительно. Она становилась привычнее, разумней, пока не показалась вполне приемлемой и наиболее подходящей. А что? Сто и двести. Нормально.

Я знал, что делают все, но сам делал впервые и позорно праздновал труса.

К великому моему облегчению, Иван Мефодиевич неторопливо прибрал конверт в ящик стола, произнеся простое, достойное и уважительное к моим трудам и подельчивости «спасибо». Как у актрисы, которая повторяет за режиссёром, неотличимой копией прозвучало «спасибо» Веры Павловны. Не подлежало сомнению, что, занося в своё время ему, она и переняла — талантливо и точно.

А на собрании, обязательном в отчётный день, и он, и она подробно хвалили мою работу и ставили меня в пример. Меня совсем ещё не за что было хвалить, и от неловкости я готов был спрятаться под стул, хотя тот же я и в те же минуты таял от удовольствия.

А похвалить, оказывается, всё же было за что. Изведя себя сомнениями, сколько из пришедшего ко мне в руки должно бы считать их долей, я оценил их участие более весомо, чем кто бы то ни было из коллег. Похоже, синдромом Фон-Пети страдал не я один. И я — в меньшей степени.

НЕ БУДИ ЛИХО

Фёдор Иванович, по подсказке Аннушки, нашёлся в театральных мастерских. Колоня, рассказал он, завербовался бытовиком на дальнейшее строительство и там, говорили, погиб. Фон-Петя

определился ставочником в тихую ведомственную мастерскую при швейной фабрике. Швей, очарованные его обходительностью, боготворили Фон-Петю, и он при скромных чаевых, но без соперников, обгонявших в заработке, был на вершине блаженства.

Фёдор Иванович пришёл с Янчиком. Пальто из обувной юфти ничуть не обносилось на Янчике за эти годы. Оно, подобно голенищам, собралось гармошкой на рукавах и лоснилось, словно надраенное бархоткой. Янчик подпрыгнул обняться; я, как был в фартуке и с молотком в руках, поймал его — неожиданно увесистого, плотного. Потом на виду у цеха мы стояли, одинаково справляясь с комом в горле и одинаково разглядывая друг друга. У него помолодели глаза — доверчивые и чем-то испуганные. И сделалась пегой кудлатая шевелюра.

В кабинете было слышно, как от дыхания поскрипывает на Янчике пальто. Ритка развела его с женой, и не успели они сойтись, вдруг ни с того ни с сего пустилась во все тяжкие.

Воровато озираясь маслянистыми, навывкате глазами, Янчик говорил, что лучше не придумаешь, как учредить бы срочный и им бы с Федей...

— Как у дураков мысли сходятся! — откликнулся я, обращаясь к Фёдору Ивановичу — Первое, что в голову пришло, как сюда вошёл: отгородить кусок приёмной и — человек пять к ремонту с ноги!

— Ну! — выплеснулась из Янчика вдохновенная солидарность.

— Не «ну!», Яня, не «ну!», — сказал я умудрённо. — Вчерашний день. Вечная бесквитанционка на самом виду и сорок завистников в цеху.

Я обошёл молчанием, что первой мыслью, дыбом вставшей во мне против срочного, была мысль, что меня станут душить, как я сам с Колоней и прочими дурил Сергея... Нет, братцы, при всей дружбе и сердечности я не буду стоять перед вами с протянутой рукой!

— При левых книжках, — продолжал я, — всю халабуду сделаем одним большим срочным. Сколько захотим — столько и пустим под откос. Задумка вот какая. Спрос на крупное — головки, перетяжка. Объявимся, что делаем, — завалят. Если создать такой себе участок крупного ремонта — озолотимся. Ты, Фёдор Иванович; Витька, товарищ школьный, на авиазаводе последний хрен без соли доедает; Темнилу, армейского друга-портянку (он за Эдькой махнул в извозчики), врачи с работы гонят — давление.

— Так это их — учить? — Фёдор Иванович не менялся: хлебом не корми — дай ему ученика.

— Ну да. Кому мне их, если не вам бы под крыло? Сорвал пацанов с мест — так надо же асов из них сделать, не латочников!

Криком кричащая нужда в рабочих руках и ясное понимание, что без полусотни жадных до заработка умельцев мне не справиться, не поднять мастерскую, навели на мысль попробовать поманить ещё и доброй старой делёжкой процентов — пятьдесят на пятьдесят. Это было бы и выгодно — получать половину со взвода молотобойцев вместо шестидесяти процентов с отделения калек, и красиво — став балабусом, не изменить справедливости, за которую на рожон лез батраком. Как отчаянно хотелось тогда отстоять своё! Как верилось, что наше дело правое! И кто же это так рассудителен теперь, кто спрашивает: «Тебе ли заваривать эту кашу?» Бойцы приходят и придут, не оспаривая устоявшихся шестидесяти. Неделей раньше или недель позже... Стоит ли из-за лишней недели или даже месяца ожидания ополчать против себя коллег-завов и нарываться на гнев руководства? И как при неизбежном наезде оттуда давать потом задний ход и отнимать обещанное? И зачем, спрашивается, по собственному почину соглашаясь на половину, вводить братьев-сапожников в искушение, классически озвученное Фон-Петей: «А сорока ему не хватит? А двадцати? Тем более, что, положи руку на сердце, и десять им, захребетникам, отдавать не за что!»

Так думают они и думал я на их месте, ничуть не беря тогда в расчёт, что живут леваками и обсчётами все, а сидеть за всех в тюрьме — заву...

«Не буди лихо, пока оно тихо!», — сказал я себе, с иронией по собственному адресу подумав, как юморит жизнь, сажая того же кренделя то по одну сторону котелка, то по другую и вручая разной вместимости ложки...

ПРОСТИ!

С уходом в небытие занятий, сводивших нас, и с кутерьмою по сколачиванию шайки трудяг, я потерял себя во времени и потерялся для Еленки.

Она нашла меня в мастерской. Мы сидели по две стороны кабинетного стола: я, сбросивший фартук и с немывтыми руками, и она с пальцами на бежевой сумочке, которые, словно ветерком, пошевеливало дрожью.

— Извините, мне книжку! — впрхнула Маруся и, сменив корешок исписанной на непочатую, исчезла, бросив из-за Еленкиной спины секундный взгляд.

«Дело, конечно, не моё, — съязвили её глаза, — но — фу! — какая неразборчивость! Амурничать с коровой...»

При ясном знании её характерца и мотивов, я не смог отмахнуться от довода. За годы свиданий втроём я не заметил, как она переменялась. Насмешка Маруси кольнула в глаза очевидным: Еленка уже не «Русская Венера», от Венеры она проделала половину пути к мадам Грицацуевой. Боже, что же это, она стала тёткой...

— Как же ты можешь? — упрекнула Еленка, морща подбородок. — Я же люблю тебя! — закончила сквозь слёзы.

Нужды не было спрашивать, чем я провинился перед её любовью. Всё было понятно. Как и то, что говорим в последний раз.

Она плакала, а я разглядывал свои немые руки и не знал, что сказать.

КАРЕТНАЯ

Должно быть оттого, что мастерской не стало легче, меня не утешило, что цех заполнился людьми. Мы перемальвали горы ремонта. Изголодавшиеся по заработкам вынужденные скитальцы налегали на вёсла, не жалея себя, но приток заказов был таким, что нас всё равно сносило. И я продолжал сзывать людей, толком не зная, где размещу тех, с которыми уже ударено по рукам и которые не сегодня-завтра заявятся с вещами. Двоих ещё можно было устроить в кабинете, но ожидалось и требовалось больше, чем двое.

Миная девчат, которым в диковинку была такая работа, с просьбой подшить валенки пришла тётя Люба, дворник нашего дома. Валенки я взял, не обещая сделать скоро, и, как всякий, у которого болит, попенял на тесноту.

— Оно и правда, — посочувствовала тётя Люба, — напихано вас, как селёдок...

И прихвастнула:

— У меня мётлы с лопатами и те туто-ка, за стенкой, в таких хоромах, хоть краковяк танцуй!

Уважительно проводив словоохотливую соседку до арки во двор, я выведал, что хоромы, о которых так опрометчиво обмолвилась она, есть не что иное, как бывшая каретная, и что площадями она будет как бы не просторнее нашего цеха.

Минут через двадцать-двадцать пять я знакомился с начальником ЖЭКа, в лице которого встретил общительного товарища, удивительно похожего на Янчика, только с его шевелюрой — и это бросалось в глаза — укротителем работал маститый парикмахер, а во взгляде отсутствовало детское смятение.

Мы поняли друг друга с полуслова. Я с лёгким сердцем поделился вполне приемлемой суммой и получил разрешение с настоящего момента распоряжаться каретной по своему усмотрению. В свою очередь фабрика уже в рабочем порядке подошёл юриста к юристу ЖЭКа, и вместе они уладят формальности, связанные с переуступкой.

Вызванный тут же и откомандированный со мной начальник участка выманил условным стуком работяг, которые явились из подвала, как молодцы из ларца, и, заискивая перед ним показным усердием, стали таскать через распахнутые ворота каретной на чёрную лестницу и в свой подвал разнообразный скарб, исподволь накопленный дворовыми службами и казавшийся пустяковым, только пока его не стронули с места. Доски, старые двери и оконные рамы, обрезки стекла, ветошь, вёдра, пустые бочки, подгнившие мешки с песком, кули лежалого цемента...

Тётя Люба потерянно наблюдала за происходящим, а поворачиваясь ко мне, напряжённо щурила глаза, словно пытаюсь вспомнить, кто я.

— От дура! — вымолвила она наконец, ни к кому не адресуясь.
— Ну не дура, а? И кто меня за язык тянул...

— Тётъ Любочка, я вам валенки лично подошью! И обклею низ микропорочкой, чтобы не скользко и не мокро! — постарался я утешить её и увидел Женьку, которого, накинув на плечи протёртую до проплешин детскую шубейку из зайца, провожала во двор Мариша, уже занявшая благодаря расторопности и умению игривой юной мордахой вить верёвочки из мастеров место моей помощницы.

За ними, чему-то смеющимися, с насупленным видом и кичливо вздёрнутой головой шагал невысокий худенький молодой специалист — недавно распределённый на фабрику выпускник юридического.

Женька протянул мне руку, а Маруся размыто-голубыми, коварно невинными глазюками с сожалением прошлась по его монументальной, сочной фигуре, по шапке из дышащей пухнины

бобра, по щекам, словно ценным мехом, укрытым холёной бородой, и, извинившись мимикой, убежала к нетерпеливой очереди.

Юрист, которого по моему звонку Вера Павловна, как на пожар, погнала к домоуправу, подав руку, буркнул:

— Виктор!

И с раздражением, которое нёс в себе из жилконторы, объявил:

— Я юрист в третьем поколении! Они меня учат! Законопатились в ЖЭКах и думают, что самые грамотные! Так нельзя делать, я не Тяпкин-Ляпкин! Это серьёзный процесс, надо пройти массу инстанций!

— Витёк, — сказал я дружески, — не могу ждать три поколения, выручай! А?

— Постарайся! — подал ему руку Женька, улыбаясь и делая гипнотическую инъекцию взглядом.

— Ну, не знаю... — похоже, что неожиданно и для себя самого ступешался Виктор. — Директор подпишет эту филькину грамоту — пусть подписывает...

Начальник участка, принимая Женьку за моё руководство, пригласил нас войти.

— Тут бандура... За царя Панька кто-то заволок... А нам некуда. И не утащим — в ней веса, как в бегемоте... — и подвёл нас к чему-то пузатому, задвинутому в угол и укрытому мешковиной, изъеденной тлением. Брезгливо приподняв край рядна, которое уронило с себя волокна, ставшие прахом, он открыл бок музыкального инструмента с матово-чёрными и жёлтыми, как прокуренные зубы, клавишами и затейливой резьбой на полированной поверхности.

Стало любопытно, что скажет Жека, сдвинутый на антиквариате.

— Ладно, пусть, — снисходительно, хотя и недовольно разрешил Женька. И, уходя от темы, потребовал категорически: — Но полы вымести на совесть!

— А как же! — с готовностью откликнулась тётя Люба, которая указание из его уст приняла за некий знак отличия, считая, видимо, Женьку невероятной высоты начальством. — За собой и не прибраться — оно ж не по-людски! — пропела она и теперь и на меня глянула с радушием. Для неё было заметным утешением, что кладовую отнимаю не я, встретивший её в сапожном фартуке замухрышка, а всевластный некто, в сравнении с которым и сам начальник ЖЭКа ничтожная мелюзга.

К этому времени подоспели фабричные строители. Старший, зная меня и посланный Верой Павловной ко мне, осведомился всё же у Женьки:

— Что тут планируем?

Жека строгим взглядом адресовал его ко мне и отошёл, деловито осматривая каретную.

— Начнём, Агеич, с того, — сказал я, — что здесь или прорежем двери или совсем снесём перегородку, чтобы соединиться с нами.

Агеич постучал костяшкой пальца.

— Доски. Прорежем. А надо — и снесём.

— Доски-то оно доски, но странно, что я цеха не слышу, а там — дым коромыслом!

Агеич приложил к стене ухо и, словно в помощь рецепторам, настроенным на звук, скопил в сторону цеха глаза. Немного погодя он отрицательно мотнул головой, предположив:

— А может, там не цех? Или не мы?

— Да вроде мы... Нет, точно мы!

Из деревянного короба с ручкой, заполненного снаряжением плотника, возник коловорот, который легко ввинтился в стену, пробуравив дыру. Затем кривою, как серп, ножовкой с заострённым хвостиком Агеич забрался в дыру и начал резать перегородку сверху вниз. Внутри, за доской, что-то противилось ножовке, как резина. Перепилив доску, подшитую горизонтально, он провертел отверстие теперь уже в правой стороне предполагаемой двери и запилелся оттуда. Доску, подрезанную с двух сторон, поддели было гвоздодёром, как вдруг она выпрыгнула из стены сама, и за нею широкой и ровной струёй хлынуло нечто сухое, чешуйчатое, лёгкое, мерцающее, тёмно-коричневое с глубоко упрятым медным отливом, очень похожее по цвету на Женькин шапек. Оно несло, напирало, заполняя каретную и злобно шипя.

Все испуганно прынули назад, таращась на извержение, ударившее из стены, как на неведомое стихийное бедствие. Мне, грешному, показалось, что здание, безрассудно попорченное мной, теперь истечёт и обрушится.

Но вот напор пошёл, пошёл на убыль и иссяк. Куча объёмом в парочку взрослых слонов, полого ниспадая, захватила треть каретной.

— Тю! — первой опомнилась тётя Люба, прокричав так, будто увидела свалившуюся, как снег на голову, родню. — Та то ж лужга той, как её, гречки!

— Точно! — ожил и Агеич. — Когда-то считалось, что ей

утеплиться — самое то! Если денег хватало. В ней же ни мошка, ни мыша с крысой... И воздух от неё таво... целебный.

Утопая в текучей, с выпуклыми иссуха-сухими чешуйками шелухе, он пошёл к пропиленному окошку. Я, осмелев, последовал за ним.

Опорожнившийся в верхней своей части метровой ширины простенок глядел изнутри свежайше-жёлтой древесиной и радостно, как барабан, громыхал звуками цеха.

— Во строили! — восхитился Агеич. — Во народ был, а? — и покосился робко на Женьку.

— Так, за старые времена потом поговорим! — оборвал его тот. — Режьте дальше!

— Да мы ж утонем! — испугался я.

— Не утонешь! Дуй ловить самосвал! А вы, — уважительно, но строго обратился он к тётке Любе, — организуйте, будьте так добры, пару-тройку лопат... ну этих... которыми снег...

Как на нечто небывалое, нечто такое, с чем не могло совладать её сознание, мигая, как механическая кукла, глядела тётка Люба на то, как Женька в свитере, без ратинового, кремлёвского покроя пальто, без бобровой, высоким пирожком шапки, но в двойных рабочих рукавицах, вытребованных у начальника участка ради сохранности рук и ногтей, лопатой-комсомолкой мечет в кузов грузовика ядрёную отборную лузгу. Она порывалась занять его место, что облегчило бы ей душу, поставив всё в этом мире обратно с головы на ноги, но так и не набралась храбрости, не зная, как обратиться, как назвать Жеку.

До поздней ночи гудели, задним ходом попадая в арку, самосвалы. Работяги, свои и чужие, давно были отпущены по домам, и мы с Женькой загружали последние машины. Мариша вертелась у зияющей прорези, настезь открывшей мастерскую заднему двору, приносила напиток, платочком промокала испарину на Жекиных скулах.

Наконец, когда ворота бывшей каретной были заперты нами изнутри, Женька поманил нас с Марусей в угол и с глазами трёхлетнего малыша, вынимающего из обёртки таинственный подарок, сбросил наземь истлевшую мешковину и от волнения или от того, что в работе дыханием и пылью пересушило горло, произнёс чужим голосом:

— Клавесин!..

— Знаешь, чем это покрыто? — тронул он белую клавишу,

взявшую у времени табачный оттенок. — Это слоновая кость. А это, — перенёс палец на клавишу по соседству, — чёрное африканское дерево... Они варвары, — сказал Марусе, подразумевая меня и всех прочих, вертевшихся здесь, — ты их не слушай! Этой штуковине нет цены... Тебя не учили на фоно? Меня тоже. Но мы настроим. И найдём, кому сыграть!

Инструмент был целёхонек. Все струны звучали, производя загадочно дребезжащее, потувременное вибрирование.

— Сколько ты отдал за апартаменты? Я возьму.

— Больше ничего не придумал? Забирай, старьёвщик!

БОЛЬНИЦА

Дома, куда я попал во втором часу ночи, меня ждала записка: «Картошка и кролик в одеяле, поешь. Нас с температурой сорок забирают в больницу».

Сразу по рождении малыша знакомые Синки раздобыли бумагу, будто я железнодорожник, — чтобы наблюдать за ребёнком у ведомственных медиков, обеспеченных побогаче. Но потому ли, что липовых путейцев набралось сверх меры или в лечебницах общего доступа заболевшим доставалось ещё солонее, однако пять кроваток с детьми, принятыми с подозрением на грипп, стояли впритык друг к другу в тесной комнатёнке, а мамы, которым по чьему-то человеколюбивому распоряжению находиться при малышне запрещалось, но и без которых грудничкам было не обойтись, спали, если удавалось поспать, под кроватками своих чадушек на полу.

Я приезжал вечером, зная, что Синку с мальчишкой на руках найду в коридоре, где было посвежее.

— Он там не спит, — говорила она. — Положишь — сразу плакать. И тут не спит, если не ходить.

Неумелыми руками я принимал спелёнатое существо — бледнящее, с нехорошей синевой вокруг глаз и по бокам крохотного носа, с обиженными, капризными, воспалённо-рассохшимися губами — и вместе, как часовые, мы ходили по коридору мимо ярких картинок с забавным изображением всевозможной живности.

Горделивым шёпотом она сообщала, что он уже знает тут все картинки, бывает им рад и повторяет, как из животных кто делает. Ещё говорили, что прежнее лекарство не помогло и что теперь доктор советует достать такой-то антибиотик — из новых и самых

забористых.

Потом она заглядывала мне в лицо, говорила:

— Как ты устал!..

— А ты?

— Я — нет, мне с ним не тяжело. Я без него бы извелась, а с ним мне даже легче. И обезвоживание — он как пушинка...

Сама она тоже истрачивалась, уменьшалась. Лицо обретало цвет восковой церковной свечки, которые я ставил по её просьбе, неловко и старательно выполняя наставления знающих старушек.

Женька через третьи руки доставал хвалённый антибиотик, а ребёнку было хуже и хуже.

У заведующей отделением я, осторожничая в словах, чтобы не задеть её и не навредить своим, спрашивал, не забрать ли их домой. В тесной палате болячки гуляют от ребёнка к ребёнку, несчастные мамы бродят, как тени, а дома они бы выпались... Что же касается уколов, я попрошу медсестричек... Мы всё, что нужно, сделаем дома так же, как делается здесь...

Она сочувствовала, с едва уловимой снисходительностью соглашалась и говорила утомлённо и грустно:

— Дома у вас нет реанимации... Забирайте, ваше право. Но тогда — и ваша ответственность...

Седьмого марта, к женскому дню, я подарил заведующей французские духи, а восьмого поздравлял жену в отдельном, очень просторном помещении, где одинокая кровать сына была задвинута в уголок, подальше от возможных сквозняков. Мальчишка, увидев папу, беззвучно смеялся и пританцовывал, держась за деревянное перильце.

Лицо жены, тёмное, из некогда фарфорового ставшее иконописно смуглым и утончённо худеньким, тоже смеялось и тоже немо. И вместе мы умилённо смотрели на живой маленький приплясывающий скелетик.

— По времени ещё рано, но он так похудел, что, видишь, встал на ножки!..

Я СВОЙ!

В разгар рабочего дня Маруська проводила в кабинет очередного визитёра. Досадуя, что мешают, я снял фартук и вымыл руки.

По кабинету, бесцеремонно высматривая, что где лежит, разгуливал молодой человек, которого, как я узнаю впоследствии,

за рост умеренно выше среднего, правильную спортивную осанку и образцовую славянскую внешность прочили в кремлёвскую роту. У него были собольи брови, живые карие исполненные любознательности глаза, целомудренный комсомольский румянец и строго уставная, точь-в-точь, как перед фото на ксиву, ментовская стрижка.

Я указал ему на стул и сел сам, стараясь выглядеть поприветливее и делая вид, что не понял, кто он.

— Слышишь, — начал он с той развязностью, которой пытаются вызвать на откровенный разговор, — как ты мне посоветуешь — стоит у вас заведующим работать?

— Я работаю, — сказал я.

— И как?

— Нормально.

— Я к тому — смысл есть или нету?

— Смысл есть. Как на любой работе.

— Ты не того... — видя, что дело не идёт на лад, с некоторой горячностью уверил он. — Я свой!

«Такие свои, — подумал я присловьем Жеки, — у меня в восемнадцатом году портянки съели!»

— Вот! — выставил он в сторону от стола, с притопом оперев на каблук, ногу в новом туфле. — Моя работа!

Старательные ровные строчки, нарочитая точность пропорций и общая кустарная тяжеловатость, по которой узнавалась каждая пара Фёдора Ивановича, говорили, что это точно собрано вручную. Что, впрочем, совсем не значило, что собрано им.

— Меня сюда из конторы... (Какой?!) Мол, ты лучший на фабрике заведующий... И подскажешь, что и как...

Из собрания в собрание меня нахваливали старшие, ставя фабрике в пример. Почему-то эти похвалы, уже во многом заслуженные, не давали душе той праздничности, которая нахлынула когда-то с похвалою первой, полученной ни за что. Так же бывают пресны заработанные деньги. В отличие от тех, что вдруг падают с неба. Знаки начальственного расположения, имевшие целью подстегнуть коллег-завов, заряжали их неприязнью ко мне. И кто-то, давая органам наводку, очень и очень мог обозвать меня «лучшим».

— Что именно ты хотел бы узнать? — спросил я.

— Ну, главное — стоит или не стоит?

— Если умеешь и хочешь — стоит.

— А сколько можно заработать? Вот у тебя сколько выходит?

— Ну ты же мастер, знаешь: у каждого свой успех.

— А сколько надо давать?

— Давать? Кому?

— Начальству.

— Начальству? Давать? Впервые слышу.

Он смотрел растерянно и удручённо. Разболтанной нахрапинки, с которой он пришёл, почти не оставалось.

— Так мне устраиваться? — спросил он, заранее не веря в ответ.

— Устраивайся, — сказал я равнодушно и подумал, что если — чем чёрт ни шутит? — он не засланный, то я поступаю так же ехидно, как все, кого спрашивал я. И продолжил:

— Устраивайся! Начнёшь работать — тогда всем поделюсь по-братски.

Проводив его до выхода из мастерской, я вернулся, чтобы набрать Веру Павловну:

— Был какой-то с протокольной внешностью...

— Ой, извини! Забегалась, забыла позвонить. Это я направила к тебе как к наставнику.

— Тогда другое дело. А то такие вопросы — кому, сколько?.. — сказал я, чтобы не вполне явно, но всё же попенять ей за забывчивость, а вышло, что дал ему лучшую рекомендацию.

— А где Толяныч? — заглянув, спросила Маруся разочарованно.

— Какой Толяныч?

— Он представился официально: Анатолий Иванович! Заметный, видный мужчинка... — сказала она с лёгкой мечтательностью, и мне почудилось — хотела облизнуться, как Колюня.

ВИКТОРИЯ РУВИМОВНА

А мальчик почти не ел. И водичка уходила из него, словно пробежав по трубочке; словно в нём не оставалось ничего, способного впитывать, запастись ею для жизни. Темечко покрыли волдырики. Они лопались, становясь гнойничками, и не заживали, а рассаживали вокруг себя волдырики новые.

Врачи прятали глаза и изъяснялись туманно. Они не знали, что у него, и наугад по-вятски силились утопить недуг в лошадиных дозах антибиотиков.

Женька, стремясь убедить, вспоминал истории, одна другой чудеснее, о Виктории Рувимовне, которая лечила его в детстве, и уговаривал съездить к ней, убеждая, что она не откажет, что теперь, на пенсии, она не так занята, как прежде.

Я не решался. Доктора и без того спят и видят, что сбыли нас с рук. И тут повод — недоверие. А их отказа, с ужасом ожидаемого со дня на день, я боялся, как приговора. И что для них какая-то пенсионерка? Полезут в амбиции, обидят человека...

— Рувимовну?! — и бесовская ухмылочка, заочно глумясь над незадачливыми мелкими сошками от медицины, как на любимом диване, разлеглась на Жекиной физии. — Ты будешь иметь удовольствие видеть, как они все танцуют на задних лапках!

Она вышла, осторожно ступая по слякотной дорожке в мягких тряпичных ботинках с расстёгнутыми из-за опухших ног змейками. А пальто её было девчоночьим — с кругленьким воротничком из дымчатой норки. Розовый берет крупной вязки перекликался цветом с тонами её косметики. Молодо улыбаясь, под ручку с силачом Женькой, она то и дело вскидывала на него исполненный юмора и кокетства сверкающий взгляд.

Поздоровавшись, она в одно касание глаз сдружилась со мной и, принимая помощь от нас двоих, чутко прислушиваясь к больным суставам, села в машину.

Дорогой, весёлыми искринками в глазах призывая меня в союзники, трунила над Женькой:

— Жень, дружок, как ты? Как твои жёны?

— Рискую показаться нескромным, — подыгрывал Жека, — но они все живут полной жизнью и все исключительно счастливы!

Со второго этажа, как на крылышках, слетела заведующая отделением.

— Халатик? — спрашивала она, делая счастливые глаза. — Последние анализы?

— Ируш, спасибо, дружок, ничего не нужно.

— А присутствовать разрешите?

— Конечно, моя умница! Проводи нас!

Она подошла к маленькому — он расплылся в улыбке и потянулся навстречу, вытягивая стебелёк шеи.

— Ты моя кроха! — сказала она малышу и, обратив к его маме лицо, исполненное света, взятого у глаз ребёнка, с паузами, словно диктуя, произнесла:

— Это стафилококк. Скорее всего, из роддома, а значит,

антибиотиков напробовався всяких, не испугаешь. Все препараты отменить. Домой. Кроватку к солнышку. Спать. И с первым теплом — к морю. Чего бы ни стоило — к морю.

Дома со второй половины дня и до утра они проспали как убитые. А на второй день из него перестала уходить водичка.

В июне у моей сестры в Ялте он впервые сам попросил: «Мама, чаю!»

И после из года в год оживал у моря. В гостинице «Ялта» к завтраку в ресторане бывали дрожжевые оладьи. Он уплетал их за обе щёки, и щёчки эти в несколько дней становились кругленькими, румяными, загорелыми.

А лет через пятнадцать его, ведущего маму под руку, встретила в городе заведующая отделением и, глядя на него снизу вверх, не веря глазам, почти с испугом спросила: «Это тот наш мальчик?..»

СТАРЭ И МАЛЭ

Его, Толяныча, дед по отцу, герой и инвалид Первой мировой, всю жизнь — а прожил немало — с отвагой полного георгиевского кавалера доказывал, что не нуждается в Советской власти. Его сажали, отбирая «принадлежавшие лично ему» табурет и полусубок, а он возвращался и, не каюсь, а совершенствуя конспирацию, продолжал сапожничать сам на себя.

Дед перестроил родительский дом и на том же участке поставил второй — старшему сыну. Дед был подвижен, крут, блистательно талантлив во всех работах, придирчив и нетерпелив. Толяныча шпанёнком он приохотил к сапожничеству, соблазнив тем, что тот, ни у кого не клянча, всегда будет при деньгах.

Ухваткой и характерами «старэ» и «малэ» были как на одну колодку шиты, и приобщение младшего к ремеслу, сблизив, сроднив успехом, Богом положенным обоим, часто сталкивало их так, что искры летели.

— Нэ так ножа дэръжыш! — одёргивал дед.

— Откисни! — огрызался внук, сам уже зная, как ему сподручнее держать нож.

— Нэ так, кажу, дэръжыш! — бросался дед выхватывать нож у строптивца и однажды нечаянно полоснул внука по дельтовидной мышце плеча.

Взятое у деда, погуливая в крови и всегда оставаясь в руках и под рукой, оказалось сильнее жизненных предпочтений родителей, которые убедили сына поступить в институт радиоэлектроники,

где преподавали сами. Ради работы модельером на обувном объединении он бросил институт, переведясь заочником в легпром.

Наставник Яков Борисович, подобно астрологу с головою уходя в чертежи и формулы, месяцами корпел над моделью, которая впоследствии, пойдя в работу, ещё годок, другой, а то и третий под раздражённые сигналы из разных цехов и участков со скрипом избавлялась от изъянов.

Юный Толянч приёмом деда обклеивал колодку калькой, рисовал на ней будущий туфелёк, снимал кальку и разрезал рисунок на детали. Через полчаса экспериментальный уже работал по выкройкам над заготовкой, которая обнимет колодочку — место своего рождения, — как маму.

Яков Борисович первым похвалив и восхитившись, тут же дал подопечному рекомендацию в партию, которую в комитете оторвали с руками, поскольку рекомендуемый был рабочим, а в них партийная статистика нуждалась, как в хлебе насущном. Тоха влетел в партийные ряды с лёгкостью и быстротой патрона, пущенного по пневмопочте. А далее с корочками кандидата и внешностью плакатного комсомольца ему ничего не оставалось, как возглавить комсомольскую организацию объединения. Так Яков Борисович дал дорогу новому поколению, сохранив себя и свой наукообразный метод.

Толянч благополучно съездил с комсомолками в колхоз, провёл пару-тройку мероприятий, отбыл для написания диплома в отпуск, который был бурно проведён в Киеве, и вернулся дипломированным специалистом.

Все, причастные к случившемуся впоследствии, — Яков Борисович, комсомольский комитет, директор объединения и оба райкома, — думали исключительно о хорошем. При всеобщем одобрении молодого спеца назначили начальником ОТК объединения, то есть запустили на орбиту, с которой открываются пути к высотам мыслимым и немислимым. Они не знали одной, нигде не зафиксированной мелочи из его биографии. Они не знали, что дедушка, открыв калитку, на полуслове обрывал охотников разводить церемонии.

— Так! — говорил он. — Або туды, або сюды!

У внука тоже не было середины. «Або туды, або сюды» прикладывалось им ко всему, а следовательно, итогом назначения, произведённого в столь редком согласии, могло стать только одно из двух: или он, Толянч, выдрессирует объединение, или будет

растерзан этим зверем. Третьего не дано.

Засучив рукава, он своими руками освоил поочерёдно все операции, выведав, кто на чём лукавит, и на летучках у генерального отпуская колкие реплики, оскорбляя эрудицией присутствующих начальников подразделений. Взявшись доказать делом, он собственноручно раскроил несколько кож, не превысив предписанных норм расхода, сам на соответствующем участке сшил из этого кроя заготовки, сам на затажных машинах посадил их на колодки, сам приклеил подошвы, сам отделал и на очередной летучке показал, какая продукция может и должна сходить с конвейера.

На радостях генеральный выписал ему премию в три оклада, а изготовленную им продукцию оставил у себя в качестве эталонных образцов.

Он намеревался держать в тонусе цеха, сравнивая время от времени изделия с потока с образцами. Толяныч, однако, понял поддержку руководства по-своему и стал безжалостно отбраковывать всё, где замечал порок. Вой, стон, плач и скрежет зубовой взвились над объединением. Генеральный снова решительно стал на его сторону, впрочем, ближе к концу месяца вышло негласное распоряжение подмарфетить брак и, минуя начальника ОТК, сдать в план.

Тоха, уже сроднившийся было с ролью праведно карающей десницы божьей, испытал такое унижение, будто с него спустили штаны и всыпали при всех на орехи.

Он проклинал свою особенность вспыхивать румянцем по малейшему поводу и, пунцовый, пробегал от проходной до своего кабинета, чтобы спрятаться от воображаемых насмешек, которые обжигали затылок и уши.

С крепнущим чувством, что его карьера в объединении подошла к бесславному концу, он, прихватив необходимую мелочёвку типа супинаторов, ниток или гвоздей, и отметившись в табеле, сбегал (к дружному, надо сказать, облегчению и торжеству всего коллектива) со службы. И прятался в щель за фальшстеной, обустроенную дедом между двумя сараями по всем правилам звуко- и светоизоляции. Там, врачую душу, до глубокой ночи возился с заказами, которые не оставлял, ни учась в ХИРЭ, ни работая в объединении.

Последним плевком в переполненную чашу стал входивший в его обязанности визит в инспекцию, которая принимала партии

обуви перед рассылкой по базам страны. Уже известный ему ответственный товарищ — длинный, худой, костистый, в мятом пиджаке, посыпанном перхотью, — сидел по ту сторону неопрятного стола, выставив босые ноги в залоснившихся пятнами сандалиях под нос просителя, имевшего место по сторону эту. Глубокий отпечаток ноги на стельке его босоножек был постоянно влажен, и казалось, что даже глаза режет от тошнотворной вони, текущей от этого следа.

Здесь происходил примерно тот же разговор — в похожих выражениях и с теми же доводами, — только носом в брак фабрики тыкали его, Тоху.

Заранее известна была и развязка: ответственное лицо имело указание штрафовать производителей, но в строго определённых пределах, никак, понятно, не зависящих от истинного качества продукции. То есть так же, как там впустую возмущался Тоха, но его слушали, так и здесь в обязанности лица входило чтение нотаций, а в Тохины — их принятие к сведению.

Но вонь и осознание, что заставить себя работать он больше уже не сможет, и дедов норов, не позволяющий унижаться даже понарошку, даже в угоду делу...

Тоха посоветовал лицу чаще мыть ноги и удалился.

Произошло неслыханное: инспекция зарубила всю партию. Но к Толянычу это уже не имело касательства. Он подал заявление и тупо отвечал «нет» на уговоры в парткоме и у генерального.

Я замечал на примере многих и на своём собственном, что людям, которые владеют прибыльным ремеслом, гораздо труднее, чем кому-то другому, удержаться на путях карьеры. Беспечные от знания, что кусок хлеба никуда от них не денется, они излишне чувствительны к моральным обременениям службы и с лёгкостью уходят в никуда. Они теряют? Наверное. Но как же их тянет, как уютно, какое приволье душе в той скорлупке, которой, скажем, для Тохы была оборудованная дедом щель!..

Но вот, подобно поверженному былинному герою, который набирается сил от родной земли, подкрепив душу любимым рукоделием, полностью уже пришедший в себя, он заглянул в знакомую ремонтную будку прикупить клейку и потрепаться.

— Та ты иди к нам на фабрику в завы! — посоветовали Тохе.

— А что они делают?

— Берут лопату и загребают деньги!

Не сказать, что на прежнем производстве ему не выпадало.

Коробок гвоздей, подошва, кожонка кожи... Но уносить с работы готовые деньги...

СДЕЛАЙ ТО, НЕ ЗНАЮ ЧТО

Искусница по части расположить и выпытать, Верочка Павловна искренним живым участием играючи выудила из Тохи всю без утайки его историю хождения в начальники. В свою очередь сама она, слушая, испытывала истинное упоение от неожиданной находки.

Контора помещалась на первом этаже производственного здания, второй и третий этаж которого занимал цех крупного ремонта. По вполне, казалось бы, логичной задумке мастерские, сетью брошенные на город, должны были принимать сложный ремонт и отправлять его на фабрику, где при соответствующем оборудовании высшей квалификации мастера выполняли бы его наилучшим образом.

По задумке...

А на деле с мест, кровно заинтересованных принимать для фабрики, поскольку эти суммы засчитывались им в план, что позволяло столько же дополнительно положить себе в карман, — на деле для фабрики принималось такое, какого для себя они не взяли бы никогда, ни за что и ни под каким соусом.

В центр, как на помойку, стекались самые гнусные, невозможно пакостные заказы и не доходили левые деньги, благополучно прикарманенные первой рукой. Соответственно, и работали там только горькие выпивохи, растратчики и безнадежные портачи. Это было что-то наподобие ссылки: в цех упекали, как на каторгу.

А ещё это была чёрная дыра, в которой треть отосланного из мастерских исчезала бесследно. Вечный источник скандалов, жалоб и судебных исков.

Вера Павловна, умница, непоседа, которой хватало четырёх-пяти часов сна, окрылённая успехом в ателье, где начинала, отважно приняла когда-то этот цех и потерпела постыдное поражение. Сейчас же ей думалось, что если не этот — знайка и умелец и ещё буян, способный не в шутку закусить удила, — что если не вытянет и он, то цех лучше, найдя предлог, прикрыть по-тихому. С этой мыслью она спровадила Толянчыча ко мне, чтобы не вгорячах обсудить возникший замысел с Иваном Мефодиевичем. А потом вернувшегося от меня претендента повела на место его возможного подвига. И намеренно не жалела чёрных красок,

женским чутьём угадывая, что так лишь раззадоривает честолюбивого строптивца.

— Будь полным хозяином, мы поддержим тебя во всём. Только поставь цех на ноги. Сделаешь, — выложила она сильнейший из аргументов, — в течение года дадим квартиру.

И была поставлена в тупик ответом:

— А мне не нужна квартира.

— То есть?

— У нас дом.

У них в доме не было ни газа, ни воды. Но Толик вслед за дедом неколебимо верил, что их дом, возведённый своими руками, — лучшее из всех возможных пристанищ на свете.

До времени, когда ждали ответа, была ещё полная половина дня, долгий вечер и ночь. Он знал, что согласится. До чёртиков хотелось управиться с тем, что оказалось не по зубам никому другому. Но он не представлял, за что ухватиться, куда прикладывать силы. Обувь, которую он там видел, по сути обувью уже не была. Всё, сваленное в цеху, годилось только на выброс. Ему предстояло ответить на вопрос, как лучше сделать то, что сделать невозможно и делать не нужно...

Чтобы как-то сладить с сумятицей в душе, он сел за обновление когда-то очень дорогих сапог продавщицы из овощного. Он обещал заменить на них союзку и поставить новомодную подошву, которую умыкнул из образцов, свезённых на объединение. Работа, идущая своим порядком, умерила прыть, с которой один его довод набрасывался на другой, но как быть с тем, что принимаемое где-то сотнями разных людей в ремонт, никакому ремонту не подлежит, в толк так и не бралось.

Он засиделся, чтобы закончить. Сапоги продавщицы вышли на загляденье, и, немного ободрённый этим, он лёг спать.

А к рассвету пробудился с ясной головой, которая, пока он спал, нашла ответ, одним махом разрешающий всё и во всех мелочах и подробностях.

К Вере Павловне Тоха входил, сдерживая, но и не в силах одолеть улыбку.

Она немного настороженно, но тоже улыбнулась. Толик, ничего не говоря, достал из пластикового пакета готовые сапоги продавщицы и поставил их на стол. Сапоги на такой платформе из полиуретана торговля отпускала из-под полы, имея хороший

вершок.

Вера Павловна смотрела на него, не решаясь озвучить возникшую догадку, в которую, чтобы не сглазить, не спешила поверить.

— Я по порядку, — сказал он. — Смотрите, в Киеве завод «Вулкан» наладил выпуск этой подошвы, а завод «Полимер» — колодок к ней. А наше славное объединение то орало, что они не делают модных комплекующих, а теперь кобенится — думает! Им же чем новая модель, так легче повеситься! Давайте выручим заводы и, не думая, закупим у них подошву и колодки. И из любых старых сапог станем собирать такие новые. Нас завалят заказами под потолок! Я эти в овощной отнесу, а там ещё пять продавщиц на коленях стоят — сделай!

Несмело, очень опасаясь, что у него нет ответа и потому всё разрушится, Вера Павловна спросила:

— А делать — кто?

— Теперь — делать. У вас в резервном оборудовании, которое на случай войны, стоят две затяжные машины...

— Они под строжайшим запретом! Сапоги фронту...

— Это не те машины. В «снабе», как всегда, нахомутали. Эти машины как раз для таких сапог!

Вера Павловна, как и никто другой на фабрике по ремонту старого, ничего не понимала в машинах по производству нового, поэтому спросила:

— А как же?..

— Очень просто. Заявку на армейские (я марку найду, укажем), а эти — в работу. На объединении при мне именно так и обошлись. Это обычная история. А кто за них станет — надо сманить двоих затяжчиков. Даже одного! У меня есть на примете. Дать только такую зарплату, чтобы перебежал, не задумываясь. И трёх-четырёх заготовщиц на союзки. Заготовщиц, если что, могу и сам научить. Могу и затяжчика, но время... Вот всё. Остальное потянут те, кто есть.

— А другой ремонт?

— Другой в мастерских. Хотят взять — пусть делают сами. Они же набирают, лишь бы набрать. Им абы план! А вы там расхлёбывайте!

— А та работа, что уже здесь?

Толян, разделяваясь с её вопросами, как с подачами в пинг-понге, вошёл во вкус.

— Напишем: комиссия пришла к выводу — ремонту не подлежит, — выдал он небрежно. — Подписи, печать, и с этой бумагой — назад в мастерскую. Ну, деньги, понятно, вернуть. Те деньги по сравнению с этими деньгами, — показал он на сапоги овощницы, — вообще не деньги! Вопрос только один — чтобы снабженцы наладили поставку подошвы. Момент, пока там не знают, куда её девать, — самый подходящий. Дальше фабрики очухаются — не втолпишься!

Иван Мефодиевич рассудительно предложил взять паузу до ответа снабженцев и сказал:

— Ну, дрантё повозвращаем, ладно. А рабочих куда?

— Рабочих нам ещё и не хватит! — заверил Тоха. — Там старую подошву пока отдерёшь — замучаешься! Каторга как была, так каторгой и останется!

МОЖНО!

Немой кладовщик Саша, гигант, наливавший клей из тридцатилитрового бидона, как из баночки, вследствие гипертонии имел розовое лицо и считался на зависть здоровым человеком. Всё понимая по губам, он не гримасничал, объясняясь, как большинство его собратьев по несчастью, а словно выжёвывал из мякиша те немногие слова, без которых было не обойтись.

Мы дружили. Одиночником не реже раза в месяц я отоваривался у него материалами, прихватывая с собой бутылочку беленькой и зная, что у него в тормозке всегда найдётся напшигованное чесночком и сваренное салце.

От него, большого, радушного и не страдающего отсутствием аппетита, исходило заразительное хлебосольство, когда всё казалось вкусным и когда хотелось поскорей разделаться с делами и закусить.

После собрания, на котором меня впервые похвалили, Саша жахнул меня приветственно по плечу, сартикулировав «Ма-га-де!», что означало «Молодец!», и потащил к себе, куда из раскройного цеха позвал Вартана. Тот принёс крохотные, как мизинцы, голубчики из виноградных листьев и пригласил Ивана Мефодиевича, с ним одним, Вартаном, водившего на фабрике дружбу, и Веру Павловну.

На эти обеды, приятельские и простые, с этого дня я, заведующий, оставался всегда, попадая на фабрику по делам.

— Позвал бы ты Анатолия... — попросила Вера Павловна.

Но Тоха, из-за ранимого самолюбия колочий и стеснительный,

шарахнулся от приглашения, как чёрт от ладана:

— Скажи — не пью совсем! И работы выше крыши!

У стола Вера Павловна разрезала повдоль огурцы, солила, растирая соль соединёнными половинками. Вартанчик, над которым посмеивались, говоря «Шило в заднице!», не в силах усидеть на месте, кромсал хлеб. Его правая кисть, расплющенная, с раздробленными фалангами пальцев, походила на лапу рептилии. К ней, не гнущейся, нож прилипал, как к магниту, а то, что он ещё и режет, смотрелось необъяснимым фокусом.

— Голова-капуста! — с болью за приятеля отчётливо проговорил Саша слова, которыми поругивал свою и чужую глупость. Он не мог равнодушно вспоминать, как Вартан, подавая деталь в двоильную машину, угодил в неё рукой. Ребристые вальцы схватили кисть, расплющивая, потянули на острый, как бритва, нож, который с мясом и кусочками костей срезал кожу с пальцев и ладони.

В состоянии полубреда, чтобы отвести от фабрики беду, Вартан заплатил врачам «скорой» и хирургам, прося не оформлять травму производственной.

Все знали, что Иван Мефодиевич, которого раздражала затяжная церемония сервировки, скажет, и он сказал:

— Так, давайте выпьем, и оно само всё найдётся!

За трапезой его директорство стужёвывалось, словно пристыженное. Роль главы стола он чувствовал на себе, как скверно пошитый тесный пиджак, и на первый план, ради создания для него уютной полутени, выступала Вера Павловна.

Адресуясь к ней, я со смехом рассказывал, как ловко взводом пустых сапог, подвешенных к стене, пустил пыль в глаза всему столичному военному округу.

— Что значит показуха! — умничал я. — Чини я втихую сапоги хоть всему стройбату, мне бы никто и на руку не плюнул! А тут — командирам слава, мне — два года привольной житухи... Вывод: за усердную работу получают «спасибо», а за ловкую показуху — счастье!

— Па-а-итт! — похвалил Саша, присвоив мне звание «паразита».

Я поднял палец, показывая, что это только начало и что не стоит торопиться с определениями.

То, что всем здесь, как и мне, перекус, сочинённый на скорую руку на рабочем верстаке, милее любого званого обеда, нашёптывало, что сидящие за этим столом одного со мною поля

ягоды и, в отличие от кабинета, сказать здесь о деле было так же незатруднительно, как обсудить что-то с Толиком или Женькой.

— Я к тому, — продолжал я, плутовато улыбаясь, — не проверить ли и нам чего-то наподобие... У меня корешок по колонии работает в мастерских при институте. Они делают для выставок действующие модели турбин, шагающих экскаваторов... Всё как живое. Светится, работает — глаз не отведёшь. И они везде выискивают шабашку. Так вот он предлагает сделать для нас автоматическую систему выдачи заказов...

Худышка Вартан, в продолжение обеда по-мышинному подтачивающий передними зубами один небольшой кусочек, остановил на мне оживлённые интересом, мудрые грустные глаза.

— Представьте конвейер с люльками. На каждой люльке — трёхзначный номер; в них по трём последним цифрам наряда раскладывают готовое. Сидит приёмщица, взяла у клиента квитанцию, набрала на пульте три цифры — и конвейер подаёт ей под руку нужную люльку с готовым. Толку, конечно, чуть, она сама, может, скорей бы сбегала, сняла с полки, но зато респект! — ввернул я Женькино словцо. — Не стыдно показать хоть министру, хоть секретарю обкома. По телеку сюжетец запустить: в систему бытового обслуживания пришла автоматизация! Чем не повод Ивану Мефодиевичу к юбилею орден вручить?

— Па-а-ит! — повторил Саша.

Вера Павловна с улыбкой одобрения посмотрела на Ивана Мефодиевича. Он, подумав, глядя в её глаза, сказал мне:

— Заказывай. И на все пять крупных мастерских сразу.

Я поперхнулся огурчиком, который надкусил после продолжительного разглагольствования.

— Пять — они с дорогой душой. Но я не потяну — пять. Я думал заплатить ребятам из своих...

Иван Мефодиевич заглянул в глаза Вере Павловне и, найдя в них согласие тому, о чём подумал сам, сказал:

— Заказывай, найдём, как заплатить.

— А что? — заметил Вартан, всё ещё размышляя о возможных наградах. — Чем чёрт не шутит! — и, будучи начальником раскройного и единственным раскройщиком, прокряхтел:

— Грехи наши тяжкие... — и ушёл высекать подошвы и флики из кожи, списанной под набирающие невиданный размах работы, развёрнутые Тохой.

Мастерская уже со всем управлялась без меня, но словно

поводком, куда бы ни отлучился, удерживала при себе тревогой — вдруг проверка? Да и мало ли что... И только здесь, на Сашином складе, находясь при командирах, при Вере Павловне и Иване Мефодиевиче, уйдя оттуда, я не чувствовал себя в самоволке.

Саша без вопросов, сообразуясь лишь с собственным пониманием момента, сходил к дальней заначке.

Иван Мефодиевич одобрительно хмыкнул, Вера Павловна с обновлённым настроением выставила удобнее под его руку стаканы, а сказала мне:

— Если уж речь зашла об орденах, то у нас тоже новость...

И они переглянулись, вдвоём подержав интригу.

После неисчислимых «нельзя», которые трём поколениям распрямляли мозги, о вдруг возникшем «можно» заговорили тихо и так, словно стоваривались посягнуть на святое. Первый, осмотрительный, неоспоримо полезный и не таящий, будто, никакой опасности шажок — разрешить предприятиям бытового обслуживания покупку в розничной торговой сети необходимых для работы мелочей. Ну как не разрешить? Централизованное снабжение хромает на все четыре ноги. Магазин через дорогу наглухо затоварен пуговицами, а вы без этих пуговиц не можете, к примеру, закончить пальто. Нормально? Или пресловутые змейки для сапог. Днём с огнём не найти. В министерствах, в обкомах — горы жалоб. Что отвечать народу? Страна закупила змейки у японцев. Вдобавок те же япошки продали нам несколько заводов. А змеек в мастерских как не было, так и нет. Пошли, как водится, запреты, лимиты, особые списки... Всё попусту. Слава Богу, наконец-таки додумались: вот оно — «Постановление».

И вот он — я.

— В столицах в рознице этих змеек девать некуда! — говорила Вера Павловна, почти секретничая и потому налегая грудью на стол. — Денег имеем право истратить — десять процентов от годовой выручки всей фабрики! — показывая нехватность суммы, она открыла большой круг указательными пальцами вверху и замкнула его у доньшка своего стакана. — Набирай в кассе, сколько увезёшь, — и айда в столицы! А здесь у нас десять новых рукавных машинок на подходе. Место у себя найдёшь, выпускницы ПТУ к машинкам уже заявлены. Привози змейки, весь город будет направлять заказчиков к тебе. Стоимость самих змеек и стоимость работы и тебе, и фабрике засчитывается в план. Твой крестник Анатолий в цеху развернулся — у нас показатели уже

как на дрожжах! А если ещё и змейки... Тогда Иван Мефодиевичу и вам с Анатолием — точно по ордену. А мне, как Анке-пулемётчице, — медаль!

Она шутила о наградах, держа в уме то же, что наскоро смекал и я.оборот денег и оборот дефицитного товара. Как говорил Колюня, если ты торгуешь мёдом и он течёт у тебя по рукам, то ты нет-нет да и лизнёшь... Но почему-то шевельнулась во мне не надежда разбогатеть, а память о тоске, от которой не удавалось отвязаться ни на минуту в тюрьме и колонии. Да и мудро ли? Набойку приколотил, рубль в карман прячешь — и то оглядывайся. А тут... Поделиться надо и с каждым работягой, и с начальством, а преступление всё на мне. Десять тысяч насчитают — хоть лично присвоил, хоть раздал — подрасстрельная статья. Оно, конечно, и без змеек ходишь под Богом, но ходишь обиденной тропкой, как все, не высовываясь. По зёрнышку, как курочка, клюёшь. А с чемоданом денег шустрит по столицам не всякий, и уж без личного интереса — никто. Как же такого не за ушко да не на солнышко? Быть того не может, чтобы не копнули. И вовсе не может быть, чтобы чего-то не нарыли. Отбытое по малолетке заразило меня хронической убеждённостью, что мне — не кому-то другому (другим — сколько угодно), но мне никогда и ничто не скостится, потому что карающая строгость — так уж на роду написано — вся моя, а милость — это кому-то.

— С умом, конечно, — понял меня Иван Мефодиевич, — но ты и не из таких, кому чуть деньги в руки — и сразу радости полные штаны. Тут если делать, то только так, чтобы в бумагах комар носа не подточил. Или не делать совсем.

Ему понравилось, что я не шалею от жадности и не теряю головы от вдруг подвернувшегося шанса скакнуть в заправилы. И я почувствовал, что могу сказать — не как условие, а попросту сознаваясь, что по-другому мне не решиться и не осилить.

— Есть у меня друг... Человек рождён для такого дела. Вдвоём бы...

ЖЕКА

Его габариты, башка шестьдесят четвёртого размера, тяга к солидности, лобные залысины, наметившиеся уже к двадцати, сверххранная урожайность на лице, пущенная в холёную каштановую с подпалинами бороду, вынуждали Жеку, моего сверстника, выглядеть старше лет на пятнадцать.

С внешностью и повадками барственного писателя из позапрошлого века, он ходил по городу, как знаменитость, немало

не смущаясь тем, что характерец и обстоятельства недели за три до моего появления в сапожной сунули его грузчиком в захолустный хозяйственный по соседству.

Способ существования и внешний облик, который был важен для него и необходимо нужен, предполагали определённую обеспеченность, и он пытливо взгляделся в возможности нового места.

Глухая окраина, магазин — не магазин, а так, скобяная лавка. Наведываются по преимуществу денашники, берут фиолетовую дрянь для разжигания примусов. Чем заняться? Предложить «синикам» продукт почище?

А что, съездить в цех разлива, оставить там сотню-другую в благодарность за не подмешивание отравы...

Премьера «чистенькой» ошеломила успехом. Весть о наличии благородного напитка облетела жаждущий люд птицей. И продолжала распространяться далее со скоростью взрывной волны.

Они явились словно из-под земли. Как тараканы из щелей. Господи Иисусе!.. Под цвет питья грязно-фиолетовые, нечесаные, в немыслимых обносках... Вереницами, ватагами... А запах!..

Витька, завмаг, со страху стал ниже ростом. Толпень — не протолкнуться. Втроём, впятером соскребают на одну, лаются, поминают долги. И тут же, у крыльца, идёт делёж и потребление. Просить, орать — как об стенку горохом. Дорвался, вылакал и рухнул, где стоял. Там же, где лёг, и обгадился.

Мама родная! Любая проверка, из трамвая не выходя... А мирные граждане? На сколько их хватит — не тюкнуть, куда следует?

И этот провокатор новенький с бесовской ухмылкой стоит за прилавком, знай себе отпускает половинки с черепом и костями на этикетках.

Витёк набегался вокруг магазина, осип, издёргался и устроил Женьке истерику.

— Ты предлагаешь завязать? — коротко спросил тот.

Витёк стушевался: в два последних дня он поимел больше, чем за три года сидения в этой лавке.

— Видишь ли, Витя... — выдержав паузу, продолжил Жека. — Достойные люди в подобной ситуации не верещат, как подорванные, а подходят к Евгению Леонидовичу и вежливо просят: «Позвольте, мол, мне, Евгений Леонидович, заняться тем, к чему я рождён, — стать за прилавок. А уж вы, пожалуйста,

попробуйте сами!..»

Утречком терзаемая синдромом сходка готовилась приступом брать торговую точку. Всё самое злое и физически ещё на что-то годное теснилось у заветной двери. Женька свинтил прогоньч, вошёл, незлобиво оттеснил рвущихся и перед тем, как закрыть за собой, сказал с обещанием и несколько загадочно:

— Я сейчас.

Из ящика с букowymi, под колуны, топоричами он выбрал наиболее приглядное, удобное руке и, как сказал бы его дедушка, замашное. Открывая, он поймал за шиворот самого наглого, который почти успел уже проскользнуть первым. Им и резко распахнутой дверью турнул с крыльца остальных и, как на лобном месте, остался на возвышении с пойманным. То был далеко ещё не вонючий и, судя по оскалу, по вертлявости рук, в куски блатной хмырь лет тридцати.

— Показываю! — объявил Женька толпе и плоским боком топорича с полного замаха и со всей силы влупил по приблатнённой заднице.

Дикий вой привёл в оцепенение несколько близлежащих кварталов. Наказуемого изломало судорогой, и он, утратив способность удерживать равновесие, свалился на ступени.

— Вот это, — показал Жека топориче, — откладываю на видное место для вас! Малейшее нарушение порядка — и кара воследует незамедлительно! А порядок такой. Копейки свои собираете не ближе чем за два переулка отсюда. Гонцом — одного и самого чистого. Он молча даёт деньги, берёт и мгновенно отваливает. Ни слова ни друг с другом, ни с нормальными покупателями. Всё! Марш на исходные позиции!

Витёк лупатенько таращился через витринное окно на улицу — никого. Вежливые страдальцы немо подают истёрханные рубли и исчезают бесследно. В зале Жека, не надевший рабочего, привалился к стене и заботливо, с полной сосредоточенностью подправляет пилочкой ногти. А слева от него зачем-то подвешено на свежесбитый гвоздь буковое топориче...

— Я отойду на полчаса, — Женька незадолго до обеда. — Если кто из сиников возьмётся за старое, показывай этот предмет.

Он отправился по трамвайным путям в депо, кусочком лакомого подманил одну из тамошних приживалок-дворняг. Работая за прилавком, он краем глаза наблюдал, как эта собачонка, выказывая забавную изобретательность, подъезжает у пивнушки напротив.

Всё ещё под впечатлением от волшебной переменившейся клиентуры, открыто перечить Витёк не посмел, хоть и поёжился брезгливо, когда Женька, подбадривая словцом, манил растерянную уличную побирушку с поджатым хвостом через торговый зал. Отперев чёрную дверь, Жека уселся на дощатом заднем крыльце, заговорил:

— Ну, как тебя зовут, а? Джульетта? Джуся! Ух, морда твоя хитрая! Жить где будешь? Тут под крыльцом? Да? Правильно! Ватничек тебе старенький постелим, мисочку дадим...

— Взял бы уж кобелька... — чтобы не быть бессловесным свидетелем, заметил Витёк.

— Кобели дурные, — не отрываясь от влюблено глядящих на него собачьих глаз, отвечал Женька. — По себе знаю. А нам хозяйка нужна, правда, Джуся? Чтобы приглядывала тут, сиников к порядку призывала...

— Бродяжка занюханная. Она сама как тот синик.

— Ничего ты, скажи, Витя, не понимаешь в собачках! — говорил Женька, всё так же, словно в гляделки, играя с Джусей и подаваясь своим носом к её востренькой лисьей мордочке. — Мы, скажи, бродяжки, умнее не то что всех собак, умнее большинства людей! А лучше этих самых людей всех поголовно! Мы, скажи, будем тут всё охранять...

— Её, шавку, как бы саму охранять не пришлось!

— Ну и что, скажи, Джусенька, ну и что! Если, скажи, с кем сами не справимся, мы, скажи, дядю Жёню позовём. Да, Джуся? Позовём? А он — кто не хочет слушаться — уши поотрезает!

Она понимала всё и сразу. Стоило Жеке вернуться на свой пост подле назидательно вывешенного топорщица, как у чёрного крыльца уже слышался её хозяйский лай. Обживаясь в считанные часы, Джуська явила характерец. И какой! С полным, без памяти, обожанием она относилась только к Женьке. Витю терпела как неизбежное зло. Рядовым покупателям выказывала брезгливое равнодушие. Неприязнь к денашникам обуздывала в себе благодаря пониманию, что на них держится благополучие её божества, но спуску — спуску за каждый оплошный жест или нескромный звук не было им никакого.

И нечто вовсе паразитическое охватывало собачку при появлении проверяющих. Она отказывалась от еды, забивалась в тёмный угол под крыльцом и там стонала по-человечьи, как от сильной боли. В критический пик проверки, когда решалось, что

запишут, а что удастся выпорить или откупить, под крыльцом возникал и начинал усиливаться истошный вой. Её уговаривали, стучали молотком по доскам крыльца у неё над головой, шугали через лаз шваброй — нет, собака не владела собой. Смертная тоска рвалась из неё неудержимо.

В первый раз и в первые минуты Женька даже растерялся. Потом, после уговоров, стуков и бесполезного шурудения палкой, обозлился до того, что готов был разметать крыльцо. Но тут вышли узнать, что происходит, члены комиссии. И Женька, глянув на них, понял, что его нынешние разглагольствования о том, что Земля круглая, сегодня проверяете вы, а завтра придут с проверкой по вашу душу; что как хочешь, чтобы обходились с тобой, так же обходишься с другими... Ну и многое прочее в том же духе — что все эти его душеспасительные речи и сравнивать нельзя по силе воздействия с криком Джуси. Не о ревизиях по собственному адресу — они вспомнили о неизбежной и, возможно, очень близкой смерти. Своей, своих родных...

Это были другие люди. Конечно, ненадолго. Полчасика — и они встряхнутся, придут в обычное своё состояние. Но акт к тому времени будет уже подписан.

К Джуське стали присматриваться, пытаться толковать её поведение. Вскоре убедились, что собака минимум за сутки знает о грядущей проверке. Как только Джуся начинала встревожено вертеться у Женьки под ногами и отбегать к неучтённым ящикам денашки — следовало незамедлительно прятать излишки соседям в сарай.

Витёк за верную подсказку приносил ей кусочек жареной печёнки. Или куриные кости от ужина. Она принимала. Хотя еда из его рук никогда не доставляла ей видимого удовольствия. Ей дорого было признание. Как при помощи вкусенького учат чему-то животных, так она, принимая это вкусенькое, давала знать людям, как ценит свою службу, как значимо для неё место здесь.

Не подлежит сомнению, что Женька, вступаясь за Джуську, при необходимости без лишних размышлений прихлопнул бы любого. Но их взаимная влюблённость делала заметнее другое: что-то в Женьке бдительно и настороженно оберегало его от возникновения такой же вот, без оглядки, привязанности к кому-нибудь из людей. Это же что-то постоянно готовой держало в нём насмешку и ниспадающую сверху вниз, окрашенную лентой снисходительность.

Но вернёмся. Шёл второй или третий день обитания Джуськи на новом месте. Собачка, сторожившая тылы, вдруг очутилась в торговом зале. Прижавшись к Жекиной ноге, она нацелила полный невыразимой ненависти взгляд на входные двери и вся обратилась вдруг в ком вздыбленной шерсти, утыканный невероятным количеством сверкающих зубов.

Не успел Жека удивиться — что это она ни с того, ни с сего? — как дверь, жалобно взвизгнув от пинка, распахнулась, впустив честную компанию, замыкал которую тот самый, что третьего дня стал жертвой показательной порки.

Они подступили, взяв Женьку в полукольцо, и битый, засипнув от предвкушения сатисфакции, торжественно выговорил:

— Ну шо, торгаш поганый?

С лицом, сосредоточенным на какой-то вдруг пришедшей мысли, Жека приподнял палец, словно прося не отвлекать от чего-то, что никак нельзя отложить, но с чем он управится за две секунды. И самым будничным шагом направился к топору, который употреблялся для вскрытия ящиков. Прихватив искомое, он столь же неторопливо проделал обратные три шага и, излагая мирным покупателям свою версию того, что вскоре произойдёт, отчётливо произнёс:

— Кассу? Так вам же её куда положить! Ша копилочку соорудим... — и, намереваясь сделать надлежащую прорезь в темени долговязого, который вломился в магазин первым, прицельно, но без злобы и излишнего усилия тукнул топором.

Противник, по-боксёрски сработав ногами, отпрянул ровно настолько, чтобы пропустить мелькнувшее лезвие мимо, и без тени испуга заглянул Женьке в глаза. Но тут словно схлопнулся капкан — весело клацнула в воздухе зубами Джуся, чтобы через мгновение впиться в лодыжку врага.

Тот истерически взвизгнул и ринулся наутёк. Ан не успел обойти братию. К двери со взятой на шпингалет второй половиной они пришли вровень, ноздря в ноздю. И застряли. Секунду, как поток у препятствия, скапливалось теснимое страхом усилие... и — враспах отлетела вторая створка.

Натасканные на атас, с крыльца пришельцы кинулись врассыпную. Женьку это не отвлекло. Раз выбрав жертву, он преследовал всё того же. Теряя в пылу погони остатки рассудочности, нёсся страшный, с размётанной гривой, с дико

выпученными глазищами. И отставал, отставал...

Поспевала Джуся, но никак, никак, никак не могла снова ухватить за ногу...

ТРИДЦАТЬ ВОСЕМЬ КОПЕЕК

Несколько дней спустя в дремотный на окраине полдень я вышел распрямить спину. На заднем крыльце магазина Жека, дозируя, как мензуркой, крышечкой от «Белизны», с сосредоточенностью научного работника чем-то пополнял слегка опорожнённые бутылки пойла. Джуська недреманным оком провожала каждую порцию. Её взгляд и вся серьёзно собранная морда говорили о строгом одобрении происходящего. Присаживаясь, я погладил Джусю. Она не отвлеклась, лишь шевельнула хвостом, отвечая на приветствие.

— Товар должен стоять на витрине, — с паузами в моменты прицеливания делился Жека. — При нём — ценник. Так этим умникам показалось, что они ещё не все мозги прошили. Дайте им, что на витрине. И по законной цене. А? Как? А эта жаба на мели — даёт! — повысил голос, чтобы слышно было в приоткрытую дверь.

— Какая жаба? — сплеховал я.

— Ну Витя! Какая у нас ещё жаба?! И главное, молча даёт, как будто так и надо! Тоже мне заслуженный работник торговли! Сколько бабок вгитили, подставлены со всех сторон, а этот... Задаром раздаёт и помалкивает! «А шо я могу?» Сам не знаешь — старших спроси! — крикнул в проём. — Старшие тебе подскажут! По твёрдой государственной цене у нас будет коктейль. Правда, Джуся? Правда. Даже собачка знает, чем у нас потчуют по госценам! Немножко «Белизны» для просветления ума. Кислота соляная даёт пикантный аромат и приятное жжение внутри. А несколько граммов знаменитой жидкости «Крот» вычистит ваш кишечник, господа денашники, раз и навсегда! Угощайтесь!

— Но они же коньки поотбрасывают... — проговорил я, не веря, что подобное кто-то и вправду может выставить вышивкой.

Здесь во всей красе проявился разбойный запорожский тип его лица с бунтующими ноздрями и бульбою носа, как у дядюшки Гиляя.

— Что ты говоришь! Какой кошма-ар! — передразнивая меня, делано ужаснулся Жека. — А тут на этикетке что нарисовано? Смерть! И крупными буквами написано: «ЯД»! С витрины у нас продаётся жидкость для разжигания примусов. А кто не верит

собственным глазам и настоятельным предупреждениям работников прилавка, что «ото, шо на витрине», пить нельзя... Ну, вольному воля...

— Не, шутки шутками...

— Успокойся! Уже проверено. Драгоценные клиенты всего лишь меняют цвет с синего на жёлтый. И начинают честно платить за честно очищенный для них продукт.

— За тридцать восемь копеек... Людей...

Я не хотел задеть так больно. Они действительно имели на бутылке тридцать восемь копеек. Продавая с колёс машину за машиной, получали ничуть не зазорные барыши. Но эта, названная вслух, крохоборская мизерность навара... Рядом с тем, что он делал ради неё...

Возникшая заминка в словах не прервала выяснения позиций. Он обладал способностью, даже не глядя на собеседника, передавать лицом то, что считал нужным передать. Щёки окаменели, и две толстокожие складки прорисовались трапецией к линии рта. В этом читалось, каково ему достались помянутые копейки. Потом глаза спрятались глубже, сделались не видящими ничего вокруг, и я понял, как ещё при случае эти копейки припомнятся мне. Затем взгляд вернулся в занимаемое нами пространство, а правый угол рта в недоброй ухмылке полез к уху.

— Конечно, новосёловские древние греки — известные гуманисты... (Знакомясь, мы говорили, что я с Новосёловки, а он с Москалёвки, а ещё я показывал книгу и с настроением говорил о древних греках). — Надо же: лю-дей! — выговорил он по складам, стараясь шире плеснуть переполняющее его презрение: — Опомнись! Они хуже любого животного!

Он не знал, не мог знать, что говорит это и о моей маме.

— И ты уверен, — сказал я, — что нам с тобой такая участь не грозит ни при каком раскладе?

— Не знаю, как ты, а я скорее сдохну.

— Говорят, не зарекайся.

Он тряхнул головой, бросил, нарываясь:

— А я — зарекусь! У меня, видишь ли, в этом смысле очень поучительная наследственность.

— Ну, наследственность у нас у всех...

— За всех не отвечаю. А моего папашу роденького как раз по этим улицам водили. Он за стакан кулаком вышибал калитку. Бух кулачищем — стакан водяры. Идут дальше. Бух — стакан.

А я реву, соплю размазываю, упрашиваю идти домой. Знаю уже, что там будет после пяти калиток. А ты — лю-дей. Если бы это лю-дѐ вовремя не сдохло под забором, я бы ему помог.

И фыркнул изумлѐнно, повторил:

— Лю-дей!

— Нет, ты погоди! — остановил он меня. — Я знаю о причинах. Причина у него была. И я её ох как понимаю. Потому что он благополучненько в генах передал её мне. Ещё и насмеялся, назвал Евгением... — что-то в его лице и голосе давало знать: о причине этой лучше не спрашивать. — Однако по мне одно из двух: или у тебя хватает характера, или не живи.

Отложив мензурку, он полез за сигаретами, ловко, одним пальцем, выудил из нагрудного кармашка зажигалку. Можно было, как я, ничего не смыслить в качествах табака и разновидностях зажигалок, но всё же не усомниться, что таких сигарет не сыщешь в городе днѐм с огнѐм и что его зажигалка — ювелирное изделие.

— Да-а, — сказал он после двух затяжек уже с балагурским дружелюбием. — Что ни говори, а старшие нам таки показывают пример. Я классу, наверное, к пятому, к шестому уже твѐрдо знал, как жить не буду. Первый примерчик — родной папуля, а второй — уже папуля названный. Ещё одно чудо в перьях!

В юности его отчим был фанатом самолѐтостроения. Полез в конструкторы, в умники, за что и схлопотал десятку перед войной. А освободившись, больше всего боялся занять заметное место. Вѐл черчение в школе и из страха перед новой анонимкой никогда не отваживался даже на просьбу о дополнительных часах. Хотя с успехом мог бы подменить математика, физичку. Зарабатывая ничтожно, он весь переключился на экономию. Как-то под Новый год достал магазинную уточку. Худенькую, но вполне приличную. Сам готовил, сам нарезал порциями в расчѐте растянуть лакомство на два праздничных дня. А к завтраку после ночного сидения за столом не досчитался одного куска. Нет, он не был злым человеком. Не был и жадным. Но ему хотелось, чтобы пасынок признался. Ведь некому больше. Ну кому было съесть, как не этому, вымахавшему, как бурьян в дождливое лето, с кулаками, как гири, с несуразными ногами, прибавляющими в сезон по два размера! Кто, если не этот, вечно косящий, что бы сожрать, вечно подѐдающий за матерью! А Женька не брал утки. Он не боялся признаться, но он не брал. А выходило, что умял тайком и трусит. И он кричал петуховатым басом, что нет, а ему: ну ничего

страшного, но признайся. Разрешилось тем, что малолетний подследственный вцепился отчиму в горло и четырежды ударил того головою о шифоньер, причинив значительный вред как голове, так и мебели. И ушёл из дому.

— Я к чему рассказываю все эти сплетни... — говорил Женька, со значением поднимая палец. — К тому, что человеческое ничтожество есть тяжкое преступление, за которое надо карать. Ты скажешь, его сломал лагерь. Допустим. Но при чём тут все вокруг? Матушка моя за малым ума не лишилась — за что? Я по сей день скитаюсь, как бомжара. В городе района не найти, где бы я не жил. А народец, который сдаёт угол неимущим беспаспортным бродяжкам — о-о, это я тебе доложу!.. Это такая мерзота... — у него слегка перехватило дыхание от удовольствия сообщить мне. — Энциклопедия пакостников! Но вот до этих, — он показал на бутылки, подразумевая тех, кому они предназначались, — до этих даже им далеко! Верь слову: за каждого отравленного, то есть за досрочное прекращение мук их близких, мне простится по сорок смертных грехов. Да, Джуся? Да, умница моя?

Вопреки всей его прежней практике Жека задержался в хозяйственном. Витёк, примирённый доходами, впал в безропотное подчинение. У сиников стало большим отличием — значиться постоянным Жекиным клиентом. Нещадно казнимые, они слагали о нём легенды. А сам их кумир, в короткое время обеспечив стабильность финансовых поступлений, всего себя посвятил созданию собственного облика — такого, который бы уже сам по себе обезоруживал перед ним женщин, побуждая их многое принять на свой счёт, когда коварная наследственность вдруг по непредсказуемой своей прихоти выставляла его на посмешище.

Как всё же в понимании ближних зависим мы от того, испробованы ли собственной нашей шкурой одолевающие их напасти. Всё было так близко к поверхности, так читаемо, а я принимал его изворотливость и отчаянное упорство загнанного в угол за чудачество, самолюбование, желание порисоваться, поискать ощущений. Только когда возрастные каверзы сыграли похожую шутку и со мной, когда земля вдруг ушла из-под ног и я стал проваливаться в таргарары — вот тогда у меня открылись глаза.

Зато моя близорукость, моё рассеянное внимание сохранили нам дружбу. Он упивался собою таким, каким хотел предстать

перед людьми, а я, в простоте не различая за актёрством его смятения и борьбы, не мешал ему жить.

Я С ВАМИ НЕ ЗА ДЕНЬГИ...

Когда я шёл по обочине, чтобы поймать машину и ехать в мастерскую, в квартале от фабрики на противоположной стороне остановилась «копейка», дня два назад купленная Толянычем. Машина была перекрашена после аварии в мрачноватый коричневый, перекрашена по-домашнему, с повознями от кисти. Но бегала резво, и Тоха, ещё без номеров и без прав, не мог удержаться, чтобы не ездить, и отбивался от гаишников деньгами.

Из «копейки» вышла Надя, чтобы дойти до фабрики пешком и возвратиться не вместе с ним. «Конспираторы! — усмехнулся я. — Кому выпивать и закусывать с руководством, а кому...»

Толику в первый же день приглянулась в бухгалтерии тихая девочка, которой, казалось, не хватает смелости прямо глянуть ему в глаза, и он попросил Эвелину Георгиевну, главного бухгалтера, поручить ей вести учётные бумаги цеха.

Эвелина Георгиевна была на фабрике таким же новичком, как и Тоха. Она чувствовала себя безнадежно чужой в коллективе, где за всякую услугу принято было что-то давать. С юности и до пенсии она отработала на двух крупнейших стройках страны, где никто слыхом не слыхивал о подачках, и здесь, ещё только угадывая в ком-то намерение благодарить, уже брезговала так, словно ей хотели сунуть в карман мышь или лягушку. Ей перестали давать, и вокруг неё образовался некий шар напряжения, попав в который всякий из сотрудников становился приторно неискренним, и было заметно, как хочется такому, вынужденному приблизиться, поскорее улизнуть.

Со стройки она вернулась, похоронив мужа. Дома, в родном городе, её окликнул на улице одноклассник, тоже вдовец, тоже дедушка. Она с трудом его вспомнила, хотя что-то у них было в детстве — то ли она ему, то ли он нравился ей...

Они встретились повспоминать. И просто встретились. Не смея и думать ни о чём таком, они не успели оглянуться, как стали нужны друг другу. Вскоре их взаимность стала такой наполненной, такой свежей, что они, в недоумении оглядываясь на свою жизнь и не помня там ничего, что могло бы сравниться, спрашивали себя — а как же так, а почему?..

В Толике и Надюше, особенно в ней, она увидела друзей по

счастью, и прониклась к ним самой тёплой симпатией.

Девочка неотлучно пребывала в мечтах, с которыми не могла и не хотела расставаться. Ей, как и Эвелине, казалось, что её мысли, её счастье заметны всем, и она прятала глаза.

Под предлогом, что туда-сюда не набегаясь, Тоха отпросил девчонку к себе на третий этаж, в светёлку, отделённую в углу цеха дощатой перегородкой со сплошными окнами впереплёт, как на веранде. Окна эти он в три слоя затянул шторами, но солнечный свет пронизывал всё, и работяги коротали перерыв, забавляясь эротическим театром теней.

Личные заработки увиделись Толиком тогда же утром, когда он проснулся, зная всё, что сделает в цеху. Он продолжит, как в овощном, набирать заказы, пуская их через конвейер. Но вот стонулась, начала набирать ход работа, и побочные доходы стали сами проситься в руки.

Вартанчик из закройного, которого в насмешку над маломерностью кличут Вартанище, шепнул, что индпошив обуви, живущий с того, что гонит неучтённую массовку на базары, просит кожу верха, кожаную мужскую подошву и кожаные флики для наборного каблука. Его, Толика, забота — списать побольше кожи под выпуск продукции, а порубит на детали и продаст землякам — Вартан.

Тихоня Наденька послушно кивнула, и к концу смены из ведомости списания Тоха узнал, что, оказывается, кроме союзки, они меняют на сапогах и пяточную часть. Ещё, расходуя мягкий кожтовар, они — поди ж ты! — производят замену мягкого внутреннего задника и вкладной стельки. А чепрак — кто бы мог подумать! — уходит на жёсткий задник, жёсткий подносок, основную стельку с полустелькой и кожаную подошву, на которую они — вот чудо! — сверху лепят подошву из полиуретана.

— А нам за это шею не намывают?

Она невинно взмахнула ресничками:

— За что? У меня вот нормы списания...

Он заглянул — действительно. До появления новых материалов и задники с подносками, и стельки с полустельками были из чепрака. Материалы давно другие, копеечные, а нормы — ломом не скovyрнёшь.

— А подошву писать — не слишком? — всё ещё колебался он.

— Вот в нормах, — подчеркнула она ноготком, — подошва. А к ней — подмётка из резины. А у нас из полиуретана. Тут ещё

флики для наборного каблука. Не знаю, я бы вписала... Если уж мы следуем нормам, то надо им следовать, — и подняла на него полный бесхитростной правоты взгляд.

— А проверят?

— Что? — уточнила она. — Бумаги? Вот ведомости, вот нормы. Всё соответствует.

— А возьмут живой сапог?

— Какой? — уточнила она с нетронутой невинностью в голосе. — Списание за текущий месяц мы сдаём в конце следующего. Сапоги давно у заказчика.

— А снимут с потока?

— На них у нас нет бумаг списания, на них бумаги будут через месяц.

Он посмотрел так, будто не узнавал — она ли это. А она, опустив глаза, сказала:

— Я, Анатолий Иванович, спрашивала у старших девочек. Тут проверок за двадцать с лишним лет не было ни одной. Там, в мастерских, деньги — там и проверки. А здесь денег в глаза никто не видит — что тут проверять?

Получив от Вартана первый куш, Тоха отсчитал справедливую её долю.

Она зарделась и выговорила едва слышно:

— Я с вами не за деньги...

— Ты чё — совсем? Мы это заработали вместе!

Ещё ниже склонив голову, интонацией умоляя пощадить её наконец, она повторила:

— Я с вами не за деньги...

Толик слетал в ювелирный, купил ей колечко с серёжками и кулоном. Немного пококетничав, она приняла и была от подарка на седьмом небе.

А себе он купил старенькую «копейку».

А ОН — КТО?

— Мусора? — смеялся Женька. — Слушай, тебе нельзя смотреть кинушки о милиции, они на тебя дурно влияют!

— Ещё я с удовольствием не смотрел бы на переполненные камеры. Однако пришлось...

— Да, дураков не сеют и не жнут, дураков сажают. Но какое отношение это имеет к нам? Мы выполняем задание партии и правительства! А ты — мусора! Да я и слышать о них не хочу!

Нам делают предложение, какое случается раз в тысячу лет, не чаще! На всём готовом — бац! — и заделаться монополистом возле такого дикого спроса! Ни одной акуле капитала такое и во сне не приснится!

— Спрос! Змейку ещё надо достать. Потому и спрос, что её нету.

— Что значит «нету»? — смеялся он над словом. — При наличных деньгах? — и прервал себя: — Да мы сейчас и проясним!

Заранее улыбаясь, он навертел номер.

— Фира Борисовна! Как же я рад вас слышать! Ну! А то! Взаимное чувство такая штука, бороться с которой бесполезно! Фирочка, застёжка «молния» — ваша группа товаров? Меня интересуют обувные. И всех они интересуют? А в столице? За наличный, через розницу. Ходовых размеров не продадут? У них запрет? Ну, запреты для нас... А не ходовые? Ого! Это куда ж такие? Они сами не знают? Почём-почём? Однако! Завод в Барышевке? Что-то знакомое... Как клубками? Как в километрах? Я всегда мотаю на ус. Благо есть, на что мотать. Фирочка, самое дорогое, конечно, — отношения. Но на втором месте по ценности — информация. Я ваш должник до гроба!

Он положил трубку и, пальцем указывая на телефон так, будто в нём прятался укор мне, сказал:

— Вот человек! Вот специалист! Хоть красного диплома и не имеет...

Он узнал, что в ГУМе, под самой кровлей, склад размером с самолётный ангар под потолок забит змейкой метровой длины и по четыре двадцать за штуку. Она без разъёма. Ни в сапоги, ни в куртку, вообще неизвестно куда. Какой-то остолоп завёз из Японии. Который год лежит — ни с места.

— Эту змейку нам отдадут за милую душу. Вопрос — нужна ли она нам?

— Лучше бы покороче...

— Надо — возьмём и покороче. Но чем-то мне очень нравится и эта. Без выкрутасов, не заглядывая в глазки, которые яма. Бери, выручай советскую торговлю! Её в принципе в сапог вшить можно?

— Почему нет? Лишнее — чик и...

— Так. А цену клиент потянет?

— Ещё и спасибо скажет. Сейчас такое удовольствие —

минимум десятка.

Снисходительность законченного пройдохи подёрнула туманом его взгляд:

— В таком случае кто тебе сказал, что покорооче — лучше? Извините, но эта нам в самый раз!

— Ну, пошла бы...

— Да не «пошла бы», а самое ОНО! Мы с нею купим в Москве официальную цену!

Я не понял, чем ему приплась по сердцу эта цена.

— Четыре двадцать, — с упоением взялся он разжевать для меня то, о чём уже знал, что это неотразимо вкусно, — железно обоснованная цена. За что купил, за то и продаю. А уж что будет вшито на эти на четыре двадцать — вопрос нашей смекалки. Под Киевом, в деревне Барышевка, те же мацаоки целый завод запустили. А народец там пашет наш, родненький! Кумекаешь? Правильно, вынесут всё и практически задаром! И вот то, что почти задаром, мы вошьём по цене из ГУМа, а разницу...

Я не ошибся: Жека резвился в этой стихии как рыба в воде. И прочее, гнетущее мне душу... скажем, мерзость проверок... ведь с ним, с Женькой, всё это семечки! Так же, как я, зная работу, зная ребят, играючи веду производство... Взяться, как с Колоней, на одну руку...

— Постой, — сказал он, — ты хочешь, чтобы мы вдвоём у тебя?

— Ну да.

— Мы будем мешать друг другу.

— Чем? — удивился я. И, показалось, нашёл довод: — А Витя? Тебе мешает Витя?

— В печёнках сидит. А уж где я у него, можно и не спрашивать. Но он — Витя.

— А я?

— А ты — не Витя. Понимаешь, медведи — они не живут общагой...

Заверив, что змейки будут, я спросил Веру Павловну о мастерской для Женьки. Две рукавных машины у меня есть. Из тех, что приходят, мне бы хватило ещё три, а семь — ему. И городу дать команду, чтобы посылали к нему, а нам работы хватит из потока: очередь — дай бог управиться. Увидят змейки на витрине — головы не дадут поднять.

- Ну а как он вообще? — спросила она. — Кто он?
— Увидите, Верочка Павловна, и сразу всё поймёте.

Она увидела. И поняла, что этого человека не совсем уместно спрашивать, кто он. Любой из его ответов только запутает дело, потому что весь он налицо, весь здесь, перед нею, и вот это и есть — он. А всё то, чем можно бы обозначить род его занятий, степень образованности и прочее такое — ничего не значит, потому что его нельзя представить кем-то с нашей фабрики или из нашего города, нашей страны. Похожих людей она видела на портретах, которые висели в коридорах школы. Спросите, составляя на них анкету, — кто они? Они — это они.

Промолчав с минуту, Вера Павловна сказала:

- Пойдёмте, Евгений, я вас представлю Ивану Мефодиевичу.

И МЫ... МЫ... МЫ...

Из-за плотной скученности и единообразной реакции на раздражители извне очередь подле кассы заказов походила на цельное существо. И была взъерошена, как собака в момент воспитания на злобность. Женька, однако, подошёл с такой убеждённости в своём праве, что толпёнь, переступив на сорока ногах, смиренно потеснилась.

Остался лишь гражданин, до побеления пальцев вцепившийся в подоконник и влезший с головой в овальное оконце. С окаменелой, не допускающей и мысли о фамильярности физией Жека остановился над ним. Весь, от бобрового «пирожка» до сияющих финских ботинок, он был настолько не отсюда, настолько не свой брат-очередник, что многоликий хвост ощутил нехорошую угнетённость, переносить которую было так нелегко, что дедок, стоявший носом к спине нырнувшего в прорезь, требовательно потрепал того по плечу. Плечо сыграло, как лошадиная лопатка, стонящая шершня. Дедок потеребил сильнее. Тогда, желая огрызнуться, передний вынырнул из кассы, но перед каменным лицом, нависшим над ним, вдруг присел головою к плечам и осадил в сторонку.

По редкостному умению, присущему очень у нас немногим, Женька не склонился к прорези. Куда все прочие норвят поместить лицо, он приподнял ладонь, со значением показывая кассирше краешек красненькой купюры. Гурьба затаилась, внемля, когда он произнёс бархатным голосом:

— Заказ от патриарха. Два эсвэ до столицы.

Потом хрусткие билеты спрятал в бумажник, намеренно встретился глазами с отодвинутым и укоризненно качнул головой.

— Так можно ездить! — воскликнул я, озираясь. — Купе без верхних полок и с полуторным размахом нижних казалось хоромами. Чай, лимон, печенье, тонкие стаканы к шампанскому...

— И обрати внимание, — заметил Женька, — билеты дороже, чем в купе с нарами, всего на два рубля.

— Не может быть!

— Ещё и как может! Приедем, поселимся в цековской гостинице — там та же история. Своя рука — владыка. И в рестораны надо ходить только в те, которые они держат для себя.

— Если бы ещё туда пускали...

— Всех? — сказал он, прицеливаясь, чтобы не перехлестнула пена. — Всех пускают только в гадюшник.

Я криво усмехнулся, подумав, что он, как и я, — выкормыш столовок и забегаловок. И спросил:

— А что же отличает нас ото всех?

— Нас? Очень простая штука. Мы, по примеру Роди Раскольников, успели задаться вопросом: тварь я дрожащая или право имею?

— И всё?

— И всё. Этого достаточно. Фокус лишь в степени серьёза, с которой задаёшь себе этот вопрос.

— И право — за тобой?

— За мной. И за тобой. Вот — ты. Когда ты сказал наотрез: не буду жить на заводскую ставку! Не бу-ду! Что произошло? Жизнь тут же попустилась и позволила тебе — не всем, заметь, а тебе — жить на несравнимо другие деньги. Потом ты сказал: я не буду дураком, я узнаю то, что хочу узнать! И жизнь выстелилась, как коврик. Пожалуйста, Дмитрий Батькович, узнавайте! Не для всех, опять-таки, для тебя! Потом ты сказал: а я приму мастерскую, этот корабль, который тонет. И он поплыл! Сейчас они приоткрыли для нас пробку — купите, мол, змейки и мигом на место! Мы купим. Но уже хрен кому удастся засунуть нас обратно в бутылку! И это право, которое мы ТАК получаем, — только оно и есть истинное, не такое, как у них. Они своё с детского садика зарабатывают продажностью. Но всё равно не ИМЕЮТ — ПОЛЬЗУЮТСЯ, пока им дают.

Мастак прихвастнуть, он любил хвастать в общий котёл. Мы,

мы, мы — приглушённо рокотал в ночном вагоне его голос. Позвякивали внизу пустые бутылки, а Жека всё возвращался к тому же:

— Понимаешь, выделиться в стране вменённой всеобщей бедности — пара пустяков. И не о том печаль, чтобы поспать помягче или вкуснее пожрать. Но привилегия не кланяться перед ними... С нею можно быть аристократом даже у нас и даже сегодня. И мы... мы...

А НАРОД ВЕСЬ С НАМИ

А по Москве вёл я. От Курского к центру по улочкам, которых не знают приезжие, не знают коренные, хотя они-то, эти вот улочки, и есть Москва, от которой свихнулся когда-то я, от которой свихнётся Жека...

— Ребят, да вы же нам премию привезли! — взяв наконец в толк, чего мы хотим, охнула сухонькая, изработанная продавщица и приласкала нас взглядом страдающих глаз.

Это был отдел, где наши змейки продавались с прилавка, и толчея царила возле него, как и во всём ГУМе.

Отбив у бесноватых покупателей краешек торговой тумбы, мы вывалили пачки денег. Считала она сноровисто и точно, но денег было много, и она то и дело с виноватцей поглядывала на двух девчонок, никак не справлявшихся без неё.

— А какими суммами копии чеков? — не замедляя счёта, тихо спрашивала она. — Не больше двадцати рублей? — сама же продолжала, зная общий порядок. И безропотно, вполне примирённо с участью:

— До конца дня вряд, чтоб написали...

— А вы подключайте нас! — вызвался Женька.

Боль окончательно не ушла из её глаз, но умягчилась теплом признательности:

— Можно? Правда?

И в руках у нас очутился кулёк с пачкотной чернильно-синей подушечкой в жестяной коробке, штампом отдела и склеенными по торцу в книжечки копиями чеков.

— Штампует, — обращаясь ко мне, сказал Женька и для неё. — А распишем спокойно дома.

И получил ещё один благодарный взгляд.

В отличие от Женьки я ещё не понимал, что каждым шлепком штемпеля отпечатываю двадцать рублей. Казалось бы, куда нам

тягаться с нею, но худо ли, бедно, а к моменту, когда она закончила пересчёт денег и перепроверила в упаковках змейки, подвезённые грузчиками со склада под крышей, нам уже не стоило ломать голову на предмет того, за какие золотые приобретутся левые двойняшки к дорогим столичным «молниям». Мы распишем чеков на треть суммы больше, чем заплатили, а именно столько, на сколько у нас хватит нахальства. Ограничивала осмотрительность, только она, ибо запас бланков с «мокрым» оттиском заглавного универсального магазина страны позволял гулять на самую широкую ногу. Чем мы не преминём воспользоваться во вторую, третью и последующие ходки.

Оставив груз на родном Курском в камере хранения, мы испытали прилив сил и эмоциональную потребность вернуться, чтобы сманить в ресторан при знаменитой гостинице тех самых девчушек из галантерейного отдела, которым в отсутствие наставницы не хватало опыта и проворства сладить с ненасытной ордой.

А в Барышевке снабженец из «индпошива» по дружбе с Вартаном адресовал нас к некоему Мыколе, тамошнему жителю.

Нашли. Назвавшийся Мыколой оказался рубахой-парнем с глазами добряка и плута.

— Есть?

— Та шось е...

— А вот такое количество?

— Пошукаем...

И не суетясь, однако и без проволочек, жинку — до Гапки, до бабы Шуры, к Кузьмивне и до Илька. А сына в другой конец — до Сэмэна, Ганны с Пискив, Сашка и Костюченкив.

— Вы тут, возле фабрики, как возле рыбной речки! — заметил я.

— Вы тэж биля чогось та живэтэ... — с хитрющей улыбкой, выражающей, впрочем, сердечное пожелание и нам всяческих жизненных благ, парировал Мыкола.

— А Барышевка — не от слова «барыш»?

Мыкола не одобрил излишней разговорчивости:

— Бабця казала: «Мовчи та дыш — будэ барыш!»

Между тем, осматривая товар, мы не могли не заметить, что будто нарочно для нас налаживался здесь выпуск цельного змеичного полотна. Тугой клубок величиною с добрый кочан, судя по бирке на хвосте, содержал в себе полукилометровый кус. К нему придавалась холщёвая торбинка с двумя-тремя тысячами

бегунков. Потери отсутствуют как таковые: отрезал, сколько требуется, вдел собачку и вшил.

— Толково! — шепнул я Женьке.

Он же достал из кармана ГУМовскую змейку, придирчиво сличил её полотно с полотном из клубка и бегунок на ней с бегунком из торбы. Затем, чтобы удостовериться наверняка, спросил у хозяина ножницы. Барышевский замок уселся на отхваченный хвост московской молнии, как родной.

— Нет, это не просто толково, — сказал Жека. — Это гениально. Коль, а побольше замочков мы у вас сможем набрать?

— Любый каприз за ваши гроши!

Сражённый его безотказностью, Женька только развёл руками. А мне метнул короткий смекающий взгляд. Да, да, я думал о том же. Замки из Барышевки оживляют для нас бросовые московские хвосты. То есть из одной змейки делают три. Выходит, из столицы к нам приехала не только цена!

Милая сердцу арифметика: из метра, купленного у Мыколы за рубль, мы изготовим три змейки, каждая из которых даст четыре рубля. Иначе говоря, с одного рубля вложенных нами фабричных денег мы лично имеем одиннадцать целковых! Где и кто, скажите, получал тысячу сто процентов чистой, не облагаемой никакими налогами прибыли, не истратив ничего, кроме собственных усилий? И это не считая — что, впрочем, конечно, мелочи, — двухсот процентов на московских хвостах...

Один за другим стали подтягиваться соседи. Все с одинаковыми мешками, из которых — ни дать ни взять кочаны капусты — выширали клубки. Метраж у каждого известен, замки сосчитаны. Освоились.

А Ганна с Песков позвала к себе на свежинку.

— И не було б ошибкою, — сказала, — абы вы у мэнэ сальця купылы!

Мужская половина, не мешкая, двинулась в сторону шкварок и чарки. Временно отлучились женщины — кто за домашними яйцами нам на продажу, кто за сметаной.

— Не знаю, как твои мусора, — смеялся обратной дорогой Женька, — а народ весь с нами!

ПОТЕХИ ЧАС

Женька с пэтэушницей Любашей, только-только вошедшей в возраст согласия и потому ещё не кандидаткой в жёны, но

ученицей на кандидатку; пэтэушница Валюшка, ученица ученицы; Толик с Надеждой, Маруся и я.

Как помещались мы на одной тахте — загадка. Непостижимым оставалось и то, что тахта не разваливалась под нами. Хотя один Женька... Когда он садился к Тохе в «копейку», бедная «ладушка» с сильным кряхтением падала на переднее правое и волоклась, как подломок, перегоняемый в ремонт.

С Толиком мы делились змейками, он подбрасывал нам новую подошву, диковинную шарошку для зачистки полиуретана, новый клей, новые нитки. Нас сводило в троицу тождество звания: в полку Ивана Мефодиевича и Веры Павловны мы были кем-то наподобие командиров рот; а ещё — ровесничество и очень похожее в нас пацанство.

Поамурничать с Марусей в потехи час давно стало чем-то необязательным, чем-то, что прикладывалось к отношениям рабочим, становившимся всё прочнее.

Талантом в работе с Маринкой мог бы сравниться разве покойный Колоня. Она считала с точностью арифмометра, только быстрее. Была до копейки точна в расчётах с мастерами и мной. И отличалась той щепетильной, почти навязчивой честностью в дележе, какая бывает не всегда, но преимущественно у людей, для которых подвиг бережливости долгие годы был обыденным распорядком и для кого ошибка, ротозейство или чей-то обман оборачивались некогда катастрофой.

Эта черта отличала её от других приёмщиц, не кристально чистых на руку, и особенно от Темнилы.

Последний, оставив за Фёдором Ивановичем старшинство в работе, прибрал к рукам в бригаде «крупняков» бразды учётно-финансовые. Чтобы обнести меня долей, он переклеивал старые номерки на новую пару, отдавая через приёмщиц, сбитых им с пути, сохранённый не смятым старый наряд новому клиенту. Я старался не замечать, но его плутни, как нарочно, там и сям сами лезли в глаза. Чтобы вывести Темнилу на чистую воду, надо было влезть в грязь, которую он развёл, и признать, что память армейской дружбы и для меня, и для него стоит меньше рублей, отмухлёванных им у меня. Окончательно уверившись, что мне это не под силу, он стал стремительно наглеть, разбухать от нахальства. И открыто, басом, покрикивать на вступивших с ним в сговор ребят и девчонок. В объёмах наладившейся работы и с оборотом змеек его рубли ничего не значили для меня, но то, что он видел меня насквозь и выезжал на моей слабости к нашему

общему прошлому, — это, как аллергический зуд, не давало покоя. От него, как от гнойника, расплзлось вширь гниlostное нездоровье. Я не смотрел в глаза Фёдору Ивановичу, который стал его подельником, я ненавидел приёмщиц, лебезивших передо мной и воровавших с ним у меня. В конце концов, через Верочку Павловну, рассказавшую, что фабрика нуждается в нём, я спровадил его внедрять передовое и прогрессивное в другую мастерскую.

Свет сувенирных свечей — красной, отлитой в форме бочки, и жёлтой, похожей на ананас, — выхватывал из мрака клавишин, серебряный поднос, уставленный бутылками, и наши лица. Чавычу из прозрачных баночек и масла мы запивали мускатным шампанским и одинаково пахли вкусной рыбкой, которая таяла во рту. Свет подвижного пламени покачивал видимое нами пространство, как каюту скрипучего (тахта) судёнышка.

Мы уплывали под голос Женьки, который обещал Любаше не себя, но свой опыт. Она — губастенькая невзрачная девчужка с небольшими внимательными глазками, которые смотрели на мир с любопытством и удивлением домашней живности, что заставляло приглядеться к ней и почувствовать расположение, — слушала, забыв обо всём на свете.

Когда с погасшим электричеством исчезли низкие потолки, линиялы стены, крашеный картон дверей, а остались лишь наши лица, клавишин и полновесное серебро подноса, — то в этой новой реальности, которую очертил для нас шар зыбкого света, его слова, вызывая взволнованное доверие, беспрепятственно проникали в распахнутые настезь души девчонок.

Валюшка, сидевшая между Женькой и мной, в гипнотическом забытии обкусывала и без того уже съеденный ноготь мизинца. Неудачно покрашенная в блондинку, она со своими белёсыми, пережжёнными локонами и лазурью глаз походила на куклу Мальвину, страдающую, однако, поеданием ногтей.

Я отнял её руку, уложил себе на колено. Жест почему-то отвлёк оратора, и паузу, словно глоток воздуха, поймала Маруся:

— Ты правильно говоришь, правильно. Но когда нет денег... Когда я два года после школы носила одно платье, Женчик, никому дела не было, могу ли я быть нежной! Я сама себе была противна.

Её слова затронули в ученицах живое; обе, сменив позы, повернулись к ней.

— Девчонки, — продолжала она, — вы не представляете, как вам повезло! Вы сразу угадали место. А я, пока меня Димик не выручил из лаборанток... Ребята, — призвала она нас, взрослых,

— почему, когда платят на голую воду и хлеб, уверены, что могут делать с тобой, что хотят? За семьдесят рублей меня каждый праздник выгоняли на демонстрацию. Каждый праздник! Так вы бы хоть заплатили — нет! И каждый выходной — озеленение, или уборка снега, или мытьё окон. Я им уборщица? Или садовник? Нет, вы заплатите — я кем угодно! Но даром, бля, даром! Человека, который в последнем платье и которому жрать не хрен! И почему, когда платят в десять раз больше, даже не заикаются ни о чём подобном? Дим, скажи, вот ты бы додумался послать меня на месяц на картошку? А? Ты бы свои отдал, чтоб только меня не трогали!

— Отдал бы. Но не потому, что у тебя зарплата большая.

— А почему?

— Без тебя дело станет.

— А вы меня — на картошку?... — спросила Надежда у Толика.

— Если только вместе. Меня посылали старшим. Морально разлагаться там — милое дело... — сказал он и с накруткой щипнул её за сосок. Она прогнулась, морщась от желанной боли, а во взгляде Тохи змеиным язычком протрепетало что-то мстительное.

Казалось, он, Толянч, стыдится нежного жеста и слова, и потому его касания к ней всегда грубоваты, почти злы, а обращения пренебрежительны. Он говорил Любка, Валька, Маруха, Надяка. Не ленился даже выговаривать — Надеждыка. И заигрывая, прихватывал её где-нибудь так, что у самого мстительно стискивались зубы. Она не роптала, и мне казалось, что делала вид, будто это ей нравится и ничуть не задевает достоинства. Но вот я стал замечать, что то же самое — пренебрежение, взгляд свысока и нотки, в которых звучало: «знаем мы вас!» — что всё это манит и подбивает как-то подобриться, угодить ему и Марусю.

— Нет, ребята! — воскликнула Мариша, страдая от недосказанного. — Конец октября. Я, дура набитая, беру единственные ажурные трусы — вдруг действительно разлагаться? — и еду. А там — мамочки! Полати в сарае и — покатом. Холод! Вши! Картошка в поле плавает, как в болоте. Я простудила всё, что могла. И кажется, навсегда. А тут ещё Светка-молодожёнка влюбляется в меня. Ещё одна дурында из нашего отдела. Они поженились, остолопы, и их нет, чтоб в свадебное путешествие — в колхоз! Она прибилась ко мне на нарах, ну, греемся, понятно. Потом давай стихи мне посвящать. Признания, поцелуйчики. Нет,

я, может, из одного бы уже любопытства была бы не против. Но мы две недели не мыты, пасти не чищены. Какие поцелуйчики?! Я ей — подожди, дома поговорим, а она в истерику. У всех сразу глазки светлячком, ушки топориком — что, что? А эта идиотка орёт — люблю. Узнали все — доходит и до молодого. А Бог же — он до пары сводит. Такой же психопат, как и эта. Ни слова, ни полслова — пошёл и вздёрнулся. Следствие. Кто довёл? Сука Маринка, я то есть, лесбиянством довела. Следак, чёрт рытый, слова не знает, «липсиянки» пишет. Но знает, говнюк, что за липсиянство — срок. Вот я радости приняла! Со следствием ещё не отстали — в институте начался разбор полётов. И слава Богу! Просто слава Богу! Я так боялась потерять эту работу — как помешанная! Ещё бы: устраивали по знакомству и за взятку, такой институт, ля-ля, ба-ля-ля!.. А тут тебе в самый разгар липсиянства — Димик!

— А вы были знакомы? — спросила Надя с тем интересом, когда что-то из того, что ожидают услышать, готовы примерить на себя.

— Мы в одном гастрономе харч берём. Как-то стоим в очереди, я в хвосте, а перед ним — сопливый муж с сопливой женой. И что-то у них там слово за слово, и муж бац жену по роже! Наш Димик за шиворот его и под жопу с крыльца. И что бы вы думали? Суконка битая давай ему глазки строить! А я стою и думаю: шалишь, убогая, если кто и трахнет нынче этого добра молодца, так только я!

— То есть ты первая? — произнесла Наденька заострившимся голоском и опустила глаза.

— Можно подумать, что ты — вторая! Пусть они, конечно, остаются при мнении, что это они нас... Но по правде-то всё наоборот!

— И как у вас вышло? — съедаемая любопытством, впервые подала голос Валюшка.

— Крайне неудачно! Мы в гастрономе не купили бубликов.

— Заче-ем? — не уловила связи Валюшка.

— Затем, что когда слишком большой, народ надевает бублики.

Валюшка, вырвав у меня руку, шатнулась к Женьке, и вся наша бражка безжалостно по отношению к тахте заржала.

Один Тоха, словно отстав, запутавшись в своих мыслях, сказал с подозрением:

— Надеждыка, сознайся, кто кого в грех вводил! Ты меня?

— Вы... Сначала вы мне понравились. А потом не знаю, может, и я... Я...когда вы... я мало что соображаю...

Умасленный её признанием, Тоха, чтобы не дать слабины, ответил:

— Правильно вас пороли по пятницам! — и пересел на винтовой стул у клавесина.

Тронув наугад две-три клавиши, он отпустил пальцы, и клавесин вкрадчиво продребезжал что-то настолько знакомое, что все встрепенулись.

— Помню! — изумился он. — К выпускному готовил Баркарола. Как не со мной было... А он не врёт! — сказал об инструменте.

— Значит, не соврал настройщик, — удовлетворённо откликнулся Жека. — Я-то ни бельмеса... А ты лабаешь?

— Какое там! В музыкалку гоняли, оно в руках и засело.

— Анатолий Иванович! — взмолилась Надежда. — Ещё!

Тоха одним пробегом руки выдал что-то быстрое, спутавшее протяжные щипковые звуки, но складное, созвучное с чем-то в нас, и уже четыре женских голоса просили:

— А ещё? А?

Маруська змеючкой переползла Женьке на грудь, пролепетала:

— Знал бы ты, Женчик, как я западаю на мальчиков из приличных семей! Вы с Димкой всем взяли, но у вас на лбу написано: раклы! А он...

На старинный манер вздрагивая струнами, клавесин одну за одной выдёргивал нотки из танца маленьких лебедей, а Маришка нашёптывала:

— Какие у него брови!.. А волосы — настырные, тёмные, как у чилийца. Правда, Жень?

— Ты спрашиваешь как липсиянка голубца? Или как? — отозвался Женька, и она, падкая на ловкое словцо, игриво ткнула его кулачком под бивень нижнего ребра.

— Мальчишня! — объявила Мариша. — Хотите — я потанцую?

— Танец бесстыдницы! — заказал Толик.

— Заказ принят. Танец стыдливой девочки. Я исчезаю. А когда появлюсь — Толь, что-нибудь медленное!

— Да я ничего не знаю! Что в школе зубрили... — крикнул, чтобы она услышала в ванной.

— Вспомнишь, не маленький! — промычала она, что-то удерживая в зубах.

Не решаясь отвлекать Женьку, который, что-то нашёптывая,

сосредоточенно водил пальцем по юбке на ноге Любаши, Валюшка снова прислонилась ко мне. Я взял её руку, ладонка была влажной и беспокойной. Я хотел сказать, что здесь никого не обижают, но за приоткрытой дверью шёпот Мариши позвал:

— Маэстро!..

Толик заиграл вальс, написанный в память павшим, и она вошла, крепко стискивая в ладонях небольшие грудки. На ней были ажурные бордовые трусики, широкой полоской плотно обнимавшие её от бёдер и до пупка, и шлёпанцы из фетра, с десятков пар которых мы смастерили нарочно для этой квартиры — все по Жекиной ноге сорок восьмого размера. В зубах, как пират финку, она держала большой редкозубый гребешок с плоской ручкой.

Остановившись, посмотрела на что-то несуществующее, но расположенное в метре от неё, и стала разглядывать, склонив голову, любоваться. Когда, отпустив одну грудь, на которой остался розовый след от руки, она взяла гребень и провела им по волосам, стало понятно, что глядит она в зеркало и любит себя.

Хорошенькую разбитную Маруську я никогда не видел такой красивой. У неё были доверчивые, неподдельно кроткие глаза, воспалённый, будто от недавних слёз, хронически простуженный носик, пылающие щёчки и покрасневшая, словно от стыда, грудь.

Она причёсывалась перед придуманным зеркалом, ничуть не стараясь попадать движениями в музыку, но полностью сливаясь с ней. Отстранив гребень, она тряхнула волосами, так и эдак сделала губки, сравнила правую грудь с левой, глядящей немного круче вбок, и вдруг прыснула, обротясь в нормальную Маришку.

— Толичек, спасибо! — в шлёпанцах, как на лыжах, скользнула она к Тохе и склонилась, целуя. — Надь, давай бросим на пальцах, разыграем Тольку! Если чёт — твои верхки, а мои корешки, а если нечет — то наоборот!

В МОСКВУ, В МОСКВУ!

Веру Павловну поездкой соблазнил я.

— Представьте: окно в номере во всю стену, и за окном собор Василия Блаженного! Уговорите Ивана Мефодиевича, я покажу вам Москву, в которую влюбляются раз и навсегда!

— Но вы же по делу...

— Верочка Павловна, там накатано: приехали, взяли, свезли на вокзал и — гуляй!

— А гостиница? Кто нас пустит?

— С Женькой?! Встретят как дорогих гостей! Это целое представление, любо-дорого глянуть!

Иван Мефодиевич загорелся, как мальчишка. Необязательные расходы причиняли ему страдание. Проиграв после обеда у Саши три рубля в карты, он вынимал старушечий кошелёк в форме вареника, один в один такой же, как был когда-то у Кукиша, и, не открыв его, вдруг спрашивал о чём-то постороннем. И те, кому в игре повезло, хором подхватывали новую тему, пособничая шефу в увиливании от расчётов. Но тут он отрубил по-гусарски:

— Чур — за себя и за Веру плачу я!

Оживлённость улиц строила нас в пары. Вера Павловна с Жекой об руку оказывалась впереди, и я имел очередную возможность и удовольствие наблюдать, как Женькина наружность играет приметами его возраста в поддавки.

С несовершеннолетней Любашей его глаза становились глазами шкодливого сорванца, одолеваемого тягой к весёлым пакостям. И сразу окладистая борода и могучий лоб в толстокожих складках начинали казаться гримом, а тяжесть фигуры — чем-то таким, что делается при посредстве театральных толстинок. Будто само время, решив посвоевольничать, переводило стрелки, и его внешность начинала отставать лет на пятнадцать.

И с той же лёгкостью стрелки убегали в опережение. Приняв в изгиб локтя руку Веры Павловны, он обретал неспешную основательность в каждом жесте, осанка грузнела, бровь угрюмо повисала над правым глазом, ухмылка тоже кривила вправо, сообщая собеседнице умудрённость тёртого калача. Без единого видимого усилия и без осознанного намерения делать это, он, подчиняясь одному из своих инстинктов, перемещал себя встречь возрасту спутницы.

Но надо было видеть — и в этом заключалось самое увлекательное — что происходило со спутницами! Всякая из них с восторгом перепрыгивала излишне прожитые или недостающие года, чтобы глядеться с ним вровень, и я не помню ни одной его приятельницы, у которой бы это не получилось самым чудесным образом или которая избежала бы этого.

В походке Веры Павловны, устойчивой и твёрдой, вдруг замелькали игривые взбрыки, исполненные юной дурашливости. Она оборачивалась, словно в увлечении опасаясь потерять нас; глаза её сверкали, улыбка, доверчивая, как у девочки, спрашивала:

вам тоже хорошо? вам тоже весело?

Иван Мефодиевич рассеянно осматривал приметы города, о которых погромче, для всех, объявлял я, но сам только и ждал, когда ещё раз обернется её счастливое лицо. Задумчивая, направленная по преимуществу в себя, его просветлённость была отражением её улыбок и некоторой перемены, происшедшей в нём. Его занимали рассуждения, справедливость которых он истово перепроверял и чувством, и разумом. В нём не было горечи, которая всегда сопровождала расходование денег, а жаль было времени, которое ушло. Что им мешало съездить вот так же вместе и пять, и десять лет назад? Надо же — никогда не приходило в голову так просто взять и сделать её счастливой...

Следуя практике не принимать на веру первого впечатления и первой мысли, спустя полторы сотни шагов, он думал, что, пожалуй, и в поездках они не ушли бы от привычной обыкновенности, что для такого её настроения мало их двоих, что нужны люди, нужны эти хлопцы, хвастуны и всезнайки, которым в ответ на бесшабашность всё само идёт в руки и всё сходит с рук...

— Ну что он такое говорит! — воскликнула Вера Павловна, ища поддержки у нас. — Он говорит, что если выбирать, то лучше, когда любят тебя, чем когда любишь ты! А по мне лучше своей собственной влюблённости ничего и быть не может! И если во мне этого нет, то какое мне дело до кого-то? Иван Мефодич, хоть ты ему скажи!

Иван Мефодиевич выбрался из задумчивости, потом приподнял брови, ответил:

— В огороде бузина... Я — это я, а меня — это меня. Что вы сравниваете? Дмитрий, не так?

Поумничать против Женьки он подталкивал меня. Дорогой куда нас только ни заносило в этих пустяжных спорах... Вера Павловна брала по преимуществу мою сторону, стремясь уличить Жеку в неправоте с таким азартом, словно речь шла о чём-то личном и словно не доказать — значило проспорить корову.

Я не успел ответить: мы уже пристраивались к очереди на башню, а посторонних тема нашей полемики могла бы несколько озадачить.

Вскоре экскурсовод четвёртый раз на дню восхитился недостижимыми метрами и лихостью лифта, и гением конструктора, решившего то так, а это этак. Но из-за марева, размывшего город, он потерял главу, читаемую на смотровой площадке, и Вера

Павловна шипящим шёпотом вернулась к прежним несерьёзностям:

— Он заявляет: «Пусть бегают за мной!» Как это вам понравится: «Пусть!»

— Да, пусть бегают! — с категоричностью, в которой и пряталась ирония, отрезал Жека. — И нечего! — закончил, в упор глянув на неё, словно повелительная интонация последнего слова касалась её лично.

Вера Павловна, качнувшись назад от услышанной дерзости, энергично указала нам с Иваном Мефодиевичем на Женьку, заключив:

— Пуп земли!

— Дмитрий! — вторично толкнул меня в драку Иван Мефодиевич, а я, раззадоривая Веру Павловну, спросил:

— Вы считаете, он не имеет права так ставить вопрос? А почему? — и, копируя её жест, тоже указал на Женьку: — Природа, слава Богу, не обидела, сам тоже не оплошал...

— Но это же... Это предел эгоизма!

— Думаете? — с вопросом и просьбой задуматься заглянул я ей в глаза.

— Мефодич! — обратилась она к надёжнейшей из опор, но Иван Мефодиевич, угадывая, что я держу про запас что-то, против чего её горячность уйдёт в песок, взял её руку и, успокаивая, накрыл второй ладонью.

— А я думаю, что эгоизм того, кто зациклился на своей влюблённости, вреднее.

Вера Павловна послушно отдала и вторую руку, а меня спросила, слегка недоумевая:

— Почему?

— Потому что наша любовь редко бывает зрячей. А справедливой ещё реже. Возьмите меня к примеру. Первый раз я слетел с катушек в пятом классе. Я ничего не хотел от неё. Не имел и понятия, чего, собственно, хотеть. Только её внимания, ничего больше. А почему в неё? Как говорит мой тесть, все стояли, и я занял. За нею бегало полшколы. Не хватало только меня. По милости этой моей любви я отбыл отрочество, как срок. Что получал от старших по соплям — это уж как водится. Но пыжишься, лезешь к ней на глаза, и всё мимо, всё невпопад... Но это ладно, с этим я ещё готов согласиться: сам себе придумал Дульсинею — сам и расхлёбывай. Но рядышком, за одной со

мною партой, сидела девочка, которая любила меня. И мук приняла беденькая ничуть не меньше моего. Вы скажете, она тоже придумала себе меня и тоже расхлёбывала. Согласен. Но с чем я не могу согласиться, это с эгоизмом, который вы, Верочка Павловна, так превозносите: «Я люблю, я!» Быть бы хоть капельку скромнее, подумать, а нравлюсь ли кому, и разглядеть бы её...

— Ты рассказываешь, как про меня! — воскликнула Вера Павловна.

— И про меня, — сказал Иван Мефодиевич.

— Вот то-то и оно, что казус этот, можно сказать, всемирно-исторический! А что всего обиднее — девочка за моей партой была несравнимо лучше той. Во всём! Она не была егзой — да. А та только и брала заносчивостью и вертлявостью. Где были мои глаза — можете не спрашивать. Лисья мордочка, жиденский лисий хвостик и острые глазки. Всё! Что в ней вся школа находила — убейте, не знаю!

— О-о, так бывает! — заметила Вера Павловна.

— Да уж бывает! — признал и я. — А у моей — ореховая коса. Канат в спортзале с её косой сравнить — жиденская шворка. Но разве мы понимали — коса! Признак послушания, позорная метка... Тем более в сочетании с её кротостью. Ангельского овала личико и — кротость... Помню по касанию её локоток. Женственный до абсолюта... Простить себе не могу. Остолоп!

Позвали в ресторан. За круглым столиком на четверых со скромными порциями одинаковых у всех очень вкусных закусок Вера Павловна повторила:

— Так бывает. Так часто бывает.

— Да, да, — снова согласился я. — И это не что иное, как наказание нашего эгоизма. И поделом!

Помолчав, она ответила:

— У вас с Евгением всё не как у людей. Вот послушала — и сама засомневалась...

Последнюю зелёную горошинку из салата Жека ловко препроводил кончиком ножа на вилку и отправил в рот. Элегантная умеренность порций только злила в нём аппетит. Вера Павловна одну из своих тарелочек переставила ему. Жека кивнул, проурчав что-то благодарное, и его нож и вилка вновь пустились отплясывать складную кадрили.

Везде, где ему случалось принимать пищу, — в бытовке ли его динашной монополюшки, или в любом из множества углов, в разное

время служивших ему приютом, — везде для него хранили приличный набор из ножа и вилки и отдельное блюдо для ломтика хлеба под рукой. Даже в столовой завода, где в судке торчком стояли штампованные из алюминия гнутые черпачки и четырехзубцы, очарованные им стряпухи берегли отдельно для него в домашней салфетке ресторанные нож и вилку.

Каждым волоском ухоженных усов извещая о радости чревоугодия, он расправился с добавкой от Веры Павловны и с масляным огоньком в глазу, который возгорался в ответ на сытость, весело предложил:

— Димыч, ты расскажи, как заходил к ней после армии!

Подвижная часть пола, смещаясь вместе с нами и столиками, куда официанты в намеченное время подавали новые игрушечные порции вкуснятины, проделала три четверти круга из обещанных нам полных двух. За прозрачной стеной серело, город, который я мечтал показать отсюда, исчез.

— Заходил. В дембельском, что называется, запале. Со времени моего на неё помешательства прошло лет семь. Я помнил её лицо такими стоп-кадрами. Она сарафанила направо и налево, я ревновал дико, и во мне отпечаталось: вот она удивлена, вот она смеётся, разочаровалась, обижена... И на тебе — включается тот же фильмоскоп, те же кадрики, но только я вижу, что они заучены перед зеркалом. Я заливаю об армии, а она меняет на лице слайды. И крысится на мамашу. Та выглянет — и задёрнет штору, выглянет — и задёрнет. И видно, какие они обе отпетые злоки.

— Хочу уйти — нет. Торчим у неё под окнами полночи, а я ей до одного места. И я, и мои рассказы. Потом до меня дошло: она живёт теми своими успехами, которым я свидетель и один из потерпевших. Ей и тогда, и сейчас нужен не кто-то, а успехи.

— Зачем я к ней пошёл? Жил себе и жил бы дураком. Это же лучше, чем знать, что девочки, которую так любил, никогда не было на свете. Была пустая кривляка и заносчивая злочка.

— Выхожу из двора, а в подворотне — ба! — главный холуй из её свиты! Три года разницы, когда-то был ого-го, измывался надо мной как хотел, а теперь мыршавое такое, поганенькое... «Ты чё, говорю, не здороваешься?» А оно: «Пошёл ты!..» Я хватя его за нос, за самую бубку, хрен вырвешься, и вправо-влево, вверх-вниз!.. «Ты как ты, говорю, разговариваешь, скот!» И чувствую на душе, спасибо ему, гадёньшу, попускает...

— Это по-нашему! — одобрил Женька. — Учение с приговором

врачует нравы!

— А соседка по парте? — спросил Иван Мефодиевич.

— Да! — словно забыв было о самом важном, спохватилась Вера Павловна. — А она?

— С ней? Встретимся, здравствуй-здравствуй, что ещё скажешь... А у неё коса, коленки с ямочками, ямочки на локотках... И как в фате, она в этой своей кротости...

— Потом я встречал её с мужем. Теперь у неё дети, трое такие, мал мала. Она пополнела. Но ничего лишнего. Прибавилась чистейшей пробы женственность. Не будь она такой скромнягой, ей не давали бы проходу.

— И вот спрашивается: за что и ради чего я принял такие муки от первой, самой невинной, самой искренней любви? За что и ради чего устроил такую же муку чудесной девочке, души не чаявшей во мне? Чем была она хуже той? Тем, что любила меня?

— Да-а... — согласилась Вера Павловна. — Мы все так спрашиваем себя...

— А я вас утешу, — сказал Жека. — И вас, и его. За удавшуюся любовь мы расплачиваемся дороже и в долях: всё или больше платит тот, кто один или больше любит. Подумай, во что бы ей могло влететь ваше взаимное чувство, продлись оно класса до седьмого или восьмого... Подумал? Ну и поблагодари Бога, что отвёл.

ТУДА АБЫ КОГО НЕ ПУСКАЮТ!

Вернувшись, Вера Павловна созвала на обед у Саши приближённых. Её впечатления просились на люди.

Главный снабженец, побряхтывая, приволок оплетённую лозой бутылку вина — трофей молдавской командировки. У сдвинутых столов, покрытых полосами тиснёных обоев, которые из сохраняемых остатков жертвовал к торжественным случаям начальник стройгруппы, хозяйничали давние приятельницы Веры Павловны — подруги по учёбе и работе приёмщицами, которых она одну за одной рекомендовала в заведующие. Они походили на особой одной породы — были одинаково цветуще упитанны, одинаково энергичны, голосисты и в схожих дорогих и плохо сидящих платьях на выход. Вартанчиком, который чувствовал себя не в своей тарелке из-за нарядной яркой тенниски, праздничных светлых брюк и сшитых на заказ туфель цвета белой ночи, они помыкали, как самым безответным из своих

подчинённых.

На столы несли кто что горазд. Мы с Женькой, например, во время набега на гастроном и самовольный базарчик соблазнились копчёной скумбрией, крупные рыбины которой, как гильзы снарядов, сияли на лотке маслянистыми латунного цвета боками.

Великан Саша в одобрение нашего выбора с театральностью немного смачно проглотил слюнки и произнёс с натушной отчётливостью:

— Ням-ням! — указав на ведёрную кастрюлю, в которой, как нельзя кстати, заглавным блюдом остужалась и обсыхала картошка в мундире.

Но вот, узнав по теням на шторке ожидаемое руководство, он издал сигнальный гласный звук.

Распахнулась дверь, и на пороге возникла светловолосая юная женщина, чем-то очень похожая на Веру Павловну. С нижней ступеньки трёхшагового крылечка и потому откуда-то у неё из-под мышки опасно, но озоровато и с любопытством выглядывал пунцовый от смущения и возбуждённости Иван Мефодиевич.

— Оп-па! — скверно управляемым речевым аппаратом громко сартикулировал Саша, а Варган, независимо от него и с ним одновременно, выдохнул в потрясении:

— Туши свет!

Незнакомка обменялась с Женькой говорящими взглядами: её в смятении спросил — как, а? А его с заметным бахвальством покровительственно отозвался — ну, совсем же другое дело! — и все окончательно узнали Веру Павловну.

Светлые, как пух двухдневного утёнка, подстриженные её волосы падали вдоль лица, плавно подвитые вовнутрь у ключиц. Скрыв тяжёлые щёки, они делали вдвойне заметными игривую ямочку на подбородке, чёрные вразлёт брови и пугающие глубиной тёмные глаза.

Это было так хорошо, что у потрясённых подруг не нашлось слов. Лишь немного придя в себя, одна сказала:

— С тобою, мать, не соскучишься!..

А когда сели к столу, прибавила с откровенной угрозой:

— Не скажешь, где делала...

К чему вторая присовокупила:

— Вот именно!

Окрылённая признанием, Вера Павловна говорила о Москве, удивляя меня подробностями, которые там, мне казалось, проходили

мимо неё.

Ноготками с изысканным маникюром она очищала от кожуры картофелины для Ивана Мефодиевича, сидевшего слева, и для Женьки, посаженного ею справа. Не умолкая ни на миг, для Женьки, который терзал аппетитнейший кус скумбрии тёмной во впадинах вилок и впалым по брюху, точенным-переточенным столовым ножом, доставшимся Саше и складу в наследство от кладовщика, у которого Саша с юности работал грузчиком, Вера Павловна руками у себя в тарелке раскрыла, как книжицу, ломоть рыбы и, вынув пальцами часть чистой серединки, заботливо и осторожно скормила её Жеке, стараясь не затронуть пахучим соком его бороду и усы. Потом с выражением тепла, заботы и окончательной жизненной устроенности с той же материнской нежностью наделила рыбкой послушно открытый навстречу рот Ивана Мефодиевича.

Когда она моими словами говорила об окнах высотой и шириною во всю стену, о Спасской башне, о звуках курантов за окном, снабженец с горячим сочувствием и торопливо, чтобы подпеть в такт, поддакнул:

— Мне тоже приходилось в этой гостинице. Смотришь из номера — живая открытка к Новому году!

И Вера Павловна глазами девочки, вдруг узнавшей, что ей подарили не новую, а кем-то уже заигранную куклу, глянула на меня, на Ивана Мефодиевича, словно спрашивая, возможно ли такое, чтобы и он, вот он, — и тоже?..

Иван Мефодиевич с гадливостью покосился на снабженца, сказал:

— Туда абы кого не пускают!

ПРИВЁЛ ЕГО ТЫ...

Дней десять спустя неожиданно, на ночь глядя, ко мне приехал Женька. Не вошёл и на площадке говорить не стал. Мы спустились в общую дворовую беседку, там, по примеру новой молодёжи, сели на стол, ногами опираясь о скамью.

— Помнишь, грузинский учитель объяснял, какие люди от каких обезьян произошли? Имеем возможность убедиться, что армяне таки точно не от кого другого, а от «маленький гнусный макакасян»! Твой хвалёный Вартанчик решил открыть своему другу Ване глаза. Он ему сказал, что только он, Мефодиевич, не видит, что я кручу с его Верой! Как тебе такие новости?

Кончилось тем, чем не могло не закончиться.

— В этом же анекдоте, — с давно копившимся раздражением сказал я, — говорится, что русский человек произошёл от «большой глупый гаврила»!

— Не понял! — огрызнулся Женька, всё прекрасно понимая.

— Без Вартана сам он, конечно бы, не дозрел! — воскликнул я, давая волю сарказму. — А ты — ты мог один раз в жизни не влезать в шашни? Или я не говорил тебе: «Женя, не амурничай, Женя, держи дистанцию!» Скажи, я, убей, понять на могу, зачем она тебе была нужна? Какая тебе радость рисоваться перед старухами?

— А что я сделал? Что?! — заорал Жека. — Я обыкновенным человеческим образом поддерживал хорошие отношения! Полезные, между прочим, нам обоим!

— Поддержал? — в крик спросил и я. — Справился? Нам во всём был зелёный свет, зеленее не бывает! Чего тебе не хватало?

— А ты? Ты за каким дьяволом поволок нас в Москву?

Я хотел сказать, что в Москве или не в Москве было бы то же самое, что свинья грязь найдёт, но смолчал.

Женька раскурил сигарету, сказал, винась и ища понимания:

— Я не нарочно, оно как-то само... И больше с её стороны. А мне уже как на попятный двор? Ну, свозил её к парикмахерше, познакомил с Серёгой, который шьёт. Да мало ли кого я знакомил с Серёгой! И у нас... — открылся он, помявшись и понизив голос, — у нас ничего не было. Зуб даю. Единственно что — я рассказал, как Джульетта промывала мне волосы с яичным желтком. А она говорит — и я хочу помыть тебе голову. И всё!

— Всё? — съехидничал я. — Ну вот пойд и расскажи Мефодичу, что кроме «помыть голову» у вас ничего не было!

Женька вытянул из сигареты всё без остатка, щелчком отшвырнул хвостик фильтра.

— А я так себе думаю: в борщ мы ему не гадили и оправдываться нам перед ним не в чем. Будем жить, как жили. А пырхнет — пусть попробует. За него взяты хорошенько — с него только перья полетят!

— О-о, только этого не хватало!

— Вот! Вот так же и она! Я ей — чего ты, кто он такой? Давай его спихнём! Так она как шарахнется — как от сифилисного. И всё. Побежала к нему в ногах валяться. Тоже мне Дездемона!

— Тоже не то же, а некоторые под ручку выгуливали...

— Не надо, не надо! Ты точно так же распускал перед ней перья! Что из этого следует? Ровным счётом ничего! Я эту парочку с климактерическими кониками...

Чуть свет проснулся, разбуженный досадой. На себя, на Жеку. С той самой секунды, как я завёл его к ней в кабинет... По сути, с той самой секунды ему уже было не увернуться. Но началось раньше. Началом всех ожидаемых прелестей была моя мысль позвать его. Эх, как ему не терпелось поскорее всё поставить на свои места! Чтобы не он по Димкиной протекции пользовался доверием старших, а чтобы и Димка, и старшие почли бы за счастье состоять у него в услужении. Да, сказку о рыбаке учить бы первому тебе, Женчик, тебе самому! Когда посмеивался над Витей, хвастал: вы только меня впустите, а там и узнаете, что это значит «каждому по способностям»!

Впустили...

Ладно, сделанное сделано, дальше-то что? Мефодиевич за столько лет на фабрике малейшего никому не спустил. Чем и силён.

А Женька? Чтобы кто-то остался в благополучии, а его бы выпроводили? Да ни за что на свете! Сам полезет в бутылку и героически всех потащит за собой.

А я? А у меня, сколько ни мудри, нет выбора. Хочу или не хочу, а я с ним.

Телефон будто караул — задрезжал мне навстречу нетерпеливо, капризно.

— Ты на месте? — простужено сказала Вера Павловна. — Побудь, сейчас приеду.

В проборе её новой причёски темнели бурые корни, из глубины глаз, отсвечивая красным, мерцали воспалённые огоньки.

— Знаешь? — спросила она сорванным голосом.

— Знаю.

— Этот армяшка... вонючая вонючка... его на фабрике больше нет. И я упростила Мефодича дать Евгению тихо уйти. Побожилась, что мы с тобой сами... Что ты так смотришь? Привёл его ты...

Я не ответил, и Вера Павловна продолжала:

— При условии, что немедленно уйдёт, обещаю устроить его на место не хуже. В «Рембыттехнику» или на «Ювелирку». Чуть-чуть уляжется, Мефодич остынет, и я всё сделаю. Внуши ему, что

так будет лучше для всех!

— Верочка Павловна, мне обещать от вашего имени...

— Сама я уже говорила. А он в ответ посоветовал Мефодича устроить на «Ювелирку». Посмотреть — умнейший парень, а послушать — не все дома. Он почему-то уверен, что если мы собьёмся в кучу, то Мефодича выгонят, а нас назначат. Мы первые полетим дальше, чем видим. Чего наша партия на дух не переносит, так это, чтобы её снизу учили кадровой политике. И надо знать Ивана. Он и не таким, как мы, норовистым кольцо в нос вставлял! Аккурат перед тем, как ты пришёл учеником, объединили артель инвалидов с фабрикой ремонта. Артелью руководил Мефодич, а фабрикой — Герой Советского Союза, трижды заслуженный, четырёхжды орденосец! И где он, герой? И след простыл. Короче, крайний срок — завтрашнее утро. Не хочет сам — через тебя, но пусть подаст заявление. У нас с вами ещё вся жизнь впереди, а Мефодич вгорячах так может приложить — костей не соберём.

СОВЕТ В ФИЛЯХ

В беседке, ставшей ночным штабом, первым рвался в драку Толян.

— Что они без нас такое? Как нищие, сраные копейки с мастерских собирали, тянулись к плану! А когда при нас фабрика в заказах, как сыр в масле, можно губы копылить? Я такой же член партии, как и они! Если в райкоме разложить всё по полочкам...

— Давно ты «Объединение» раскладывал по полочкам?

— Не надо ему «Объединением» в глаза тыкать! — вступился за Тоху Женька. — Есть Мефодий, прыщ на заднице с липовой справкой за восемь классов, как у меня, и есть Тоха с партбилетом, образованием по профилю и результатами в цеху!

— Я понял. Отвечаю: никогда твоего Тоху не назначат, — поддел я их, всерьёз, конечно, не зарившихся на директорское кресло.

— Это почему же?

— Потому что он завтра начнёт раскладывать по полочкам тех, кто совершит на свою голову такую ошибку. Не быть вам, ребята, как тому капитану — майором, ни директорами, ни завами, ни начальниками цехов. Никем не быть.

— Во как! А тебе?

— О себе не знаю, со стороны виднее, а вам скажу: чтобы у

нас кем-то быть, надо быть под кем-то. А у вас на это фобия, болезнь.

— И что же делать?

— Не знаю. Это не лечится. У него второй заход, и посмотри, как тянет на рецидив. Ну, а ты в этом смысле рецидивист конченный, оглянись на послужной список.

— Да?

— Да.

— Ну, если мы неизлечимы, — нашёлся Женька, — значит, будем лечить страну!

— Во-во! Наколдуй!

Толик, как за ним водилось в спорах, вдруг перепрыгнул с Чёрного моря на Байкал:

— А почему это ты должен тянуть из него заявление? Что за новости?

— Ну как же! — с готовностью взялся разъяснить Женька. — А сравить? С понтом это не они — он меня спроваживает! Он-де жил, как у Христа за пазухой, а я нарисовался и — нате вам! Сравить, раздёргать и по одиночке... А это видели? — слепил он кукиш и поднёс небу. — Сами увольняйте! Попробуйте!

— Вот уж что-что, а это ими опробовано! — уверил я. — Присылают на проверку своих профсоюзных, находят левое и увольняют по статье.

— Да?! — с вызовом воскликнул Женька.

— Да, — сказал я. — И учитывая нашу материальную ответственность, это самый гуманный их ход. Со статейкой, как с клеймом на лбу, зато на свободе...

— Так что ты предлагаешь — сбежать и утереться?

— Это тоже вариант. И не самый глупый. Выбор такой: уйти тихо и утереться или уйти тихо, вывести себя из-под удара, а потом делать гадости.

Тоха потёр руки.

— Утречком, — выдохнул он шёпотом, идущим от сердца, — три заявы плёп на стол! Вот они забегают!

— Подожди с третей! — осадил его я. — Для них ты пока не при делах. Уйдём, влезем в драку, а жить на что?

— Тю! Шо мы, безрукие?

— А запастись? У тебя там колодок, кожи, меха — чего только нет в излишках! Почиститься, а заодно и кое-что подложить под задницу. Пока у воды — напиться. Сегодня плохие мы, ты ещё

хороший. Вот и вывезти без помех. Гвоздиков, клейку, ниток, подкладочки... Сам знаешь — сорок наименований.

— А поёт, что я, рецидивист! — у Женьки вдохновенно вздыбились вихры на отмытой Верой Павловной башке. — Чешет, как по писаному! Вот она, высшая школа!

Я говорил о продуманном до мелочей, в числе которых было и то, что поскольку сыр-бор из-за Женьки, первым сказать об уходе и о войне, которой не миновать, должен я.

— Нам тоже чистить и чистить. Одних змеек — мешками. С утра я повезу заявление — твоё и моё. И если выйдет, затею переговоры. А ты — к себе, считать. Тебя, в случае чего, накрывать поедут первого.

НЕ НАДО ИМЕТЬ МОЮ ЖЕНУ ПО ПРАЗДНИЧКАМ!

За день, который мне дала Вера Павловна, я ставил себя и на её, и на сторону Ивана Мефодиевича и пробовал представить, кем останусь в их глазах, как и в глазах ребят и девчонок, которых позвал в мастерскую. Но я не помню, думал ли о жене и сыне. Наверное, потому, что рядом с мыслью о них не было муки от грядущей стыдобы, неизбежной теперь, как ни поступи.

Верхним лежало моё заявление. Иван Мефодиевич начал с шапки, добросовестно прочёл полное название своей должности, свою фамилию, имя и отчество. Располагавшиеся ниже сведения обо мне при первом прочтении показались ему чем-то не тем, что нужно, и он вернулся к началу шапки, чтобы заново слово за словом прочесть её всю. Наконец, он понял, что это совсем не то, о чём меня просили, нахмурившись, хотел вернуть мне бумагу, когда заметил под ней второй лист.

Освоив оба заявления, он обратил ко мне пристальный взгляд. Прошло несколько тягучих секунд, прежде чем он спросил одним словом:

— Зачем?

Я развёл ладони, лежавшие на коленях, словно спрашивая: «А как иначе?»

Он вышел из-за стола, провернул ребристое колёсико замка на двери и отворил глухую створку книжного шкафа, куда припрятавались подносимые коньяки и конфеты. Дунув на пыль в застоявшихся стаканах, налил и взял из коробки подёрнутую от времени белёсым налётом конфету.

Мы выпили. Попробовав шоколад, он с подозрением поглядел на начинку и, будто на хранение, вернул надкушенное в выемку,

из которой брал.

— Я тебя помню по словам Сергея. За чаркой, за этим столом — пришёл, говорит, парнишка после отсидки, и на срочном старшие шушукуются, как меня обойти с процентами. А этот: «Какая-то честность должна же быть!»

Он налил, мы выпили, и его глаза, словно нарочно подобранные в цвет к седине, снова подкараулили мой взгляд.

— А я... а ко мне... Какая-то честность должна быть?.. Как он... Зачем?.. А?

— Вы ошибаетесь, — уверил я. — Там ничего не было. Вера Павловна такой человек... К ней все с симпатией... И я, и любой...

— Не надо! — перебил он. — Не надо иметь мою жену по праздничкам!

— Да ничего такого не было, Иван Мефодиевич!

— Я знаю! — огрызнулся он, поддев меня, как клыками, взглядом стальных глаз. — Я знаю, что было, чего не было! Она ему даром не нужна, ему вертеть ей, дурой охмурённой. И мной через неё. Ты заявление принёс — вот и видно: и тобой. Все под его дудку...

«Всё так, — подумал я. — Только не по его коварству или умыслу, а это и есть он, Женька. И тут уж или не быть с ним, или — под его дудку...»

— Не уговариваю. Решил — иди. Но добра не будет. И место твоё — тут. Человек звучит, когда попадает в своё. Веру я сразу услышал. И тебя. А он... Заметный, большой, а сорного корня. С ним, где бы ни пророс, — одно: выполоть. Или — беда. Как у меня...

Он вылил оставшееся из бутылки, поднялся за другой. Выпил свои полстакана, как воду; трезво и оттого беззащитно, как с болью, которую не взяло лекарство, спросил:

— За что мне? Такая беда...

Он махнул рукой, показывая, что не ждёт, не хочет моих слов, и снова налил, выпил своё двумя громкими, как икота, глотками.

— Про меня — такой он и сякой, а я за всю жизнь ни разу никого вот так, наотмашь, как вы меня...

— Сказать — смеяться станут, а я никогда не назначал — отдашь вот столько-то с мастерской. Сколько найдёт человек — спасибо. Ничего не найдёт, но людей не обижает, план вытягивает — работай. Во мне алчности нету. Думают, копейки из него не вытянешь — жадный. Я не жадный. У меня мама босиком топала по четыре часа в один конец на шлях в Пирытин продать яиц, по

копейчине собрать, справить что-то мне, байстрюку, на ноги. Её давно нет, а я не могу рублём швырнуться, всё кажется, узнает и будет плакать.

Горячей сухой ладонью он тронул мою руку:

— Не говори, я знаю, зла у тебя нет, ты каменюку в пазуху не заховаешь.

Мы пили, сладкая до тошноты начинка вязла в горле. Я сунул брови, в фокус собирая зрение, стараясь не поддаться спиртному, а он был трезв, лишь изредка язык спотыкался о путаное слово, и ещё эта фраза, всё будто бы не к месту, но всякий раз о том же:

— Не надо, не надо иметь мою жену по праздничкам!

Он не хотел моих слов, идущих, как сквозь цензуру, через опасение сказать лишнее, но выговорить своё его тянуло неодолимо.

— У меня детей не может и не будет. Этих вот, которые с хвостиком, железа даёт, но мёртвых. Бабы, было время, цвели от счастья: дрюкайся и ничего не бойся, а я знал о себе, что инвалид. В артели хроменькие, гнутые — моё увечье горше. В артели мне и присватали... Ей по костной хворобе не родить — равного к равному, один другому своей немощью жизни не заест. Честно. А после с поясницей, с ногами у неё хуже, хуже. То с трудом кое-как по дому, а там и вовсе слегла. Одна Вера знает, и ты не разнеси — дома я всё сам. Готовка, прибраться, стирать... за ней вынести, подмыть... В четыре встаю, мне привычно. И нервам полезней. Управлюсь и пешком через весь город — сюда. Пока пройдуся, во мне, что от неё наслушался, осядет, и уж по людям не отыгрывает. Несчастнее лежачего не найти, но и злее — тоже поискать. И не уйдёшь. Как бросить? Какая-то честность должна быть...

— Давай за честность!

Вышло легко — рот притерпелся ко вкусу и крепости. Промылся клейкий комок начинки в том месте, трогая которое, выкликают рвоту. Больше я не зажёвывал конфетами, а только шил вместе с ним и слушал. В пьяной, настроенной на одно — не брякнуть лишнего — голове занозой сидело ещё и — запомнить, как и что он говорит. Ведь мне его слова и он нужны ещё и для того, что непременно напишу когда-нибудь об этом.

— Тебе не понять, года не те... но скажу. Потом ты вспомнишь, после. Потом поймёшь. Вера у меня последняя. Никого уже не захочу, ни с кем не затеюся. У неё муж, дочка. Всё знают. Дочка

— уже как будто и моя. Для меня — совсем моя, роднее родной. Вере... она винится... жутко обидно, а прощу. Не могу не простить, любое прощу, без неё — могила. А он... ты его не держись. Он про честность не умеет вспоминать, и люди его ещё поучат... Давай ещё по одной. За то, чтобы ты завтра сказал. Проспишься, утро вечера мудренее.

— У меня, Иван Мефодиевич, мудрость тут не прикладывается. Ни с какой стороны. Тут... тут нет у меня выбора. Ухожу.

А МОЖНО МНЕ С ВАМИ?

Вначале возникли звуки и что-то пронзительно знакомое в них. Я стонал, нота в ноту повторяя похмельный стон отца, тяжело страдавшего после ночных братаний и лихости. Затем, вслед за сознанием, пожаловали и симптомы.

По дороге на работу меня укачало в такси. Маруся, испугавшись моей бледности, едва не вызвала «скорую», а узнав причину, насильно заставила похмелиться.

Известия сарафанного радио уже оповестили мастерскую о моём и Женькином заявлении, и показаться в цеху мне было ещё труднее, чем выпить водку, раздобытую у ребят Маришей.

— Марусь, поможешь? — сказал я, начиная приходить в себя.
— Надо подбить по нарядам, какой у нас должен быть остаток змеек.

Чекрыжа собранные в стопы наряды, она говорила:

— Уйдёте? А Толянч?

— А он тут с какого боку? — спросил я, обескураженный тем, как легко читаются наши планы.

— Он найдёт с какого! — уверила она и спросила: — А можно мне с вами?

— Марусь, куда?

— Без разницы. Вы большие рыбки, и мне, маленькой, рядышком плавать...

— Мы, скорее всего, сядем пока по-тихому лепить новое.

— Я так примерно и подумала. У дураков мысли сходятся. А меня бы — по набору заказов. У меня в НИИ девок знакомых — толпы. И все хотят выпендриться, что-нибудь этакое поиметь на свои ножулики-красотулики.

— А если не дадут мирно уйти?

— Тогда — патроны подносить! — сказала она беспечно и послала мне чистейший взгляд девственницы, в кристальной

прозрачности которого и таился юмор.

НЕ СПИТЕ?

Половины дня и ночи мне хватило на то, чтобы провести сверку и всю барышевскую и излишки московской змейки сплавить приятно в гараж. Ранним утром, тихим и разомлевшим, какими бывают дети спросонок, я, уже совсем отпущенный хворью и подкрепляемый тем, что управился, бодрячком взбежал по лестнице своего подъезда. Дверь квартиры сама открылась навстречу — жена с ребёнком на руках встречала меня.

Мальчуганище улыбался от уха до уха, руками тянулся на руки. Но глаза у него поблёскивали лампадными огоньками, как при высокой температуре.

Я взял его, мы сделали лбами приветственное бушки-бушки. Лобик был хороший, прохладный.

Жена повеселела, глядя на нас, отчего немного скрасились широкие тени вокруг глаз.

— Не спите?

— А мы тоже только-только приехали, — сказала она обыденно и повернула в сторону кухни.

— То есть?

— Расскажу. Ты есть хочешь?

— Пока шёл — хотел.

С пацанёнком на руках я сидел у кухонного стола, слушал. Приехали трое. Водитель — по совместительству пособник во всех делах и делишках, он же дежурный понятой. Желторотый следователь Мальков, заносчивый, как все коротышки. И с ними...

— ?

— Верлиока!

— То-от?

— Тот, тот.

— Так он теперь при органах? Наши в гору идут...

— Злые ворвались, как собаки. Веришь — бешеные. Я так понимаю, Женька наговорил им комплиментов: они у него первого были с обыском и забрали. А у нас... В комнаты войти нельзя, всё вверх дном. Я — мол, а санкция? Как об стенку горохом! «Предъявляй ценности! Предъявляй деньги!» Я достаю наши пятьсот рублей, свои ещё из кошелька. «Что-о?! Так ты издеваться!»

— Швырнули деньги на пол. «Собирайся, — кричат, — поедешь с нами!»

— Я — как с вами, куда с вами? А ребёнок? «Ребёнка сдадим в приёмник. Вас таких хватает — детьми прикрываться!»

— Ой, как я испугалась! Всё из головы вон! Одно — бухнуться перед ними на колени. Слышу слёзы текут, а не понимаю, что плачу. Я, говорю, вас умоляю, ребёнка, говорю, давайте оставим у мамы! «Ах, у мамы? Хорошо!» И — к маме. И давай там всё перерывать! Я — как вы можете, где документы, где понятые? А они маме: «Вы хотите, чтобы мы пригласили сюда соседей?» Мама: «Боже сохрани! Делайте, что хотите!»

— Да-а, — выдохнул я.

— Да, — согласилась она. — Потом приехали к ним. Там начинают ласково: «Ты, мол, видишь в нас врагов, а напрасно. Мы, мол, как это ни странно, на твоей стороне и на стороне твоего дурака мужа. И ты сейчас единственный человек, который может спасти его от расстрела».

Я постарался фыркнуть как можно беспечнее:

— Больше их слушай! Известные штучки!

— Я знаю про их штучки, но когда он открывает кодекс и даёт читать статью...

— А это ещё один их фокус!

— Да-да. Только там чёрным по белому: от такой-то суммы вплоть до высшей меры... И я знаю, что ты за один присест получал из кассы раз в десять больше этой суммы!

— Здра-авствуйте! Получал и украл не одно и то же. Да, получил, и купил товар, и отчитался, сдал на склад. При чём тут какие-то статьи, какие-то расстрелы?

У неё предслёзно сморщился подбородок. Удерживая голос, она прокричала фистулой:

— Откуда я знаю — отчитывался ты, не отчитывался!

— Да какой же дурак так делает? Бумаги — святое!

— Ты не дурак! Но вот как раз такие умные, как ты, такое могут вытворить!.. И откуда я знаю, что им вздумается выкрутить из всех этих твоих получений и покупок? Ну откуда мне знать! И нашёптывают с двух сторон: «Спасай! Сам он из ложного понимания дружбы и порядочности ничего не скажет, а ведь это тот, бородатый, всё придумал и твоего подвёл под монастырь! Ведь бородатый денег не получал, с него как с гуся вода! А вот твой — он в двух шагах от смертного приговора. Если не раскаяние, если ты ему не поможешь...» Я — господи, да с дорогой душой, но как, как помочь? «Рассказывай всё, что знаешь. Где они

брали ворованное, какие суммы утаивали? Где прячут деньги?» Я им — вы же опытные люди, вы были у нас дома. Неужели по нашему жилью не видно, что я понятия не имею ни о каких спрятанных деньгах? А Мальков кивает жалостливо: «Как он тебя содержит, мы видели. Вот видела бы ты, как он содержит любовниц!» И у меня, спасибо ему, как камень с души! Ни черта у тебя нет, думаю, если ты, мужик, до такой подлости опускаешься! Ни черта! Знаете, говорю, мой муж ещё не в том возрасте, чтобы кого-то содержать. А если, говорю, его, кроме меня, ещё кто-то любит, то я только рада.

— Смотрю, они, как два сыча надутых, переглянулись и сквозь зубы: «Что ж, мы для твоей семьи, что могли, сделали. Сами себя спасти не хотите — дело ваше. Он уже арестован, с настоящей минуты берём под арест и тебя». Я думаю — как это, за что? А говорю — а ребёнок? «Ребёнок? Ты что, не понимаешь, дура, что сейчас сама добровольно отказалась от него? Мужа у тебя уже нет, а от свободы и от ребёнка сама отказываешься!» И — дежурного. И меня — в кутузку.

— Мамочки, вот где пытка! Никогда не знала, что нет ничего страшней, чем свои собственные мысли! Если бы у них в одном месте не свербело и не дёргали бы меня среди ночи, не знаю, до чего бы и додумалась...

— Под утро вызывают, оба уже пьяные. Сопляк этот еле языком ворочает. «Какая-то, — говорит, — ты бесчувственная. Другие, заботясь о семье, намекают на отношения, предлагают нежность...» Знаешь что, скот, говорю, я тебе сейчас рожу обдеру, а днём будешь у прокурора! А Верлиока: «Ну и напрасно. Тебе теперь долго мужиков не видать, так было бы, что вспомнить!..»

— Внизу дежурному, который отводил, я говорю — вызовите начальника. Немедленно вызовите, иначе будете отвечать вместе с ними! Он на меня так посмотрел, а наверное, я так выглядела, что говорит: «Подождите, попробую позвонить». Не знаю, звонил, нет, но тихо пришёл, выпустил. Вот сижу жду. Протрезвеют — приедут снова.

— Не приедут. Я сам к ним сейчас.

— Са-ам?!

— А что — лучше сидеть и трястись?

Она согласилась — не лучше. Но и что к ним — тоже никак не была согласна.

— Что-то сделать, порядок навести, пока есть время...

— Где мог — навёл. Что же я всю ночь... пока ты меня прикрывала...

— Нет, подожди!

— Жду.

— Нет, давай спокойно сообразим. Во-первых, выпей чай.

Я выпил.

— Теперь побрейся, прими душ.

Принял. Оделся. Она придумывала, чем бы ещё неотложным занять меня дома — не находила.

— Хорошо, — сказала наконец, — иди. Но только обещаю, что пойдёшь пешком!

Я приподнял брови.

— Да, да. Очень прошу! Спокойненько пройдишь, подумай. Вгорячах тебе наломать дров...

Я дал согласие. Но отправился на своих двоих только потому, что она смотрела в окно.

ПОСЛУШАЙТЕ ЛЮБЯЩУЮ ВАС ЖЕНЩИНУ

А теперь говорю собратьям-мужикам: послушайте любящую вас женщину и сделайте, как она велит.

Я пил чай, ускоренным лагерным манером мылся под душем, придумывая, как узнать заранее, что на месте они оба, и как потом успеть обоим им съездить по роже. Пусть только по разу. Но от души!

Потом возник и показался более предпочтительным другой план. Не разбрасываться. Сосредоточившись на одном, можно успеть больше. У Верлиоки нет оружия, поэтому калечить надо Малькова. Уложить его на пол дело одной секунды. После чего вмешательство посторонних — и это проверено неоднократно — долгая и мало полезная жертве суета. Тебя отгаскивают или пинают ногами — раз тебя, а раз того, кого ты давишь. Или тузят в спину кулаками. Возни этой, как правило, даже не чувствуешь, и если заранее наметить цель, со стороны не помешают.

Цель! Что лучше: сломать нос? вывернуть наизнанку локтевой сустав? Или... Сделать гоголь-моголь из его яиц! Да! Да! И пусть он потом описывает во всех бумажках, как его поуродовали и за что!

Нет слов, способных выразить, как мне понравился этот замысел! Я не хотел и не мог думать ни о чём, кроме деталей, связанных с его осуществлением. И о выражениях, в которых расскажу и

опишу, за что поквитался.

Но мало-помалу начинали проявлять себя преимущества пешего хода: наличие времени и располагающая к здоровым размышлениям работа ног. Подкалечить оборзевшего ментёнка — задача исключительно благородная. Но. Но! Во-первых, окончательно развязываешь им руки и фактически просто обяжешь искалечить и тебя. И уж у них на это времени будет немеряно. Пока не надоест. Во-вторых, нападение — готовое дело и обеспеченный (конца-края не видать) срок. Они глумятся безнаказанно, а ты за минутную месть расплатишься всей жизнью.

А ведь всё так просто: они преступники, и надо доказывать, что они преступники. Чтобы они своими жизнями рассчитались за свои преступления, своими, а не твоей.

Правильно. Правильно! Куда? К их начальству? Смешно. Надзирает прокуратура... Повязаны, одна шайка-лейка. Партия! Партия всех их — на поводке! Пар-ти-я!

450-

Булку взять и пойти на Орлик,
И кормить там озябших уток,
И смотреть, как сметает дворник
С тротуара остатки суток.

Ощущая всем телом свежесть,
Перейти пешеходный мостик,
Там в раскрытой ладони держит
Город стелу большого роста.

Испытать ненароком гордость
Пред величием обелиска.
И почувствовать — этот город
Стал давно мне родным и близким.

* * *

Пропах черёмухой весь город на Оке,
Стих ветерок и гомон птичьей стаи,
И, замирая где-то вдалеке,
Последний звук как будто бы растаял.

Ты приходи со мной послушать тишину,
Отдать реке настигшую усталость.
Здесь, над Окой, в минувшую войну
На тыщу лет вперёд нагрохоталось.

Орёл! Мне улочек знакомых
Неброский нравится уют,
Меня здесь ждут, и здесь я дома,
Здесь песни русские поют.

Давай с тобой мы помолчим, и в тишине
Помолимся сегодня о России,
И скажем «Нет» крадущейся войне,
И скажем «Да» Оке небесно-синей.

Пусть над Орлом всегда струится мирный свет,
Пусть будет тишиной Ока объята,
Ведь ничего, поверь мне, лучше нет
Над речкою горящего заката.

* * *

*В сентябре 1941 года в Медведевском лесу были
расстреляны 157 заключённых Орловской тюрьмы.
Накануне освобождения Орла в 1943 году в
Медведевском лесу оккупантами было уничтожено более 350
мирных жителей и военнопленных*

За улицей Рощинской города нет —
Медведевский лес распластал свои крылья.
Под сенью берёз молодой бересклет
Слегка припорошен дорожною пылью.

Иду по тропинке и сосны встают
По левую руку сплошным частоколом,
Берёзовой рощи прозрачный уют
Сменяется мраком густым и тяжёлым.

И чудится будто бы сам Берендей
Стоит за огромной и хмурой сосною
И чары наводит на пришлых людей,
Окутав их старою тайной лесною.

И войско его из погибших в лесу
За деревом каждым сокрыто до срока,
А сосны могучие вахту несут,
Дозором стоят молчаливо и строго.

Лишь дятел уныло стучит и стучит —
Ведёт поминальную службу о ком-то,

А воздух тягучий немного горчит —
Не раз проходила здесь линия фронта.

И эта земля становилась не раз
Последним пристанищем многих и многих,
Без пышных прощаний и вычурных фраз
Они уходили своею дорогой.

Обилие разных житейских дорог
Здесь стало невольно дорогой одною.
Где правда, где вымысел — пусть судит Бог.
За всех помолюсь перед старой сосною.

А завтра над лесом лиловый рассвет
Смешает в палитре легенды и были.
За улицей Рощинской города нет —
Медведевский лес распластал свои крылья.

Песнь о городе Орле

Между Орликом и Окой
Время с собой встречается.
Охраняя души покой,
Словно в люльке оно качается.

И скользит островком в воде,
В небе бездонном — облаком.
Забываю здесь кто я, где,
В глубине потерявшись обликом.

Плыть готовится струг. Вот-вот
Брызнет весло водичею.
Провожая дружка в поход
Краснощёкою молодичей я.

Где та Астрахань? Где Ростов?
Вдруг полыхнут свирепостью?
Как из семечка вверх росток,
Вырастал здесь Орёл из крепости.

Он в плечах раздавался вширь,
Удаль тая и молодость.
Постепенно России щит
Становился торговым городом.

И всё больше из года в год
Храмов курилось ладаном.
Умножался в Орле народ,
Оседая вокруг посадами.

Загадаю — и милый друг,
Может, вернётся к Троице,
На горе за рекою сруб
Основательный будет строиться.

А к Покрову итог труда
Дверь распахнёт не узкую,
Я хозяйкой войду туда
Под свирели и песню русскую.

На Орёл из окна взгляну:
Там, возвышаясь, плавает
В кучевых облаков плену
Колоколенка златоглавая.

Разноликих вестей гонцы
Звоном округу меряют,
И несётся во все концы:
Русь красна православной верою!

Но за годом стремится год...
Век — лишь момент в истории.
Закипевший гневом народ
Вдруг дорогой пошёл нетореной.

И на брата восставший брат
Жертвою стал невольною.
Кто здесь прав, а кто виноват
Только Богу судить дозволено.

Да вот с Богом — борьба. А суд —
Скорый и человеческий.
И сметает души сосуд,
Как пылинку, с одежды вечности.

И сметает с лица Орла
Храмы великолепные.
Разбиваясь, колокола
Голоса подают запретные.

Наступает мятежный век
Пяткой на горло прошлому.
Созидается человек
С верой в будущее хорошее.

За собою зовёт звезда
В завтра цитатой меткою,
И мелькают в Орле года —
Пятилетка за пятилеткою.

Отправляются для вождя
Срочно в столицу сведенья,
Что растут, как после дождя,
И Текмаш и завод Медведева.

Что Орловщина может стать
Житницей всесоюзною.
А Орлу надлежит взлетать
Ввысь творениями искусными.

Дел великих невпроворот,
Лучшее — не фантастика.
Но стучит сорок первый год
В дверь свинцовой фашистской свастикой.

Нет пока что глубоких ран,
Сонно трамваи шурятся...
Вдруг вонзает Гудериан
В город сходу паучьи щупальца.

И два года, как целый век,
Тянутся нескончаемо.
На разрыве иссохших вен
Город бьётся в тисках отчаянно.

А потом над Москвой салют
Небо взрывает радостью.
И сердца в унисон поют,
Замирая от счастья сладостно.

Но до счастья ещё — Ой-ой!..
Взрывами жизнь оскалена.
Начинается новый бой,
Бой с разрухой, войной оставленной.

Засучив рукава, Орёл
Сам себя строит заново,
Чтобы мир, словно сад, расцвел
Снова Марьями да Иванами.

Время быстрое, как вода,
В точке единой сходится.
Верю истоково — никогда
Не бросает Русь Богородица.

И мерцает её покров
Жизни гранями светлыми.
Пища здесь моя, здесь мой кров,
И любовь моя — песнь рассветная.

Пусть Россия идёт вперёд
Часто тропами узкими,
Пятый век над Окой растёт
Русский город с корнями русскими.

* * *

Над Ла-Маншем тучи стаей,
Дождь промозглый моросит,
И в тумане зыбком тает
След доверчивой Руси.

Распахнулась, побежала
С верой в правду и любовь,
На отравленное жало
В темноте наткнулась вновь.

Пошатнулась, устояла,
Ураганный ветер лют.
Оглянулась — бед немало
Православный вынес лют.

То ли стон, то ли молитва
Сорвались в глухом бреду.
Титаническая битва
Где, когда, в каком году

Я искал его давно и очень долго, чтобы уничтожить, убить. Все пылало во мне праведным гневом и ненавистью к нему, неизвестному и безымянному. Он украл у меня Ее: мечту, счастье, саму жизнь.

Я выследил его у её дома и напал. Я наносил ему удар за ударом, но он почему-то не умирал. А когда неожиданно вспыхнул фонарь на столбе, я с ужасом обнаружил, что это не он, а... Она. Хрупкое, изящное и очаровательное создание. Но я уже не мог остановиться. А Она, прикрыв мокрое от слез лицо ладонками, умоляюще посмотрела на меня синими, почти ультрамариновыми глазами, попросила:

- Прошу тебя, не убивай! Слышишь!
- Кто ты такая?
- Я твоя любовь.
- Кто? Любовь? Вот тебя мне и надо...
- Я не хочу умирать!
- Нет! Ты умрешь прямо сейчас!
- А-а-а-а!!
- Так будет лучше...
- Для кого?
- Для нас обоих...
- Нет! Я хочу умереть вместе с тобой.

В следующий миг я разглядел ее окончательно. Она была хрупкой, очаровательной, как и мое Райчо, но все же — это была не она, хоть и очень похожая.

— Что я делаю?! — неожиданно воскликнул я, опуская руку, и... проснулся.

— Вот это сон. К чему бы он?

Было далеко за полночь. Сон, как говорится, в руку, ведь я действительно хочу убить свою любовь к Рае.

При этой мысли неприятный холодок прошелся за плечами, коснулся сердца. На душе было жутко и мерзко.

... С тех пор, как ушла Рая, прошло три месяца. За это время я разучился самостоятельно засыпать, а если все же ненадолго и проваливаюсь в липкие объятия морфея, как вот сегодня, то через два-три часа просыпаюсь и уже не смыкаю глаз до самого утра.

Мысли, мысли и опять мысли не дают мне покоя, не позволяют уснуть.

Почему это произошло со мной?

Я прошу, молю Бога, обещаю служить ему верой и правдой, всем, чем могу и имею. Но мои молитвы пока остаются без ответа. Сегодня, скорее всего, опять будет бессонная ночь.

Когда же я, наконец, разберусь во всем? И надо ли разбираться? Может, проще забыть все?

Но забыть — не получается. Я уже пробовал.

К тому же еще этот странный сон. Что бы он мог значить?

... Для меня теперь все от первого и до последнего дня, от той роковой встречи, осталось лишь в сладких и мучительных воспоминаниях. Теперь каждый вечер я погружаюсь в них, будто в теплую речную воду или песок. Я не выбираю их. Они сами приходят ко мне, пленяют мое сердце, душу, и с этим ничего нельзя сделать, потому, что в тех воспоминаниях... Она. Ее улыбка, Ее голос, Ее дыхание, лицо. Я любил в ней все: от кончиков мизинцев до мочек ушей и игривых волос.

Она мое отражение, боль, биение моего сердца.

На улице приходится встречать семнадцати-девятнадцатилетних. На кого не посмотрю — и все не то. Райчо лучше их.

Был в жизни Раи (она на то время еще не было Райчо, а просто Раей) один случай, который перевернул ее душу, глубоко запал в детское сердце, отразившись на всей ее последующей жизни, поступках, породив множество неадекватных привычек и комплексов.

Где-то в пять лет она нашла на мусорнике вблизи дома маленькую, кем-то брошенную на произвол судьбы грязную в репях кошечку. Белая с черными пятнами шерсть на ней была невероятно лохмата и имела достаточно непривлекательный вид. Но привыкшая к своему положению пасынка судьбы, она уже даже не мяукала.

Рая обобрала на Мурке (так она назвала кошечку) репей, почистила пучком травы лохматую чумазую шерсть, после чего принесла котенка домой, и никакие уговоры и возражения матери

и бабушки не могли вынудить ее отнести котенка назад, на мусорник.

— Если вы выбросите котенка на мусорник, я уйду вместе с ним!

Рая плакала кричала, проявляла несвойственное ей упрямство и, в конце концов, победила. Мать и бабушка временно отступили. Но хорошо зная их коварство, Рая всю ночь наспала, притискивая теплый и от того еще более родной клубочек к взволнованной груди.

Теперь все время она проводила вместе с котенком. Рая чистила его, расчесывала, поила парным молоком. В присутствии бабушки Рая прикладывала к носу кошечки целлофан, чтобы не ругали, и через него целовала свою любимицу. А затем, оставшись с Муркой наедине, снимала тот целлофан и целовала зеленые глаза, нос, губы. Ласкала, гладила теперь уже блестящую шерсть, обнимала.

Пытаясь оправдать обнаруженное к ней доверие, понимая, что Рае не просто было ее отстоять, Мурка отвечала ей взаимностью. Она безукоризненно вела себя и так же, тщательным образом, старательно пыталась выполнять свои кошачьи обязанности.

Едва ли не каждый день, чтобы видели хозяева, какая она искусница, Мурка десятками ловила мышей и аккуратно складывая, оставляла их на дорожке, что вела из дому в летнюю кухню.

Чтобы ни делала Рая, то ли она пасла гусей, то ли гоняла на пастбище корову, она всегда брала с собой Мурку.

Окрыленная такой щедрой любовью, Мурка чувствовала себя хозяйкой не только в доме, но и во дворе. Подружившись с псом Тарзаном она часто и спала в собачьей будке, а Тарзан возле будки. А когда шел дождь и на улице было не уютно и холодно, Мурка залезала под него, или же взбиралась ему на голову и таким образом согревалась его щедрым собачьим теплом.

А когда Рая подросла и стала ходить в школу, Мурка и в снег, и в холод, в дождь и в ненастье каждый день провожала ее в школу.

Когда по окончании уроков Рая выбегала на улицу, Мурка уже сидела у ворот, ожидала ее. За десять школьных лет не было ни одного дня, чтобы Мурка опоздала или не пришла. Повзрослев, но еще не став взрослой, Рая почему-то стыдясь своего детства, не раз прогоняла ее, но Мурка всегда бежала следом в трех шагах от нее.

В дождь и в ветер, невзирая на запреты, перепрыгивая через

небольшие лужи и обходя, а то и оббегая большие, выдерживая (чтобы не надоедать) нужную дистанцию, как будто боясь, что таким образом может навредить репутации Раи, Мурка бежала следом за ней.

А когда по окончании десятилетки Рая уехала из родных мест, Мурка загрустила.

Теперь каждый день в дождь, ветер, метель и пургу Мурка пробиралась за ворота, усаживалась возле калитки, сидела, выглядывая свою спасительницу из далеких краев.

Но ее все не было и не было.

В последнее время Мурка уже не ночевала в доме, потому, что здесь все напоминало ей о Рае.

И вот через год с небольшим она, наконец, дождалась своей покровительницы.

А когда через короткий промежуток времени Рая снова оставила Мурку, она поняла: она уже не любит ее. У нее появился кто-то другой. А может, никогда и не любила. Просто было детское увлечение, которое прошло.

В одну из жутких метелей, переросшей затем в буран, не в состоянии справиться с изменой, Мурка поднялась на ноги и пошла в неизведанные миры искать Раю.

Навстречу колючему снегу и ветру ее подгоняла Любовь, которая приходит лишь к преданным, и только раз в жизни.

Может, от воспоминаний об этом в длинные зимние ночи и рождаются стихи. В самом начале, вверху листа я ставлю аббревиатуру из двух букв: Р. Б., что означает: Раиса Бухмиллер.

Откуда такая странная фамилия?

Дед Раи, Яков, по происхождению немец, в первую мировую войну угодил в плен, остался в России. Прижился. Будучи чистокровным, трудолюбивым немцем, он очень любил порядок, а потому не удивительно, что после коллективизации, в далекой Кустанайской области его избрали председателем колхоза.

А еще Яков страстно любил лошадей, и, в конце концов, погиб от удара копытом своего любимца, донского рысака. И эта непостижимая, меченая смертью любовь, на генетическом уровне, видно, передалась внукам и правнукам. Брат Раи, дедов внук, со временем стал директором одного из крупнейших в Казахстане конезаводов (впрочем, казахи, кому зря, ходить и ухаживать за лошадьми не позволят), а Вероника, внучка Раи, на вопрос бабушки, какую бы игрушку она хотела иметь, отвечала кратко и

определенно:

— Хочу лошадь!

— У тебя весь чердак забит лошадьми... экипажами да каретами. И ни одной куклы... Давай, куклу купим?

— Не хочу! Купи лошадь! Нет! Давай, лучше ты будешь моей лошадкой...

Потом было Поволжье.

Впоследствии, в 40-ые, состарившийся Бухмиллер перебрался вместе с семьей (он, жена и три дочки), из далекого Поволжья на Украину, в Бахмач, на супружнину родину, где и застала их Великая Отечественная война.

В январе 1941 года старшая дочь Ольга, мать Раи, вышла замуж, и в 1942, в разгар массового отправления советской молодежи на работы в Германию, ходила беременной первенцем.

Чтобы избежать очередной вербовки и неминуемого отправления на этническую родину, Олю по совету добрых людей спрятали на заполненной благоухающим сеном крыше чужого дома. Но упорный бандера-щуцман выследил мать Оли, Евдокию, которая утром и вечером, а иногда и в обед приносила дочери поесть.

Злые на молодую беременную Олю, которая открыто игнорирует установленный новой властью ордунд (порядок), не желает изведать немецкого рая и счастья, которые, по всему виду, незаслуженно выпали на ее судьбу, не ведая того, что по происхождению она немка, бандеровские шуцманы вдоль и поперек, снизу и сверху прошпарили вилами двойчатками сено, тщательным образом вкось, прямо и вкривь, прошли ими его, ища непокорную беглянку.

Боясь пошевелиться, выдать себя, Оля лежала, и время от времени непроизвольно сжималась в комок, чувствуя как отполированные до блеска зубья шелестят где-то совсем рядом, почти касаясь ее тела, головы, приближаясь к глазам.

Но тогда Бог уберег ее с ребенком, которого по рождению назвали Владимиром.

Возможно, для того, чтобы во время службы в ГДР он отыскал на обелиске установленному советским погибшим воинам, имя и фамилию своего отца: Федоряку Александра.

Но к двум младшим ее сестрам судьба была менее благосклонной. Особенно к середульшой сестре красавице Нине. О Нине — особенный разговор.

Дело в том, что Нина имела исключительный дар сглазить все живое и мертвое, через что скоро лишилась всех своих подруг. И даже родные сестры пытались избегать ее общества, лишней раз не впускали к себе в дом, не показывали только что высаженную рассаду капусты или помидор, которая сразу после ее созерцания дружно и навсегда вылегала, а купленная только что люстра, при наименьшей Нининой похвале оторвавшись от потолка, вдруг падала и разбивалась вдребезги.

После войны Нину как немку, следовательно, врага народа, высылают на остров Сахалин, где она работала в одном из местных зверосовхозов.

Директор совхоза неожиданно влюбился в нее, писаную красавицу, Нина ответила на его чувства. По окончании срока высылки директор пообещал жениться на Нине.

Но судьба и на этот раз вмешалась. И это ее вмешательство опять было грубым. В зверосовхоз неожиданно нагрянула плановая финансовая проверка, которая обнаружила ряд грубых нарушений хозяйственной и финансовой деятельности и дисциплины.

Директору совхоза угрожало 10 лет заключения, и тот, чтобы избежать ответственности вступил в половые отношения с главой комиссии, женщиной лет 35-и. Об этой связи узнала Нина и порвала с директором все возможные отношения, о чем тяжело потом, когда вышла за горького пьяницу замуж, всю жизнь раскаивалась.

Вышла замуж назло любимому, а еще для того, чтобы только заменить немецкую фамилию Бухмиллер на Паригину.

А вот наименьшая Мария выехала в Казахстан, на целину, вышла там замуж, родила пятерых детей. Впоследствии, как к более фартовой, к ней переехали и ее старшие сестры.

Иностранец всегда чувствует свою ущербность в чужом краю. Чувствовал ее, наверное, и Бухмиллер. Еще бы не чувствовать с такой колоритной и звучной фамилией! Бух — книга, Миллер — мирошник.

Пытаясь соответствовать новой коммунистической власти если уж и не происхождением, то хотя бы духом, дед (по возрасту он тогда еще не был дедом) относил из дому в колхоз все, снесенные несучками яйца, и объявил беспощадную войну церкви. Для начала он молча вынес в сарай находящиеся в доме иконы.

Бабушка, по происхождению русская, в тот же день внесла их обратно, и, обнаружив на насесте пропажу яиц, ругала деда:

— А чем же я буду такую ораву кормить?

У бабушки было ни много ни мало — восемнадцать душ детей.

Со временем это превратилось в некую игру. Дед с немецкой настойчивостью и педантичностью постоянно молча выносил иконы на улицу, особенно, когда в село наезжало начальство, пряча их в самых невероятных местах, иногда даже закапывал, но бабушка, оставив все свои дела, ничего не делала, даже кушать не готовила, пока по какому-то наитию не находила их, и так же молча, не говоря ни слова, возвращала в дом, водружая их на прежнее место, на покутье.

Впрочем, это тема для отдельного разговора. А пока на бумагу ложатся строчки, их надо записывать, иначе они потеряются.

* * *

Мне бы остаться в памяти твоей...
(Пусть Бог пошлет мне это счастье свыше),
Нет, не капелью сумрачных дождей,
А звонким ливнем, хлещущим по крышам.

Ведь ты дороже всех земных щедрот:
Я без тебя прошу у Бога смерти.
Ничтожен мир, жизнь полная забот
Без твоего дыхания, поверь ты.

Ах, если б можно было наяву
Вот этот мир единственный и синий
И все вокруг: дышу чем и живу
Отдать тебе — желанной и любимой.

Записав, я откладываю ручку, но через некоторое время рука опять тянется к бумаге. Чувство обиды, горечи и благодарности Райчо переполняли меня, и я уже не мог остановиться.

... Я действительно физически не мог без нее. Это выше моих ничтожных человеческих сил. Я буквально гибну, не видя ее, не слыша ее голоса, ровного дыхания. А главное, я лишен возможности что-нибудь сделать для нее, помочь.

Интересно, знает она, догадывается, что каждую ночь я будто

часовой дежурю у ее дома, а вечером встречаю с работы? С приходом электрички, спрятавшись за одной из привокзальных построек, которая расположена на пути ее следования домой, весь дрожа от непонятного жуткого волнения и осознаваемого позора, я обреченно стою и ожидаю ее, лишь бы увидеть, взглянуть. Мне горько и стыдно за свою низость, словно я в замочную скважину подглядываю теперь уже чужую жизнь, и тем не менее, ничего не могу с собой поделать.

Однажды мы встретились с ней возле путей, на самом переходе через них, и она удивленно спросила:

— Ты что здесь делаешь?

— Гуляю, — ответил я и задал ей аналогичный вопрос, хотя прекрасно знал, что она встала с электрички.

— А я возвращаюсь с работы, — сказала она.

В другой раз, как только она прошла мимо пристанционной постройки, я вышел из своего укрытия и, соблюдая нужную дистанцию, пошел следом. Она, видно, почувствовала, что я иду сзади, и побежала. А, может, и не почувствовала, а просто торопилась к своему новому возлюбленному.

А что если взять и написать о нашей, а точнее, о моей любви к ней хоть махонький рассказ? Ведь и Рая когда-то и, кажется, не однажды просила:

— Напиши обо мне когда-нибудь хотя бы строчку, — Рая печально склоняла свою восхитительную головку, самокритично изрекала. — А что обо мне можно написать хорошего? Неинтересная, скучная... Кусок мяса...

Она очень часто была излишне строга и критична к своим мнимым и действительным грехам, промахам, ошибкам. Я не раз говорил ей об этом. Она соглашалась, но своей тактики относительно самой себя не меняла, что безусловно было одной из главных причин упаднического состояния духа.

Идея написания рассказа, подсказанная Раей, мне, безусловно, пришлась по душе, но я пока страдал и бездельничал, потому, что не видел того стержня, вокруг которого мог бы расположиться весь жизненный материал и закружиться повествование. Не видел я и пружины, которая бы это повествование привела в движение. А просто изображать на бумаге еще одну несбывшуюся любовь не имело большого смысла. Одним словом, пока у меня не было к этому материалу ключа. А без ключа, я хорошо знал, дело не пойдет. Значит, надо этот ключ искать. С этими мыслями я и

уснул.

Да, она была моей женщиной: Рая, Райчо, Райчонок, идеально подходя не только по всем восточным и европейским гороскопам, но и в жизни, в постели, да и во всем остальном. Мне нравилось что-либо делать для нее, помогать, тратить на нее деньги, получая от этого истинное, неподдельное наслаждение и радость, которые можно сравнить разве что с близостью. Она и в жизни, и по гороскопу была для меня Ее Величество Женщина, и этим все сказано.

Я хотел ее днем, вечером, ночью, практически всегда. Мне ее постоянно не хватало. Это было похоже на какое-то наваждение, на муку, на казнь... Я не мог прожить без нее, без ее голоса, присутствия, дыхания и минуты. Я одинаково сходил с ума, безумел — с ней и без нее, дрожа, как над самой большой драгоценностью.

Если бы мне предложили тонну золота и Раю, выбирай мол, я, не колеблясь, выбрал бы Райчо. Зачем мне золото, если нет ее?

И вот она ушла.

Я всегда хотел и желал ей счастья. Но, видать, ее счастье — не со мной? От этой мысли мне стало горько и больно. Ведь по-настоящему в этой жизни я был счастлив только с ней. А она, по-видимому, нет.

Все-таки большая разница в возрасте не для каждого психологически преодолима. Ей сорок три, мне ... Впрочем, не стоит уточнять, ни проводить аналогии. Если честно, то я даже не замечал этой разницы, потому, что счастье и радость очередной близости и даже одно ее присутствие ослепляло и завораживало меня, не позволяло упорядочить свои мысли, не давало думать о чем-то другом.

... Впервые мы встретились с ней... Интересно, когда же мы встретились с ней в первый-то раз? Теперь уж и не вспомнить... Наверное, лет десять тому назад...

Тогда я жил с Весей. Рая и Веся были кумовьями.

Рая зашла к Весе в гости, и мы познакомились. Худенькая, чтобы не сказать тощая, она тем не менее произвела впечатление, и что-то мощное потянуло меня к ней. Веся сразу это заметила и сделала все, чтобы наши встречи были как можно реже.

Второй раз Рая зашла в гости, когда Веси не было дома. Она была усталой и озябшей, и я предложил ей прилечь на тахту. Взглянув на ее стройные, обтянутые колготками телесного цвета

ноги, я почувствовал, как во мне вспыхнуло к ней неотчетливое чувство жалости. Полная противоположность Весе, чем-то похожая на открытый перочинный ножик, она смутно волновала кровь, возбуждала.

Я не предпринимал никаких шагов и действий, направленных на сближение, скорее наоборот, старался дистанцироваться, совершенно не подозревая, что именно с этого дня становлюсь невольным заложником Ее Величества Женщины.

С этого момента любая ее просьба, желание, каприз приобретали для меня форму непреложного закона, приказа. Я, как пионер, был готов выполнять любые ее прихоти. А она, мудрая как Змея, чуткая и проницательная как Рак, сразу это заметила.

Рая как раз разводилась с очередным мужем и попросила меня занять в загсе очередь.

Очереди в то время в загсе были большими, и чтобы попасть на прием к чиновнику этого учреждения, надо было вставать в два-три часа ночи, чтобы записаться.

Кому-то другому я, наверное, отказал бы, но услужить Рае согласился с радостью. Она оценила мою готовность и, играя грустной и немного лукавой улыбкой на тонких губах, спросила:

- Не забудешь?
- О чем речь!
- С меня причитается...

Почувствовав в интонации ее обещания двойной подтекст, на этот раз улыбнулся я.

Первый раз Рая по каким-то причинам и обстоятельствам не попала на прием. То ли не приехала, передумав разводиться, то ли не успела. А потому мне дважды приходилось занимать очередь в загсе, идя в темень и стылость, слизывая с губ такое сладкое и многообещающее: «причитается», а услужливое полусонное воображение рисовало красочные картины такой головокружительной любви и близости, что влажный от дождя асфальт, блестя в свете фонарей, буквально уходил из-под ног.

Рая для меня была само совершенство, само божество, и я время от времени заводил с Весей разговор о ней:

- Такая женщина и разводится...

Что таилось за этим моим «такая», я предпочитал не афишировать, но Весе сразу почувствовала опасность.

— Какая она там такая... Плоскодонка! Ни рожи ни кожи! Эффектная! Нашел красавицу! — не могла успокоиться Весея.

Веся была восхитительно красива, а потому не терпела, когда в ее присутствии хвалили или пытались выделить кого-то другого, а не ее. Впрочем, этим она мало чем отличалась от других представительниц своего пола.

— Я ведь не о внешней красоте, а о ее человеческих качествах...

— А там еще хуже!

— Она такая деликатная, тихая...

Иногда мне казалось, что именно этим она и пленила, а затем и покорила меня.

И, наверное, не только этим. Скорее всего своей внутренней энергетикой, которую я физически чувствовал даже на расстоянии.

— В тихом болоте черти водятся! Пожил бы ты с ней хоть немного, хлебнул бы горя по самую завязку, — заводилась Веся.

Чего мне Веся только не рассказала о Рае. Каких только небылиц и домыслов не было в том ее откровении:

— Ты знаешь, армяне ее чуть не выбросили из окна...

— Почему?

— Не знаю... Наверное, не могли справиться... Она только-только развелась с первым мужем. Говорят, она там орала как бешенная! Так ты думаешь, она поумнела? Вскоре с любовником укатила в Армению. Мужик на работу, а она на это самое... на бэдэ... Она мне сама рассказывала. А потом мы некоторое время вместе работали... Хоть верь, хоть нет, мужиков за ней бегало... Не успел один уйти, другой приходит.

— Наверное, хорошая женщина...

— Тебе нравятся такие?

Я промолчал. Не знаю, но такое со мной случилось впервые: Веся угодила в десятку — чем больше она хаяла Раю, тем больше та мне нравилась. Никакая грязь почему-то не липла, не приставала к ней.

Я верил и не верил этому навету, больше не верил, считая его во многом чистой водой наговором, выдумкой, вызванной ревностью. Когда я почувствовал, что Весе нравится чернить Раю, я стал поощрять эти ее рассказы. Мне хотелось говорить о Рае. А говорить можно было только так: в совершенно негативном плане.

Мне уже тогда хотелось помочь Рае и хоть таким образом быть причастным к ее нелегкой судьбе.

А когда Веся наконец призналась, что, приехав однажды к ним в гости, Рая успела переспать с ее мужем, у меня исчезли последние

сомнения. Конечно, ревнует! Возможно, что что-то там и было, дыма без огня не бывает, но все сильно преувеличено.

Медленно утекало время, и разговоры постепенно утихли. Я долго ждал от Раи уже не «причитается», а хоть какого-нибудь известия. Но на поверку обещание Раи оказалось всего лишь данью вежливости. Надолго исчезнув из вида, она была недостижимой.

Сладостные воспоминания о Рае посещали меня все реже. Мечты вытеснила будничная реальность.

Прошли годы, Рая развелась с прежним своим мужем, некоторое время жила одна, потом стала жить с Мишей. С этим, положительным на первый взгляд мужчиной, ее познакомили. Я расстался с Весей. Только после этого Рая, наконец, отважилась заглянуть ко мне. Она заходила не часто, но регулярно. Мы говорили с ней о жизни, о литературе, иногда она занимала у меня небольшие деньги. Через некоторое время возвращала.

Рая относилась ко мне хорошо, видно, раньше Веся на все лады нахваливала меня.

Невзирая на чудовищные слухи и сплетни, я считал эту женщину идеальной и почти святой. Да она, пожалуй, таковой и была, по крайней мере, в моем воображении. Вначале я не делал никаких попыток к сближению, но потом отважился. Оказавшись в постели, Рая слабо протестовала:

- Митя, не надо. Слышишь?
- Чего ты!
- Если такое... женись...
- На ком? — отпуская из своих объятий Раю, спросил я.

Сверкнув восхитительной попой, она крутнулась, пытаясь ее спрятать, будто стеснялась ее малых размеров, и выскользнула из постели. В следующее мгновение она уже напяливала на свою изящную соблазнительную выпуклость джинсы.

— Я там знаю...— чувствуя себя в полной безопасности, наконец, сказала она.

- Я тоже не знаю.
- А я думала, Веся ушла от тебя потому, что...
- Почему?
- Сам знаешь... не прикидывайся...

После этого она некоторое время не заходила ко мне. Несколько раз мы встречались с ней на улице. Короткий и ни к чему не

обязывающий разговор убеждал, что Рая не очень-то довольна новой жизнью. Ей явно не хватало общения, и она постоянно напрашивалась ко мне в гости. Я соглашался, но наши договоренности отменяла сама жизнь. Непредвиденные обстоятельства разрушали все наши планы. Рая, словно перчатки, меняла места работы и, в конце концов, оказалась на базаре, стала торговать головными уборами. Мы стали видеться почти ежедневно.

А в конце мая у меня заболела и умерла мама. Смерть матери на несколько месяцев прервала наше общение.

Я вернулся в родной город и, встретив Раю, пообещал: завтра я снова уезжаю на родину, к брату, но ровно через две недели вернусь, и мы обязательно встретимся. Но опять, в который раз обстоятельства оказались сильнее нас. Брат уговорил меня отменить сорок дней, а тогда уже и ехать.

Не знаю, приходила ли она ко мне через две недели, но я опять нарушил свое обещание: я вернулся из родных мест позже, нежели через месяц. Она опять надолго исчезла из виду. И все же она пришла...

В этот раз она попросила, чтобы я помог ей устроиться на работу.

На улице промозглый февраль. В этот свой приход в конце зимы, считай ранней весной, она и стала по-настоящему моей. Она уже собралась уходить, когда я в прихожей неожиданно поднял ее хрупкое, почти невесомое тело на руки и понес в спальню.

Мелькнули, улетаая куда-то в сторону, сдернутые одежды. Ослепил, кружа голову и восхищая своим совершенством черный таинственный треугольник на восхитительном лобке. Обольстительно сверкнули березово-белые ноги. И вот оно... такое желанное и прекрасное тело, таинственное лоно. Мягкое и одновременно жесткое и неподатливое, оно не хотело впускать внутрь себя моего шалуна, но он неудержимо рвался туда, сминая на своем пути все преграды, препятствия и препоны, и уже ничто не могло остановить его.

И вот общий вздох облегчения.

— Тебе нравится делать со мной день-день? — так она деликатно называла то, что обычно происходит между мужчиной и женщиной, и что только что произошло между ними.

— Не спрашивай, Райчо!

Я уже не помню, что она говорила мне дальше, что отвечал ей я. Она стонала, визжала и выла по-щенячьи. Я говорил ей жаркие слова, от которых, наверное, можно было сойти с ума. От чего ее плоть горела, вибрировала и дрожала в каком-то шальном запредельном неистовстве. Я терзал ее, пытаюсь расколоть надвое, рвал на части и при этом страстно целовал ее стройные ноги, а она, пружиня в недрах своего тесного лона оргазмами, нежно и преданно шептала:

— Мне никто еще не целовал ног. Никто! Ты первый...

Мне очень нравилось быть первым. И я, словно нарочно, опять стал выцеловывать ее крохотные пальчики, прихотливо шевелящийся мизинчик, пятки, ступни и опять мизинчик и все время спрашивал:

— Райчо, тебе хорошо со мной?

— Очень! А тебе?

— Не спрашивай... Бесподобно... Я на седьмом небе!

— А я на сто седьмом!

— Не боишься сорваться?

— Наоборот, хочу! Ми-тя! Бо-же, что со мной происходит!

А когда все закончилось, она сказала:

— Я больше с Мишей в постель не лягу.

Я был не готов к такому повороту событий, к такому ее решению, а еще я не хотел быть причиной семейного разрыва и разлада, сам недавно пережил подобное, а потому ответил несколько философски и предельно глупо:

— Почему? Ложись, — не понимая, что этим смертельно обижаю Раю и невольно напоминаю ей о ее прошлом, сказал я в ответ. Если бы мне знать, что в ее словах был намек на нашу будущую совместную жизнь, разве я бы позволил себе такое?

Она обижено промолчала. Мы вышли. В тот же день я устроил ее на работу в местное лесничество.

— Я беру ее только из уважения к Вам, на время посадок, — сказал главный лесничий.

И мы опять надолго расстались. Обиженная моим небрежением, она не заходила, не подавая никаких признаков жизни, считая мои слова, принятое мной решение следствием ее не совсем безупречного прошлого, а может, следствием распускаемых слухов о нем.

Прошлое давно и безвозвратно ушло, а последствия его остались.

В конце марта, в последний день своей работы в лесничестве,

занятая посадкой саженцев, она оказалась без напарника. То же самое произошло и с неким Олегом. Напарница его в этот день не вышла на работу. Раю и Олега свели. Целый день они работали вместе. Подружились.

В последний день марта ко мне попросилась переночевать на пару дней, пока она решит свои семейные проблемы, моя старая знакомая Ольга.

— Двое суток не сплю, извелась...

— Возвращайся к своему Сергею.

— А я думала, ты друг...

— Ладно, приходи, — сдался я.

В тот же день и, наверное, в то же самое время, когда ко мне пришла Ольга, Рая ушла от Миши и направилась с вещами прямо ко мне. Она пришла ко мне позже Ольги всего на полчаса, время ходу от автовокзала, где жил Миша, ко мне.

Как потом сама рассказывала, Рая так ни разу и не легла с Мишей в постель.

— Хоть застрелись, а я с тобой спать не буду! — бросила в отчаянии.

Рая зашла ко мне и увидела в квартире Ольгу. Оказавшись в одной квартире вместе с Ольгой, она стала просить, чтобы та вернулась к своему бывшему сожителю или же шла к ее Мише, которого, как выяснилось в разговоре, Ольга хорошо знала и даже одно время жила у него.

— Оля, тебе же есть куда идти. Я хочу остаться с Митей.

Но Ольга была непреклонной.

— Рая, переспи пару дней у меня, а там Ольга уйдет, — предложил я неуверенно.

Рая, на какое-то время оставив вещи у меня, ушла.

Придя к Олегу, она попросила его найти ей квартиру. Олег сразу отвел ее к одному знакомому пожилому мужчине.

На следующий день, в мое отсутствие, Рая забрала свои вещи.

Боже, как я жалел, узнав, что Рая забрала вещи и ушла, не оставив даже адреса.

Рая устроилась работать на птицефабрику.

Случайное знакомство с Олегом переросло в роман.

А двухдневное пребывание Ольги у меня растянулось почти на два месяца. Она ушла лишь тогда, когда я стал собираться на родину, чтобы отметить годовщину смерти мамы.

Гостя у брата после годовщины, в один из дней я послал Рае

СМС-ку: «Рая, я люблю тебя!»

Убедившись, что она не приняла ее (я тогда еще не понимал, что у нее на работе просто отключен телефон), я повторил свое послание еще дважды. Включив в конце смены телефон-мобилку, она прочла мое тройное послание, и тут же набрав мой номер, спросила:

— Ты отдаешь отчет своим словам?

— Да!

Подруга, глянув через хрупкое Раино плечо, завистливо заметила:

— Ну ты и проститутнице! С Олегом живешь, здесь, на работе, хвостом вертишь... А это еще один объявился...

В начале июня Рая пришла ко мне еще раз. То, что между нами произошло в тот летний день, превзошло всякие мои, да, наверное, и ее ожидания.

— Митя, как мне только хорошо с тобой! Ты не спрашиваешь, откуда я пришла, где была, куда иду...

Вначале я, обиженный ее долгим отсутствием, был, как говорится, ни рыба, ни мясо, она даже пыталась освободиться от меня и уйти, но тут я вдруг воспылал к ней такой страстью, что она испугалась:

— Митя, что ты делаешь? Ты меня порвешь, как Бобик тряпку.

Ни с кем больше, ни до ни после я не чувствовал себя так легко и свободно, так покойно и радостно, как с ней. Мы были с ней единой душой, единой плотью; теперь я жил ею и для нее.

Через некоторое время Рая опять зашла ко мне. Я ужасно скучал без нее и собирался предложить перейти жить ко мне. Но вместо этого предложил заняться любовью. Я ее действительно очень сильно любил.

— Не надо. Митя, мне кажется, я влюбилась...

— Ну, если так... — все еще не веря услышанному, я поцеловал Раю в щечку и отпустил. — Скажи хоть в кого...

— А вот послушай, я прочту, — Рая достала откуда-то из сумки тетрадь, поудобней уюстилась в кресле напротив меня, сказала:

— Я боюсь... Я никому этого еще не читала... И даже Олегу...

— Так значит его зовут Олегом! Занятно.

— А что мне было делать? Ты остался с Ольгой... Не обижайся... Иначе я не смогу читать...

— Ладно, уж, читай.

Прежде, чем начать читать, Рая откашлялась.

— Ты что, простыла? — немного обеспокоенно спросил я.

— А что?

— При простуде, чихе и насморке поджигай кошачий хвост и нюхай. Радикальное универсальное средство.

— Неужели?

— Бабушка всегда так делала... Ты знаешь, помогало.

— Ладно, приму к сведению, слушай:

...Весна. А ветер пронизывающий, зимний заполнил небо тучами, не давая солнечным лучам согреть землю. Этот ветер! Она так злилась на него! Он насквозь продувал не только одежду, словно ее и не было, но и ее душу, брошенную на сражение с ветром, с проблемами, с мучительными вопросами, на которые нужно находить ответы. Она устала. Очень. Но думать об этом нельзя, потому, что будет тупик, а ей нужен выход. А потому шла она, улыбаясь ветру... и себе, убеждая себя, что улыбаться можно, даже тогда, когда в душе гуляет противный холодный ветер.

Пересекая городскую площадь, он увидел ее первым, пошел навстречу.

«Какая же она все-таки изящная! И как с ней невыносимо и... просто!» Таких противоречивых натур он еще не встречал. Почему же его так тянет к ней?! Он злится на себя и бежит к ней навстречу. А она... замедляет шаги.

«И волосы у нее совсем некрасивые — рыжие! Да и худая она, а не изящная. И еще смеет улыбаться?!»

— Привет, Олег!

— Почему ты не отвечаешь на звонки?

— Не знаю.

— Звонил тысячу раз!

— Тридцать шесть. Ты позвонил тридцать шесть раз.

— Так почему ты не отвечала?

— Не хотела. Не приставай. Я же здесь, что тебе нужно?

— Не знаю... Нет, подожди, давай поговорим.

— Давай.

Они повернули в парк, прошлись по аллее. Она достала сигареты, спички. Он повернулся к ней, протянул зажигалку. У нее никак не получалось подкурить. В какую бы ни поворачивалась сторону, ветер выхватывал пламя. Он взял ее сигарету, подкурил и тут же вернул обратно.

— Ты замерзла? Пойдем ко мне, чаю выпьем. Согреешься.

— Нет, Олег, не выпьем. Я спешу. Я вышла совсем ненадолго.

Она спешила к себе, в свое одиночество, в свою независимость, где никто не будет ее раздражать своим присутствием.

— Пойдем вниз, может, там нет такого ветра? — предложил он.

Она шла за ним, с безразличием глядя под ноги, всего на полшага позади него. Он, как бы заслоняя ее от ветра, шел рядом, очень близко, так, что она чувствовала его дыхание.

— Не пугайся под ногами. Ты можешь идти рядом?!

— Да я же от ветра тебя прячу...

— От этого ветра не спрячешь и не спрячешься, правда? — смягчилась она.

На этот раз он промолчал.

Он шел, иногда поворачивая голову в ее сторону, чтобы убедиться, что она не очень отстает, и какая-то часть ветра все-таки достается ему. Ему почему-то все время хотелось схватить ее и спрятать... к себе в карман. Может, тогда она немного повеселеет и у нее не будут такими грустными глаза? Боже, как же ему хотелось увидеть радость в ее глазах?! Но они оставались неизменно-печальными, даже когда она, казалось, от души смеялась.

— А здесь я живу, давай зайдем?

— Я же сказала — нет.

— Ты боишься меня?!

— Никого я не боюсь. Ладно, пошли.

Его план сработал. Он заранее подготовил этот вопрос и знал на него ее ответ.

Зашли в подъезд. Она уже пожалела, что сделала вызов ему. Или, может, себе? Но отступить было не в ее правилах. Он открыл двойную входную дверь, пригласил:

— Проходи.

Она прошла и, увидев свое отражение в зеркале, стала рассматривать себя, вытирая нос платком.

— Ты хитрый обманщик, Олег!

— Да проходи же! Хитрый обманщик тебя не укусит.

— Может, он и не укусит... а просто съест?

Он засмеялся и смутился, пошел на кухню ставить чайник. Она сняла ботинки, но осталась в прихожей. Делая вид, что поправляет волосы, она смотрела в зеркало. Снимая на ходу куртку и приглашая ее, он прошел в комнату.

— Давай я и твою куртку повешу...

— Подожди. Дай сначала хоть немного согреюсь.

Они сели в кресла, расположенные друг против друга.

Некоторое время сидели молча. Она, разглядывая его, думала о своих проблемах, которые, наваливаясь со всех сторон, росли, как снежный ком, и которые ей нужно было решать в ближайшие дни. А он, глядя в ее синющие (как сам любил выражаться) глаза, никак не мог напиться их небесной прохлады, а тем более оторваться от их синевы.

— Чайник кипит, слышишь?

— Да, сейчас...

Она уловила некий жест Олега и возмутилась: «Неужели это она обязана идти делать чай?»

Она подошла к окну: «Что за мерзкая погода? Надо идти домой».

— Я пойду, Олег. Правда, я очень спешу...

— Я уже заварил чай. Раздевайся.

Он принес две огромные чашки. Она взяла одну, присела в кресло, поставила чашку на колено. Грея руки и глядя на него, снова задумалась.

«Нет, она никуда не спешит, ее что-то волнует. Может, она чем-то обеспокоена?» — подумал он и предложил:

— Расскажи что-нибудь.

— Не знаю даже что. Веселое почему-то не идет на ум, а о грустном не хочется.

— Тогда, может, анекдот?

— Угу.

Он рассказывал ей анекдот за анекдотом. Они громко смеялись, а он думал: попроси ее сейчас пересказать первый анекдот, она его наверняка не вспомнит, это видно по ее глазам, которые по-прежнему были печальными.

— Может, ты покушаешь?

Она смутилась, как будто он предложил ей лечь полежать.

— Нет, что ты, я не хочу!

Он вдруг почувствовал, что ему нравится быть с ней рядом даже тогда, когда она молчит. А она подумала, что он не мешает ей быть самой собой, пребывать в своем одиночестве. Интересно, почему он не целует ее, не обнимает? Может, он ее боится? Он, как-будто угадав ход ее мыслей, приблизился к ней, взял ее чашку, поставил на стол. Затем, взяв ее руки в свои и, не отрывая глаз, как будто пытался заглянуть в ее душу, прошептал:

— Ты очень замерзла?

— Уже не очень.

Она снова взяла чашку, стала пить чай.

— Рай, давай будем вместе?

— Олег, я не могу быть вместе.

— Но ты пригласишь меня хоть на чай?

— И на чай я тебя не приглашу.

— Я могу тебе чем-то помочь?

— Нет. Я не хочу посвящать тебя в свои проблемы.

В который раз он убеждался — она невыносима! Ну, что за характер? Ну, и пусть проваливает ко всем чертям!

— Я задержалась у тебя. Мне пора...

Она вышла в коридор, натянула ботинки. Он помог одеть ей куртку. Взял за плечи, чтобы сказать, какая она отвратительная стерва! Но вместо этого впился своими губами в ее губы и целовал так, как никого и никогда еще не целовал. Да и не желал так. Затем подхватил ее, словно пушинку, понес к себе в комнату.

Она отбивалась, ударяя остренькими кулачками по его широкой спине, а он не мог оторваться от нее, не мог ее отпустить.

...

— Олег, кто-то пришел!

— Да это мама.

— Одевайся быстрее. Я сейчас провалюсь сквозь эти плиты!

— Не метушись ты. Она сюда не зайдет. Я сейчас выйду.

— А как прикажешь выйти мне, такой растерянной и покрасневшей? Нет, уж лучше провалиться прямо сейчас!

Улыбаясь и не веря своим глазам он подумал: «Неужели она такая красивая?»

— Не волнуйся, Рай, все будет хорошо, — прошептал, целуя ее в макушку.

— Олежек, ты дома?

— Да, мам, я с Раей.

— Так значит ты с ним...

Рая промолчала, вместо ответа робко спросила:

— Ну как?

— Это классика, Райчо. Я так не напишу.

— Не ври!

— Правда. А ты пиши дальше... Желаю удачи. Я верю в тебя.

У тебя большое будущее.

Мы распростились с Раей, и она ушла.

Отношения Раи с Олегом складывались нормально, дело, казалось, шло к свадьбе, а потому Рая подумывала о серьезном переселении. У Миши по-прежнему оставались все ее вещи, и однажды она предложила Олегу помочь ей перевезти их. Олег не ответил ей ни да ни нет.

Наверное, это снова заставило ее зайти ко мне через несколько дней.

— Митя, ты не помог бы мне перевезти мои вещи от Миши к Олегу?

— С удовольствием!

Делать что-нибудь для нее, помогать было для меня большим праздником и настоящим счастьем. Я это почувствовал давно, наверное, еще тогда, когда занимал очередь в загсе, так же как и то, что я ее очень сильно, прямо безумно люблю. Но тогда я, конечно, не знал, что Рая для меня еще и — Ее Величество Женщина!

В конце концов я не удержался, спросил:

— А почему ты не попросишь Олега?

Рая промолчала. И я понял, что у них на этой почве с Олегом была какая-то размолвка.

Скорее всего, Олег боялся или не хотел; может, не разрешала мама идти к Мише за Раиными вещами.

Впрочем, Рая и не должна была дразнить гусей, идя за вещами к Мише с любимым человеком, а потому мать или отец могли высказаться об этом вполне определенно.

Но меня все время подмывало спросить: «Что, твой любимый Олег боится идти к Мишутке? — и, продолжая досаждать дальше, сказать: — А я не боюсь! Я готов даже погибнуть ради тебя, но только после того, как заберем твои вещи».

Но я опять ничего не сказал, промолчал. Зачем говорить такое! Если она влюбилась в Олега, пусть любит. Любовь — это святое.

Олег легко отпускал ее к подругам, а когда она возвращалась, не попрекал ни ее долгими отлучками, ни некоторой невнимательностью, не изводил подозрениями. Видя, что Рая любит его, Олег всецело доверял ей.

После каждого своего ухода и возвращения Рая часто испытывала такую глубокую благодарность за оказанное ей доверие, что готова была отдать ему свою душу, а иногда и жизнь. Но он не требовал от нее ни того, ни другого. Он просто молчал.

Самое большее, на что Олег иногда отваживался, так это спросить:

— Ну как сходила? Все нормально?

И в ответ всегда слышал восторженное и благодарное:

— Да, Олежа!

Она поняла, что несмотря на все свои недостатки, это единственный человек в мире, с которым она сможет жить без проблем, с которым ей легко и просто.

Конечно, и в этот раз у нас с Раей ничего не вышло в личном плане. Да я собственно и не стремился, не настаивал, хотя и предложил:

— Ну, что, Рая, может, день-день...

— Ты знаешь, — рассказывала Рая. — Я пришла тогда домой, а Олег мне и говорит: «Что это от тебя мужиком пахнет?»

— Не может этого быть. Это он тебя на пушку берет, — сказал я.

— Ну, хорошо, мне пора...

Несколько раз она звонила мне на мобильный и обещала прийти. Я с восторгом отвечал:

— Приходи! Я жду тебя!

Но она опять почему-то не приходила.

И вот Рая снова у меня.

— Ты когда-то говорил, что Веся ходила к гадалке...

— Было дело...

— Ты знаешь адрес?

— Адрес не помню, но где живет знаю. Я отвезу тебя к ней. На велосипеде... Тут недалеко.

Через десять минут мы были у гадалки. Раскинув карты, та сказала:

— Ты сейчас живешь с червеным королем, но, как видишь, он отошел. Ты с ним жить не будешь.

Заметив, что ее пророчество не особенно обрадовало Раю, гадалка попыталась ее успокоить:

— Не переживай. Не такой уж он и хороший, каким кажется тебе. Для жизни тебе падает крестовый король...

«Неужели я?» — встрепенулось мое сердце.

Поговорив о том, о сем, мы с Раей удалились.

Я вез легкую, почти невесомую Раю, любовался ее великолепным сложением, пьянел от запаха ее тела. Иногда, касаясь коленками ее ног, я не мог удержаться, чтобы не вдохнуть на полную грудь многоцветный аромат ее недавно вымытых рассыпчатых волос. А когда остановился, чтобы высадить, сказал:

— Рая, знай, я люблю тебя!

— Хочешь, я тебе еще прочту... Я тут кое-что написала...

— С удовольствием послушаю...

Она опять прямо на улице достала клеенчатую, свернутую вдвое общую тетрадь из той же сумки, принялась читать.

— Зайдем лучше ко мне...

Она согласилась.

И вот я снова с наслаждением слушаю ее прекрасную прозу. Низким грудным, немного простуженным голосом Рая читала:

— Ты не очень на меня сердись за вчерашнее? — спросил Олег.

— Нет.

— Прости, я исправлюсь.

— Ты здесь при чем? Это я клонула на твою удочку, как дура.

— Ну, не сердись, пожалуйста.

— Что-то ты вежливым стал в последнее время.

— А разве я был груб когда-нибудь? Это ты пытаешься злить меня, а я...

— А ты пристал, как банный лист!

Сидя на лавочке в сквере, она курила, не чувствуя ни сигаретного дыма, ни резких порывов ветра. Она не могла понять, отчего он так счастлив, ну, просто сияет, и это обстоятельство злило ее еще больше. К нему же как-будто действительно не доходили ее сердитые слова и холодный ветер не касался его.

— Рай, послушай, я хочу быть с тобой всегда. Поверь мне... — Я на глаза твоей маме никогда больше не покажусь. Как мне смотреть ей в глаза? Ужас!

— Ну, перестань, глупая. Все будет хорошо. Кстати, она подумала, что ты совсем еще малая. То есть, я не хочу сказать, что ты старая...

— Я сейчас же тебя убью. Ты об этом знаешь?

— Да. Я согласен, чтобы ты меня убивала каждый день.

— Ну и дурак.

— Конечно. А разве умный может тебя полюбить? Ты же невыносима!

— Олег, мне пора.

— Я проведу.

— Нет.

— Значит, никуда я тебя не отпущу. Я не хочу расставаться с

тобой даже на несколько часов.

— Ты же говорил, что я невыносима.

— Мне скучно без тебя.

— Ты предлагаешь мне быть твоим шутком?

— Нет, женой.

— У меня скверный характер, Олег. И еще много проблем.

Все, пока. Я буду отвечать на звонки. Звони.

— Не уходи.

Но она уже уходила. И так быстро, что ему казалось, она убегает. Он догнал ее.

— Ты завтра придешь? Мы увидимся?

— Не обещаю.

— Хорошо, я позвоню.

Он стоял и смотрел, как она уходит. Это было хуже всех непогод вместе. Наконец он резко повернулся и так же быстро, как и она, зашагал к себе домой.

Сейчас он включит «телек» или будет читать. Он не будет думать о ней, он завтра поговорит с ней по-другому. Совсем по-другому. Он так решил. И еще он решил, что ее синющие глаза будут сиять от счастья и смеяться они будут тоже по-настоящему. Ему вдруг стало легче от этого решения. Он успокоился, улыбнулся.

Было далеко за полночь, а она все никак не могла уснуть. Ее тревожили одни и те же мысли: неужели она влюбилась? И что сказать дочурке? Как объяснить? Этого еще не хватало — влюбиться! Нет, она должна справиться с этим. Она не хотела больше никого любить. Никого и никогда. Зачем ей это? Зачем ей эта боль, зачем ей сомнительное счастье? Ведь ей нужна размеренная, спокойная, нормальная жизнь. Она готова решать любые проблемы. Только не любовь! Прежде всего ей надо уснуть, отдохнуть, а завтра все будет по-другому.

Наконец Рая остановилась, закуривая, спросила:

— Ну, как?

— Великолепно! Пойми, Райчо, каждый человек кем-то рождается. Ты, несомненно, родилась писательницей. Первый твой опыт в прозе яркое тому свидетельство. Твои стихи значительно слабее...

— Ты преувеличиваешь.

— Зачем это мне... Ты знаешь, я потрясен и восхищен! — Потому, что ты меня любишь...

— Нет, Рая, невзирая на все, и на любовь тоже, здесь я не преувеличиваю. Это так и есть...

— Ну, что ж, теперь отпускаяй меня.

А где-то через неделю она с младшей дочерью Юлей пришла ко мне, чтобы занять на дорогу деньги. Вчера позвонила подруга, предложила работу в Москве. Рая решила уехать на заработки. Подрастала дочь. То, что она пришла не одна, очень обидело меня:

«Неужели она не доверяет мне?»

... С отъездом Раи Олег запил. Родители Олега позвонили и попросили, чтобы Рая возвращалась. Я ждал Раю не меньше, а может, даже больше Олега. Я сходил по ней с ума. Я не мог без нее жить. И вот, наконец, через две недели она приехала.

Так и не выйдя из запоя, Олег умер в реанимации. Рая почти два месяца после его смерти жила у его родителей. Она очень страдала. А потом однажды вечером пришла ко мне.

Я открыл двери и остолбенел...

— Рая!!!

Она вошла, бросилась мне на шею.

— Слава Богу, ты дома! Я еще вчера приходила, но тебя не было...

Я поцеловал ее, помог снять теплый плащ.

— Я Олегу изменяла только с тобой.

— Нет. Ты не изменяла ему и со мной...

Не выпуская из объятий, я отнес ее в спальню. Я любил ее долго и страстно. Никогда ни с одной женщиной мне не было так хорошо, так благостно, как с ней. И я подумал: она моя судьба.

Придя в себя, мы немного отдохнули, потом вышли прогуляться. Несмотря на позднюю осень, на улице было тепло и сухо. На небе звездное просо.

— Митя, я пришла к тебе так неожиданно, потому, что мне негде было деваться... — призналась Рая.

— А я принял тебя потому, что очень и очень тебя люблю. Наверное, с тех пор, как помню себя. И уж точно с того времени, когда впервые увидел тебя.

— Почему ты тогда отвел меня в лесничество? Я бы никогда не знала Олега... Полюбила бы тебя... Зачем появилась у тебя эта Ольга? Из-за нее мне пришлось обращаться за помощью к Олегу.

— Не знаю, Рая... Я знаю только, что люблю тебя.

— Митя, не торопись, дай мне время, чтобы я забыла его... И все будет у нас с тобой хорошо... Вот увидишь...

— Хорошо.

— Я не могу его так быстро забыть, потому что виновата в его смерти...

— Как это, виновата? — удивился я.

— Я носила ему водку...

— Допустим. Но ведь не каждый, кто пьет, умирает... Он умер бы все равно. На рождение, как и на смерть, есть Божья воля. Человеческой — для этого недостаточно. Не казни себя, пожалуйста...

— Нет, не говори мне, я виновата, что он умер...

— Если ты и виновата, то только в том, что твой отъезд в Москву стал причиной его запоя. Но ты ведь не знала, что он алкаш? — увидев, как встревожилась Рая, ее испуганные глаза, я попытался исправить положение. — Извини, пьющий...

Домой возвратились поздно. Я опять попросил Раю почитать свою повесть, над которой она, я знал, продолжала работать, и в чем я ее постоянно поощрял:

— Обязательно пиши. Не важно, станешь ли ты писательницей или нет, хотя я лично уверен, что станешь, сможешь стать. Главное, когда ты все выложишь на бумагу, тебе станет намного легче.

— Хорошо, слушай...

...Он проснулся, но не спешил вставать, хотел еще понежиться рядом со своим таким колючим и таким родным человечиком. Ведь сегодня у него выходной день, и он совпал с ее выходным, что бывало довольно редко. Не открывая глаз, протянул руку, но ее на кровати уже не было. «А говорила — не буди меня, я буду долго спать». Где же она? На кухне?

Вот уже два месяца, как они вместе. Два месяца, как один миг. Всего один миг счастья. Они никогда не говорили о любви, они ощущали ее кожей. Случайный взгляд, каждый жест подтверждал ее присутствие. Иногда они пытались скрыть ее, но она незаметно проступала в нечаянной улыбке, недомолвленном слове. Атмосферу любви скрыть невозможно.

Порой Олегу казалось, что он не знает, кого больше любит: ее или ее доцю. Единственное, что он знал, так это то, что без них он уже не сможет, без них жизнь теряет всякий смысл. А еще его

тревожила ее болезнь. Эти жуткие приступы головной боли, так обострившие отрицательные черты ее характера. Он видел, как ей невыносимо больно, но забрать эту боль не мог... Даже когда она говорила ему едкие словечки и смеялась над ним, он видел: ей больно.

Дверь открылась, она подошла к окну, принося с собой запах чего-то вкусного.

— Соня, хватит спать. Подъем.

— Это ты мне?

— Нет, соседу.

— Ну-ка, иди сюда!

— И не подумаю.

Но он уже преградил ей путь, обхватив з а бедра, посадил рядом.

— Рай, ты же хотела отоспаться, а сама опять на кухне.

— Лучше быстренько одевайся, пей чай и веди меня в магазин, я покажу тебе то, что хочу...

— А я хочу, чтобы ты нормально отдохнула.

— Не спорь со мной. Я отдохну, когда ты купишь мне то, что я хочу.

— Ты как маленький ребенок! Честное слово.

— А ты ребенок большой. И поэтому поведешь маленького.

— Ну, ты и хитрюга!

Он повалил ее на кровать, заглядывая в глаза и целуя их, спросил:

— Как ты себя чувствуешь после приступа? Ты выспалась?

Она, освобождаясь от него и снимая халат, ответила:

— Олег, ты каждый час будешь спрашивать о моем самочувствии? Так вот, мне станет легче, когда ты купишь мне тот дорожный крем. Тот, что я хочу.

— Малая, — он так любил ее называть. — Ты вредина. Ты меня разоришь!

— Ну, я же твоя вредина, поэтому и разоряю тебя.

Она уже одела джинсы, футболку и, взяв расческу, забралась к нему на колени. По очереди целуя его в обе щеки, прошептала:

— Больше подлизываться не буду. Или ты идешь, или я иду одна.

«И вот так всегда! — думал он. — Seriously разговаривать не хочет. Балую я ее... И люблю... Просто безумно люблю».

Она была несказанно счастлива. Он так любит ее дочь! А ей

самой нужно больше вредничать, чтобы он не так сильно любил ее, чтобы ему было не так больно, когда ее не станет в один из приступов.

Да, им обоим, и ему, и дочери, надо почаще устраивать взбучку и быть несносной. Это просто необходимо, чтобы они вздохнули посвободней, когда ее не станет. Но чем больше она пыталась ругаться с ним, тем чаще он повторял: «Имеешь право».

Бог милостив! Теперь у ее сокровища, ее дочурки, будет самый лучший в мире отец. А потому ей теперь не страшно и она уже совсем не боится этих жутких, так пугавших ее раньше, приступов.

— Поделись, о чем мечтаешь?

— Я передумала. Я не хочу покупать крем.

— Это не важно, что ты передумала. Я уже собрался, пойдем.

— Замечательно, Райчо!

Потушив свет, мы еще долго разговаривали, обсуждая повесть. Затем Рая еще дольше рассказывала мне о бывших своих мужьях, сокрушаясь своей неудавшейся, нескладной, в целом не сложившейся жизнью, плакала за Олегом.

— Я, наверное, Митя, умру. Нет, не подумай, я не боюсь смерти. Я там буду с ним... Мне постоянно каждый день снится Олег. Я хочу поцеловать его, а он отворачивается... Почему, Митя? Меня это убивает.

— Это говорит лишь о том, что если бы ты не была виноватой перед ним, ты бы сейчас не страдала, и он бы тебе не снился. А коль ты прекрасно знаешь свою вину, эта вина и провоцирует твои сны. И твой поцелуй здесь не что иное, как попытка искупления твоей теперь осознанной вины, которая засела и сидит где-то в твоём подсознании. И это очень серьезно. Так вот, не Олег не хочет целоваться с тобой, считая тебя виноватой (не мучься хоть этим), а осознание твоей вины перед ним отворачивает его во сне от тебя. И до тех пор, пока ты не освободишься от этого чувства, он будет тебе сниться.

Где-то капала в кране и шумела в трубах вода, гудел водопровод.

Рая буквально болела из-за Олега, из-за ошибочно понимаемой вины перед ним.

— Олег был хороший. Когда я однажды рассказала ему, что Миша прятал от нас с Юлей продукты, он вспылил:

— Скажи мне, где он живет, я его урою!

— И ты веришь, что он осуществил бы свою угрозу?

— Да... Я побоялась ему назвать Мишин адрес, так он потом у Юли спрашивал...

Рая видела в Олеге очень сильного и мужественного человека, едва ли не киногероя, не супермена, способного взять на себя ответственность за ее судьбу и судьбу ее дочери Юли. На этом отчасти, да еще на чувстве вины перед ним и держалась ее любовь к нему.

Но она ошибалась. Мужественные и сильные не спиваются — это участь слабых. И если человек не способен принять ответственность на себя, взяв себя в руки, то как он может взвалить на себя ответственность за чью-то судьбу? Для того, чтобы кому-то помочь, защитить нужны деньги, слава или власть. Ничего этого у Олега не было, а потому все это был блеф! И этот блеф и безответственность, стремление не быть, а казаться мужчиной, в конце концов толкнули бы ее на новые поиски.

Она просто придумала его и влюбилась, а может влюбилась, а потом придумала. Последнее, пожалуй, правдоподобнее.

Я страшно не хотел, чтобы она ошибалась. От этого сейчас зависело ее выздоровление. До тех пор, пока она будет ошибаться, она будет болеть. А это очень и очень опасно сейчас для ее нервной системы и психики.

А потому и не удивительно, что иногда мне хотелось разочаровать ее. Вовсе не для того, чтобы устранить соперника с дороги, а ради ее же выздоровления, истины, принципа. Как, говорится, Платон мне друг, но истина дороже. Но я долго не отваживался это сделать, молчал, боясь обидеть, причинить боль. И если бы она постоянно не тыкала мне Олегом, не говорила мне почти постоянно о своей любви к нему, если бы я увидел с ее стороны хоть малейшие подвижки, направленные к выздоровлению, то я, может, никогда бы и не отважился развенчивать его в ее глазах.

Я никогда не ревновал ее к Олегу, может, еще и потому, что живя с ним, она часто захаживала ко мне, да и вообще, это очень глупо — ревновать к мертвому.

В душе я скорее уважал Олега, больше того, мне было жаль его, молодого и крепкого, так нелепо и по-глупому погибшего. Я ей никогда не говорил, но иногда мне казалось, что я даже люблю его, наверное, потому, что его любила Рая. Я любил всех, кто имел к ней хоть какое-нибудь отношение. Любил всех ее знакомых, подруг...

Не спору, видать, Олег действительно был хорошим, добрым, искренним, честным человеком. Любить плохого человека Рая просто не смогла бы.

Но в то же время он был и слабым: у него не было самолюбия и силы воли, чтобы не опускаться, побороть свой порок. А потому серьезной профессии он не приобрел, в сорок лет садить елочки — это детское занятие, своей школы, иными словами, семьи не создал, в любви оказался безответственным по отношению к тому, кого приручил, погубив и свою, и Раину жизнь. Выбирая между Раей и водкой, он, не колеблясь, выбрал водку, выбросив Раю, по сути, на помойку.

А потому то, чего у него не было в характере, он просто декларировал.

Впрочем, это естественно, когда бандит или вор хочет выглядеть честнейшим и благороднейшим, слабый — сильным и решительным, честный, стеснительный и благородный — вруном и разбитным малым, трус — героем. Мошенник часто хочет выглядеть честным, честный иногда не прочь прослыть мошенником, развратник — высоконравственным... На показ всегда выставляется то, чего нет, а то, чего в избытке, — прячется. Одним словом, если выпячивается геройство, так и знай, что под этой личиной прячется мелкая и трусливая душонка.

Олег, скорее всего, боялся один идти за вещами к Мише, а потому и пугал Раю, что как только он узнает адрес, так сразу и убьет Мишу, дабы Рая сама отказалась брать его, не приглашала... Чем не сказочный эпизод: «Не посылайте меня по воду, иначе я выкопаю колодец».

Серьезные дела делаются молча, без крика. По делам их узнаете их, сказано в Библии.

— Мне иногда кажется, что я помешала вам с Галей... Влезла. — наконец, переменив тему разговора, сказала Рая. — Давай будем хоть заходить к ней. Я теперь перед всеми виновата...

— Ну, а что касается Гали, то я вот что тебе скажу: есть люди, которые очень любят коллекционировать старые ненужные вещи, например, прохудившуюся обувь. Носят они обычно новую, а эта пусть лежит, пылится в кладовке. Попробуй кто-нибудь выбросить или попроси — не дадут, пусть стоит. Так и Галя. Я ей не нужен. Но если, не дай Бог, кому-то понадобится, как тут же сразу поднимается буря в стакане воды.

Нам всегда удавалось с Раей общение. Поужинав, мы каждый раз долго разговаривали с ней.

— С первым мужем развелась из-за того, что съездив на несколько дней домой в гости, он привез оттуда и наградил меня лобковыми вшами. Теперь думаю, надо было ему простить... Я бы, наверное, и простила, если бы... он сам не признался...

Ну, а Гена, он был на два года млаже... от него у меня младшая Юля, водил свою любовницу прямо в дом...

— Может, он любил, ревновал тебя? Или делал это тебе в отместку?..

— Как ты смеешь?! — неожиданно вспыхнула Рая. — Олег меня всегда защищал, а ты становишься на сторону моих врагов... Миша у тебя хороший, Гена все делал в отместку... Если бы ты только знал, сколько зла он причинил мне?

В наших отношениях была одна странность: я говорил ей одно, а она почему-то (наверное, в силу своих комплексов), всегда слышала совершенно другое. Будто мы играли в испорченный телефон.

Возьми вот, посмотри фотографию...

Рая изменилась в лице, ее всю трясло, она трепетала, было видно, что это ее больное место. И я в который раз воочию убедился, что ее нервная система после смерти Олега основательно расшатана. И я решил: «Надо ее как-то разочаровать в Олеге, иначе она погибнет».

— Неужели это ты? — включив ночник, чтобы получше разглядеть, спросил я, глядя на потемневшую от времени фотографию. — Узники Бухенвальда и Треблинки были исправнее тебя... — и уже повернувшись к Рае, глядя на ее завораживающий овал лица и вдыхая дурманящую пряность выкупанных волос, сказал: — Пойми. Я никого не защищаю... Я просто не могу поверить, что на этой грешной земле есть хоть один мужчина, который мог не любить тебя. Это просто не возможно... А потому, кого бы он не приводил, он все равно любил тебя.

— Что? Я не согласна с тобой...

— Ладно, спорить не будем. Спорить, значит наживать врагов.

— Согласна...

— Ты знаешь, Райчо, что дворяне, для того, чтобы подольше сохранить притяжение друг к другу в браке, спали порознь и в разных комнатах, всю жизнь ходя друг к дружке, как на свидание. Стучась вежливо в дверь. Многие за всю свою жизнь даже не

видели друг друга обнаженными... Это скотские условия жизни простолюдина заставляли его день и ночь тереться друг о друга.

— Ты что, предлагаешь, чтобы и мы с тобой спали, как дворяне?

— А почему бы и нет...

— Хоть верь, хоть нет, но раньше, когда я приходила к тебе, я всегда с трепетом и почтением думала: «Неужели, и правда, я сижу в кресле писателя!» Митя, как я только благодарна тебе за все! — Рая наклонилась ко мне, крепко поцеловала в губы. — Спокойной ночи.

— Спокойной и тебе.

Часы показывали час ночи.

... Каждый вечер мы говорили с ней очень долго. И это изнуряло, особенно ее. Мы могли говорить с ней часами, целыми днями; и не могли наговориться. И при этом никогда (не считая той вспышки) по-серьезному не ссорились. Это было пиршество общения, нескончаемый и великолепный в своем никогда не завершающемся течении, праздник. Я буквально растворялся в ней, как соль в воде, «как Врубель в Рублеве». Такое случилось со мной впервые, а потому было удивительно для меня и в конечном итоге nepocтижимо. Нас притягивало совершенно редкостное единение родственных душ, делая даже страдания удивительно сладкими, постепенно превращая их в свою противоположность.

Первая жена была не только чужой, но и чуждой. Лежа рядом в одной постели, мы по сути, духовно, были на разных полюсах Вселенной. Галя была ограниченной и недалекой, Маша — недоступной. И только Рая — родная душа, моя вторая половинка. И так во всем остальном: созвучие, взаимопонимание, эхо.

— Райчо, ты мое отражение, моя душа, мой воздух, мое дыхание. Неужели не видишь, не чувствуешь? Ты — это я, а я — это ты! Я люблю тебя так, как никого и никогда не любил.

— Я не верю.

— Почему?

— Потому, что так не бывает. Ведь я у тебя далеко не первая... Не жена?

— Ты больше, нежели жена. Ты — жизнь. Неважно, что моя любовь к тебе родилась из жалости к твоим страданиям, а еще из того, что бросив тебя в руки Олега, я по сути, неосознанно предав тебя, был повинен в них.

— Нет, нет! Ты здесь ни при чем...

— Верь мне, Райчо, я говорю правду. В молодости чувства

были отравлены ревностью, гордостью и еще черт знает чем...

— А сейчас?

— Сейчас они чисты и светлы, как слеза, глубоки, как синева небес, искренни и откровенны, как Святое письмо. Они не замутнены житейской логикой, выгодой, расчетом.

— Согласна...

Вдохновение, соединившись с любовью, рождало во мне такие возвышенные монологи, что я сам удивлялся собственному красноречию, выпренности речи.

Я обнял Раю, прижал к груди, а она, едва уловимо смигнув своими восхитительными длинными ресничками, сказала:

— А я все равно не верю. За что меня можно любить? Меня можно только ненавидеть...

— Не смей оговаривать себя! Ты еще очень молода, а главное ты нежна добра и... очень, просто необыкновенно красива. А еще, ты — слабая...

— И еще, скажи, старая...

— А потому тебя постоянно хочется пожалеть. И вообще, у тебя все прекрасно: от мизинца ноги до копны волос на голове. Ты — само совершенство.

— Я самая что ни на есть обычная, — лежа рядом на диване, убеждает меня Рая.

— Какая же ты обычная, если у тебя все необычно? У всех близкие отношения между мужчиной и женщиной именуются мерзкими, отвратительными словами, самое безобидное из которых — трахаться, а у тебя даже это называется динь-динь. Где ты его откопала? Сама придумала или где-то вычитала, услышала?

Я говорил и нежно гладил ее тело, груди, лобок и опять ноги.

— В детстве, в одном из фильмов.

— В каком?

— Угадай.

— Ты же знаешь, что это невозможно. Говори в каком?

— В фильме «Робинзон Крузо».

— Вот видишь, этот фильм видели сотни тысяч людей, а может, даже миллионы, среди них был и я, а вот запомнила название этого действия одна ты. Я больше ни от кого и никогда не слышал... А потом... ты божественно, а может, безбожно красиво сложена.

Я с замиранием сердца ласково и нежно продолжал гладить ее ноги, тело, грудь, волосы и опять ноги. Когда она лежала рядом, я не мог удержаться, чтобы не прикоснуться к ней.

Рая тихо и сдержанно улыбнулась, быстрее (наверное, от восторга) замерцала своими удивительными ресничками, и я поцеловал ее пахнущие лавандой волосы сначала у виска, потом выше.

— Что ты меня целуешь? Я сегодня еще не купалась.

Она встала и пошла в ванную.

Купание для Рай было каким-то священнодействием, ритуалом, который она исполняла с завидным постоянством, не пропустив за то время, что мы прожили вместе, ни единого дня. Может, из-за этого она так удивительно и постоянно пахла незнакомыми, волнующими запахами. Нет, я не правильно выразился, она не пахла, она благоухала, словно я находился возле поляны из сотен тысяч цветов.

И все же иногда мне хотелось всласть подышать ее настоящим телесным запахом. «Все люди пахнут телом», — сказал однажды поэт, и это — так. Этот телесный запах, другими словами эманация, можно было уловить в ее старой, ношенной одежде, нижнем белье, сарафане, летнем платице, а еще — под мышками, в слегка пропотевшем рукаве ее давно нестиранного платья с коротким рукавом, которое она иногда одевала дома.

Боже, что это был за запах! Он возбуждал, пьянил, я буквально сходил от него с ума.

Бывает, с трудом привыкаешь к чужому телу и запаху, потом вдыхаешься и со временем перестаешь замечать. Не зря говорят, если человек принимает чей-то запах, то он принимает и самого человека. Он даже может стать ему близким. Запах Райных подмышек был для меня слаще меда и благоуханнее всех цветов, дороже и приятнее всех французских шанелей, и я вскоре понял, что просто не могу без этого запаха жить. Посвежевшая и радостная Рая вышла из ванны, завернутая в большое махровое полотенце.

Я подхватил ее на руки, отнес в спальню, чтобы опять обладать ею, целовать ее ноги, ступни, мизинчики, пальчики рук и ног, ее прекрасный, восхитительный впалый живот, и не мог вдоволь насладиться источаемым ее телом ароматом и сладостью. Передо мной была Райчо, женщина, которой я не мог насытиться, теряя от поцелуев, близости, дар речи, рассудок, а может, и всякий стыд.

— Митя, не надо! Не-на-до. Не-на... Ох!

Испытывая яростное сопротивление, моя упругая плоть, наконец,

вошла в ее лоно.

— Райчо, мое любимое Райчо! Я не могу без тебя, слышишь? Ты создана для любви! Посмотри на свои крохотные ручки. Разве они для труда? Слышишь?

— Слышу! Слышу! Ох!!!

— Я не могу жить без тебя! Я без тебя погибну!

— Нет! Не надо. Только не это... Ах!

Почти каждое мое движение приводило ее в экстаз, за которым в недрах ее лона происходил упругий разряд.

Я чувствовал эти следующие друг за другом разряды своим резвым шалуном, особенно его верхушкой. Рая то сжимала его, то разжимала и снова сжимала и... снова разжимала... Это длилось очень долго, бесконечно долго, целую вечность. Я умирал с окончанием каждого такого разряда и снова рождался с началом нового.

— Райчо! Что ты со мной делаешь? Слышишь, я погибаю! Ах! Что ты делаешь? Ох, Боже, что ты только со мной делаешь, Рая, мое золотое, мое бесценное Райчо! — шептали мои пересохшие, полубезумные губы.

— Митя, тебе хорошо со мной?

— Конечно!!!

— Ну, говори же? Ну?

— Да, Райчо! Да!

— Очень-очень?

— Да! Да! И еще тысячу раз да! Ты мое счастье! Мое солнце! Мой воздух! Моя жизнь! Я погибну без тебя! И с тобой тоже. Слышишь?

А она снова и снова задавала мне один и тот же вопрос своим страстным, дрожащим от восторга голосом:

— Нет, тебе и правда, хорошо со мной?

— Да! Хорошо! На земле так не бывает. Да и на небе, надеюсь, тоже!

— Правда? Неужели это правда?

— Да! Да, Райчо! И еще миллион раз да!

Она тысячу раз умирала и тысячу раз рождалась снова, от желаний, от пылания изголодавшейся по мужскому телу и ласке плоти, а я все не отпускал ее из своих объятий.

— Митя! Я не могу больше! Слышишь? Какая сладкая мука и какое...

— Да! Да, слышу. Обожди! Совсем немножечко... счастье мое...

и жизнь моя!

— Ах, я, и правда, не могу, я уже совсем-совсем не могу! я немо... я не... Мне бо...! Боже... какое наслаждение и... какое блаженство!..

Рая лежала подо мной и закрыв глаза скулила, будто щенок.

— А-а-а-а! — наконец закричал я, ударяя в ее лоно оргазмом.

И словно вторя моему восторгу, Рая вскрикнула в ответ и, закрыв глаза, обмякла.

— Ну, а теперь спрошу я: «Тебе хорошо со мной, Райчо?»

— Еще бы! Ты прекрасный любовник.

— Я никогда не устаю от тебя ни морально, ни физически. И вообще, ты никогда не надоедаешь мне и не надоешь. Никогда-никогда!

В тот вечер я очень много рассказывал ей:

— Один мой знакомый-сосед, к сожалению уже покойный, любил иронизировать, дескать: «На кого ты пялишься, ведь она же плоская, как доска! На досках еще належимся». — И вдруг вспомнив, что Рая худая, и я сболтнул лишку, я вдруг начинал раскаиваться. — Только ты не воспринимай это на свой счет, ты, вне всякого сомнения, вне сравнений, как жена Цезаря, вне подозрений.

Я не врал, не лицемерил. Все, что я говорил, даже если в говоренном был какой-то намек на Раю, совершенно не касалось ее. В моем сердце она всегда была автономно-обособлена, идеалом, не подвластным абсолютно никакой критике, никаким подозрениям, оценкам, словно она только-что спустилась с небес и еще не коснулась своими нежными пальчиками этой греховной земли.

А потому я, наверное, часто, совсем не подозревая того, подсознательно делал подобные ошибки, чем, по-видимому, очень часто раздражал Раю.

— Ладно, поверю.

— Райчо, прочитай, что ты еще написала за это время.

— Я хочу назвать теперь, когда Олег умер, эту вещь так: «Возьми мою жизнь». Как ты на это смотришь?

— Думаю, очень удачное название.

— Ну, а теперь слушай.

Рая наклонилась, тихим грудным голосом принялась читать:

...Он никогда не узнает... Он не должен даже подозревать, как сильно она его любит.

Да и зачем, если скоро... Последний приступ был просто невыносим...

Она видела, как рушится мир в его глазах. Нет, это была не тревога, не безысходность, которую он всегда тщательно скрывал ото всех, только не от неё. В этот раз он просто умирал вместе с ней.

Она пыталась скрыть свою боль. Господи, каким образом внушить ему, что это неизбежно. Она скоро уйдет и будет ждать его там. Лишь бы он был здоровым и счастливым.

Он с самого начала предоставил ей свободу и никогда не посягал на ее независимость, которой она так дорожила.

Она курила на кухне и смотрела в окно. На столе лежали беспорядочно разбросанные газеты и журналы с кроссвордами, которые она любила разгадывать, заглядывая в ответы...

Глядя куда-то вдаль, она не могла понять, как ему внушить, что так бывает... В следующее мгновение она услышала шорох и звон ключей в прихожей. Сердце ее запрыгало от радости. Это он!

— Маленькая моя, я пришел. Ты меня ждала или деньги?

Как же ей хотелось повиснуть у него на шее и сказать, что она ждала его ... всю свою жизнь. Но она осталась сидеть за столом. Потупив взор и потушив сигарету, сказала:

— Деньги, Олег! Я жду только деньги.

— Я так и знал! Тогда я приму душ, и мы сможем сходить... хочешь в кафе... ты говорила...

— Я сейчас ухожу. Мне нужно.

— Рай, с тобой все в порядке?

— Да. Не смотри на меня так. Я ухожу.

Он хотел сказать, что понимает ее и любит, и никому никогда не отдаст. Даже смерти.

— Господи, пусть это буду я! Только не она, — сказал он вслух. И пошел в душ.

А она уже спешила вглубь парка. Убегая от него, она хотела убежать от себя.

— Что я тебе скажу. В одной из критических книг эмигрантов-евреев, недавно вышедшей в Америке, утверждается, что вся классическая русская литература изобилует беспомощными описаниями любви. С появлением твоей повести подобное утверждение теряет всякий смысл. Возьми хоть эти слова: «Я сейчас же тебя убью. Ты об этом знаешь?».

— И что ты видишь в этом особенного?

— А то, что он прекрасно чувствует ее интонацию, иносказательность, так называемый эзопов язык, а потому и отвечает: «Да. Я согласен, чтобы ты меня убивала каждый день».

— Она же продолжает иронизировать над ним: «Ну, и дурак».

— На что он с достоинством отвечает: «Конечно. А разве умный может тебя полюбить? Ты же невыносима!».

Проза у тебя, не по-женски напористая, полнокровная, динамичная и в то же время сдержанная, может даже не соответствующая твоему, кажущемуся мягким, характеру (на самом деле он таков, какова твоя проза).

От этого твое мастерство высоко и непререкаемо, оно никого не оставит равнодушным. Силовое поле твоего письма, стиля, твоей мысли мощно, а энергетический потенциал высок. Повествование стремительно втягивает читателя в водоворот событий. Так что пусть читают, Райчо.

— Ты, как всегда, преувеличиваешь...

— Ничуть.

— Впрочем, это не имеет никакого значения. Я дальше писать не буду. Не хочу снова переживать его смерть, пусть даже на бумаге. Это слишком тяжело для меня. Тем более, что я виновата в его смерти... Все ждали, что умру я, а умер он...

Рая опять заплакала.

— Ты виновата в неправильном поведении, но не в смерти... Тебе же снился, ты говорила, сон перед его кончиной...

— Да. Снилось...

— Значит, это было неизбежно. Ладно, не вспоминай, не расстраивайся.

— Хорошо, не буду... Почитай мне что-нибудь свое.

— Давай я лучше почитаю тебе Чичибабина, Ахматову.

— А потом Библию...

— Согласен.

Разговаривая и читая, мы опомнились лишь тогда, когда стрелки часов перевалили за полночь. А мы все еще продолжали разговаривать и все никак не могли наговориться. Я мельком взглянул на часы, стрелки показывали второй час по полуночи. Время отходить ко сну. Но, Боже, как мне не хотелось отпустить свое Райчо и ложиться спать. Боже, какой она замечательный человек: добрый, внимательный, ласковый, нежный... Какая она необыкновенная женщина?

Зачем и кому нужна эта отвратительная ночь, этот сон, если

это чудо, Райчо, находится рядом, и с ней хочется говорить и говорить, наслаждаясь общением и близостью, целуя ее грудь, волосы, живот, сходя с ума без наркотиков и пьянея без алкоголя. Смотреть и смотреть в ее бездонные, как вечернее небо синющие глаза, дышать с ней одним воздухом и беззастенчиво верить.

Каждый вечер, прощаясь и уходя на ночь в другую комнату, она наклонялась и жарко целовала меня в губы.

Две недели идиллии пролетели как один миг. Рае опять пришло приглашение на работу в Москву. Мне не хотелось ее отпускать, но я должен был смириться.

— Обещай, что постарайшься мне не изменять, — попросила Рая.

— А ты?

— И я... Постараюсь...

Я взглянул на нее и вдруг сказал:

— Рая, если ты уедешь и больше никогда не вернешься, бросишь меня, и мы завтра расстанемся с тобой навсегда, то и в таком случае я буду благодарен Богу и тебе до конца своих дней за нечаянно подаренный мир, за это двухнедельное необыкновенное, непостижимое и ни с чем не сравни мое счастье, которого до тебя у меня никогда не было и уже никогда не будет.

Я смотрел на нее влюбленными глазами и думал: какая это огромная, просто необыкновенная награда, — что ты рядом со мной. А все то плохое и мерзкое, что я слышал о тебе, не клеится, не пристает к тебе, а значит, его и нет.

То же самое и с прошлым. Оно не совместимо с твоим ликом. Оно стоит отдельно, чужое, инородное, тебе не принадлежащее, а ты, — отдельно, сама по себе, чистая, искренняя, честная и прекрасная, как слеза ребенка.

У каждого из нас есть свое прошлое, хорошее, плохое, какое досталось в наследство от Бога или, может, от дьявола, кто-то же его дал, и с этим ничего не поделаешь.

Каждый миг, каждый день и час у меня была потребность что-то делать для тебя и Юли, помогать, тратить деньги, испытывая при этом удовольствие и радость, сравнимые разве что с близостью, граничащее с наслаждением.

Делая с тобой день-день, я уже не нахожусь на этой земле, а как-будто на время отъединяюсь от этой жизни и от всего реального, земного и парю где-то в поднебесье, в абсолютной невесомости, не ощущая никакой связи с землей. Я не чувствую

ни боли, ни обид, ни разочарований, ни потерь, ни физических и душевных ран: я невесом и невменяем от благодати и счастья, а может, от чего-то высшего, чем они. С каждым день-день я как будто умираю и рождаюсь заново, и уже ничто не волнует и не тревожит меня. Сбрасывая с себя тяжкий груз десятков лет, я как будто заново рождаюсь: у меня, кажется, никогда не было прошлого, а следовательно, неприятностей и разочарований, связанных с этим прошлым, а есть одно только настоящее и будущее.

— Райчо, ты изменяешь не только мой внутренний мир, но и восприятие внешнего. Благодаря тебе я сейчас вижу совершенно иной мир, другое небо и звезды, чем час тому назад, чем вообще... Я чувствую, как летят мимо волшебные миры и галактики, а созвездия и космические туманы проносят меня мимо черных дыр, и мириады звезд Млечного Пути проплывают, паря на волшебных лебединых крыльях, как серафимы, и зеленый серп луны качается и щерится в лукавой и понимающей улыбке.

— Неужели это правда?

— Да. Это правда.

А на следующий день, сделав на прощанье день-день, я провожал Раю к подруге, от которой она должна была завтра же отбыть в Москву.

Мы вышли на улицу. Вверху, над головой, мерцали звезды. Я взглянул на сказочное небо в алмазной россыпи звезд, на такие же ярко освещенные осенние улицы, спрятанные в фееричном полумраке дома, и не узнал, словно видел все это впервые. И я вдруг понял, — это все от Райчо! Это наша близость окрасила и, трансформировав, все превратила в сказку: и дома, и улицы, и звездное небо и сам воздух, благоухающий, как и бесценное Райчо, и все-все — то, что есть и что будет, реальное и мнимое, существующее, может быть, только в моем воображении.

Я никогда не принимал наркотиков. Я лишь читал, что испытывает человек, принявший героин или трамадол. Полное отъединение от всего земного, уход в мифический мир, погружение в кайф, в нирвану. Со мной, когда Райчо рядом, происходит то же самое, только в тысячу раз сильнее. Ее тело, ее голос, запах, ее дыхание, ноги, руки, лоно, попа, буквально сводят меня с ума.

А вечером я отправил Рае СМС-ку: «Солнышко, Листочек, моя Росиночка, Сокровище, Зернышко, Дыхание мое, желаю счастливой

дороги».

Все эти без малого два месяца, пока Рая отсутствовала, у меня только и разговоров было, что о ней. Гулял ли я по лесу, или ехал куда-нибудь, мысли и слова неизменно возвращались к ней. Ее не было рядом, но я мысленно разговаривал с ней:

«Ты давно уехала, и я понял, как мне дорого все в тебе и все, что касается тебя: случайно оброненный тобой листик, на котором ты писала: «Дедушка Самсон, пошли мне сон со всех четырех сторон» ... твой запах, в спрятанном под подушкой платье, твой почерк, твоя дочь.

Райчо! Мне иногда снится, что мы разговариваем с тобой по телефону, и, проснувшись, я не сплю потом целую ночь?»

А однажды ночью, перед Новым годом, мне приснился дивный сон. Сумерки. Впереди узкая дорога, вернее тропка, ведущая через густой, непроходимый лес в неизвестность, в кромешную темноту. Вдруг мне на грудь запрыгнула рыжая сука, и я понес ее на руках. «Нет, нам там ни за что не пройти, впереди засада, нас там убьют», — подумал я и, развернувшись почти на сто восемьдесят градусов, повернул обратно.

Вскоре я вышел на широкую, асфальтированную дорогу. Рассветало. Собака по-прежнему сидела у меня на руках, изредка пытаясь вырваться, как мне подсказывало наитие, на блядки, но я не отпускал ее. На этом я и проснулся.

Рая так ни разу и не приснилась, хоть я и хотел очень и просил дедушку Самсона.

А за две недели до возвращения Раи мне приснилась свора бешеных котов. Мой покойный отец гонял их в темных сенях нашего дома, а они рычали и бегали.

Собака — это, конечно, друг, а может, и Рая, которую я несу на руках, а коты — прелюбодеи.

Все может быть. Время прошло достаточно, и работало оно против нас с Раей.

Юля по-прежнему училась в техникуме и приезжала домой только на выходные. И тем не менее, несмотря на редкие встречи, мы подружились с ней, и я полюбил ее как дочь.

— Завтра мама приезжает, — сказала как-то она. Но Рая не приехала.

Возвратилась Рая домой только через неделю, в самом конце января. На столе у нее лежало давно написанное мной шуточное новогоднее стихотворение.

* * *

Новый год, как чистый лист,
Что напишешь, то и будет,
Под снежинок падолист
Чувства новые разбудит.

Ах, ты, Рая! Чудо, Рая!
Вспоминаю в оны дни,
Как пришла ты, как встречал я,
Как любил! Ты извини!

А снежинки землю кроют,
Хоровод ведут леса.
Новый год нам дверь откроет
В счастье, в радость, в небеса.

На душе тоска и камень
В прошлый, в старый, в Новый год...
Мое сердце чисто пламень!
В твоём сердце только лед.

Она взяла его, прочла и молча, не сказав и слова, положила обратно. Я так и не понял, понравилось оно ей или нет.

Может, ей не понравилось это: «Ах ты, Рая! Чудо, Рая!»

Я ничего не спрашивал у нее, она ничего не рассказывала, кроме того, как ей тяжело было получить заработанные деньги и вырваться домой.

Мы отвыкли друг от друга, я не желал близости. Но все-таки в тот первый вечер она произошла.

По возвращении Раи из Москвы наши отношения с ней по-прежнему были хорошими, близость столь же желанной, красочной и яркой, и все же что-то поменялось в нашей жизни. Я до сих пор не знаю в ком? в ней, во мне? В нас обоих? И это мешало нам жить полнокровной жизнью.

Каждому, а особенно Рае, не хватало в этой жизни ощущения внутренней свободы. Рая точно не могла так жить, не могла выносить гнета, даже если причиной этого гнета являлась она сама.

Я искренне хотел и стремился ей помочь, но пока у меня

ничего не получалось.

Отсутствие жилья у нее и родительского крова у ее детей сильно омрачало и усложняло не только ее, но и мою жизнь.

Она втайне, видимо, считала себя неудачницей, несчастливой, невезучей, а меня успешным и счастливым, а потому иногда не могла спокойно взирать на меня, радующегося. В такие минуты иногда ей хотелось причинить мне боль, но она почти никогда не поддавалась этому искушению. Видя, как я отчего-то мучаюсь, она никогда не радовалась достигнутому паритету. И хотя с ней и в ее присутствии я не мучился и никогда не страдал, но ей иногда так казалось. Ну, и пусть, я не разочаровывал ее.

Я был счастлив с ней, и мое счастье стоило очень дешево: совсем ничего. Я без сомнения был счастлив с ней даже без объятий, без поцелуев, а только от того, что делал для нее что-нибудь, а еще от того, что она была рядом.

Ранней весной я купил Рае сапоги. Она была неподдельно счастлива. А с нею был счастлив и я. Тогда я впервые понял, что самый счастливый человек — это тот, кто умеет радоваться чужому счастью. Своего счастья может и не быть, а чужое — всегда вот оно.

Как-то в марте, мы шли с Раей к центру.

— Рая, пойдем, я куплю тебе кольцо, — неожиданно предложил я.

— Зачем?

— Просто, я так хочу.

Вернувшись домой, Рая похвасталась дочери:

— Посмотри, дочурка, какое мне дядя Миша кольцо подарил!?

— Что за кольцо? — спросила Юля.

— Обычное, золотое...

— А почему обычное, а не обручальное?

Рая не нашлась, что ответить.

И я опять был счастлив. А еще через неделю я купил сапожки и ее дочери Юле. Боже, как Рая протестовала, как упиралась!

— Митя, не надо! Сезон заканчивается... Переходит как-нибудь в старых!

Но я был непреклонен. Я сильно любил и ее, и ее дочь. Любил обеих дочерей: и Юлю, и Иру. Нельзя по-настоящему любить женщину и не любить ее детей.

А еще я очень хотел быть счастливым.

По прошествии нескольких месяцев Рая вдруг объявила, что несмотря ни на что, ни на мои успехи, ни на деньги, которые я якобы по ее прикидкам должен был вот-вот получить, она уходит

от меня.

— У тебя появился очередной мужчина?

— Думаешь, что хочешь...

— Нет, я серьезно...

— Нет у меня никого, — не на шутку рассердилась Рая. — Как только он появится, первым, кому я скажу об этом, будешь ты.

— Не верю!

— Ты думаешь, с тобой легко? Мне тяжело с тобой не только потому, что ты много обо мне знаешь, а главным образом потому, что я во всем чувствую твое превосходство, в том числе и моральное. Я не достойна тебя. Тебя полюбит другая. Потом, я так не привыкла... Я хочу, чтобы мужчина был зависим от меня, служил мне...

— Это можно исправить... А разве я...

— Ты... нет...

На следующий день она ушла к моей знакомой Гале на квартиру. Галя, лишь бы насолить мне, отдала ей квартиру бесплатно.

Но наше расставание, благодаря моей настойчивости, было недолгим. Связь, по крайней мере мобильная, между нами не прекратилась. Однажды не дозвонившись, я не выдержал, приехал к ней, перепрыгнув через забор, (калитка была заперта), постучал в дверь. Она включила телефон, сказала:

— Я не одна, и прошу не беспокоить.

Я смутно помню, что было со мной потом: я куда-то шел, ехал, летел. Опомился, когда оказался на железнодорожных путях. Я не мог успокоиться до тех пор, пока она сама не позвонила мне где-то около полуночи. И только после этого я провалился в глубокий сон.

Рая теперь опять была абсолютно свободной, я же по-прежнему нет.

Вскоре я уговорил ее съездить со мной в Киев. Каким я был только счастливым, когда она согласилась, хотя она меня часто и воспитывала, когда я у кого-нибудь что-нибудь спрашивал:

— Митя, ты обращаешься к людям, как будто они чем-то обязаны тебе!

И я подумал, что Бог дал любовь человеку не случайно, а для того, чтобы мы не видели недостатков друг друга, а еще лучше, обращали их в достоинства.

Больше на эту тему мы не говорили, а по приезде домой в нашу судьбу опять вмешался его величество случай. Рая

устроилась на работу в Харьков, на кондитерку.

Проходили за днями дни, пустые, бесцветные. Ничто не радовало меня. Я не знал, что мне делать, как быть. Жизнь шла мимо меня. Где бы я ни был дома — в гостях — все проходило мимо. Люди вокруг разговаривали, смеялись, общались, чем-то интересовались, жили. Я же ничего этого не слышал, не видел, я жил одной только Раей.

В светлый солнечный день, на Пасху, она прислала мне СМС-ку, и я, благодаря Богу и ей, ожил, жизнь снова обрела смысл и значимость, обнадеживала. Весеннее солнце, которого я не замечал, засветило и для меня.

Она вернулась к себе, а точнее в пустующий дом к Гале, ровно через неделю и, позвонив мне, попросила, чтобы я приехал и помог включить ей отопление. Несмотря на весну, опять похолодало. Я с радостью согласился. Что-нибудь делать для нее было для меня счастьем.

— Так вот, у меня есть мужчина, — сказала Рая. — Я теперь навсегда уезжаю к нему в Харьков.

— Ну, что ж, я рад за тебя... Желаю удачи...

Я даже не стал возражать против ее поездки. Да и не было у меня на это права. Не муж, она мне не жена. К тому же в последнее время мы по-прежнему жили порознь.

Оказывается, занемог давний знакомый Раи Валера. Зная, что Рая прекрасная сиделка и человек глубоко и искренно сочувствующий чужому горю, он через общую знакомую попросил Раю приехать к нему, поухаживать, пообещав при этом, зная, что Рая без жилья, как только появятся деньги и он выздоровеет, переписать на Раю свой дом в Харькове.

Рая обратилась к гадалке и та подтвердила, что дом — вот он — у нее в руках, только надо поторопиться.

Господи, как она только радовалась подвернувшемуся случаю.

Устроив все дела и включив отопление, я собрался уезжать.

— Митя, ты хочешь динь-динь?

— Нет, зачем, у тебя же есть мужчина...

— Нет, ты мне скажи, ты хочешь динь-динь?

— Ну, если ты не против...

— Я с ним еще не была... Я чиста перед тобой...

Я не хотел делать с Раей динь-динь там, где я не так давно предавался греховной страсти с Галей, и где это, наверное, делали все ее знакомые, друзья и подруги, а потому усадив Раю на

велосипед, я увез ее домой. У меня дома с Галей мы были очень и очень редко. Все «позиционные» бои, как правило, происходили на ее территории.

Мы опять стали встречаться с Раей, и эти встречи были желаннее и ярче, чем наша жизнь вместе, под одной крышей, постепенно ставшая рутинной. А главное, мы опять были счастливы.

— Митя, я потянулась к тебе душой, — однажды сказала мне Рая. — Я хожу у него по двору и мне все время кажется, что ты где-то рядом, у меня за спиной. Теперь мы будем с тобой вместе. Я так решила. Хватит скитаться по чужим квартирам. Все! Сажусь на задницу и сижу... И теперь мне никакая Галя не скажет, что я живу с тобой только потому, что у тебя есть жилье. И вообще, теперь мы будем жить с тобой в Харькове.

— Там видно будет. Скорее всего, в Харькове будет жить Юля...

— Там хватит места всем. А еще я хочу, чтобы дружили наши дети...

— Если б ты знала, как я рад за тебя!

— Целую тебя! До завтра.

По телефону Рая читала мне новые главы из своей повести, сообщала о симптомах болезни Валеры, а я уже потом консультировался со знакомыми врачами, ловя себя на мысли, что впервые в жизни радуюсь чужому горю, несчастью, и даже больше, желаю Валере смерти и жду ее. Ибо, если он выздоровеет и она останется с ним, я не переживу этого.

Теперь же (особенно, когда я узнал от местных врачей, что Валера неизлечимо болен) во мне теплилась призрачная надежда: а вдруг он умрет и у меня тогда сразу отпадает необходимость заниматься ее пропиской, приобретением жилья?

Мы снова строили с Раей радужные планы, мечтали:

— Возвращайся, Райчо! Бросай все и езжай ко мне. Пусть он горит синим огнем этот его дом. Я уже не могу без тебя!

— Обожди немного... Я, право, не знаю, что делать...

— Что ты думаешь! Будем делать с тобой одно дело... Вместе будем работать. Я буду помогать тебе, ты мне...

— Чем?

— Советом, добрым словом, напутствием, поддержкой, наконец!

— Ну...

— Ты считаешь мои рукописи, выскажешь свои замечания, я твои... Так и будем помогать друг другу... Я не могу, не имею права отдать тебя какому-то слесарю, зеку, забулдыге, чтобы ты бегала на побегушках, носила им бутылки... или была сиделкой, что, конечно же, ничем не лучше... Что они могут дать тебе? Тот же Миша, Валера или Олег? Ведь ты — талантище! Таких, как ты, в русской литературе мало. Да и вообще мало... Ты много упустила, потеряла, а потому тебе надо многое и быстро наверстывать. Я же для тебя сделаю все возможное и невозможное...

А через неделю Рая позвонила и сказала:

— Митя, что мне делать? Он обманул меня... Он не собирается ничего переписывать... Как мне в таком случае поступить?

— Этого надо было ожидать... Бросай его и езжай ко мне!

Так снова началась наша совместная жизнь.

— Митя, тебя мне сам Бог послал! — восторженно говорила Рая.

Благодарный и счастливый, я молчал.

Потом Рая сделала неожиданное откровение:

— Все мужики козлы!

— А я?

— Ну, ты, может и нет, но иногда тоже приближаешься...

— К кому?

— Ну, известно же, к козлам... — Рая тихо засмеялась. — Я пошутила. Ты нет... Хотя, как сказать, все мужики использовали меня, и ты тоже...

— Нет, Рая, тут ты ошибаешься и очень сильно.

— Возможно, и ошибаюсь. Вообще у тебя в характере есть одна черта, которой я не наблюдала ни в одном мужчине...

— Какая?

— Не скажу...

— И все-таки...

— Ты умеешь дружить с женщиной.

— Я умею дружить с тобой...

Иногда Рая была не в духе, и тогда мне казалось, что в моем лице она мстит всему мужскому роду, всем мужчинам, намеренно или случайно причинившим ей некогда боль. А заодно всему счастливому человечеству. Видеть чужое счастье порой было невыносимо для нее. Нет, не думаю, что она завидовала. Ей просто было больно на это смотреть, тогда она не выдерживала, говорила:

— У тебя квартира, дети, образование, чего хоть ты печалишься?

Впрочем, я никогда ни разу не обидел ее. Разве можно позволить обидеть свое Величество? А если она, бывало, и обижалась, то только в силу своей закомплексованности, не всегда правильно понимая смысл сказанного мной. Я говорил ей одно, но на вору горела шапка, вмешивались комплексы, в корне изменяя сказанное мной.

А потому и не удивительно, что мои чувства к ней по своей силе, чистоте и святости не только не уступали, а порой и значительно превосходили мои чувства буквально во всем, кого я любил раньше, как будто у нее до меня не было никого и ничего, да и вообще не было прошлого...

Все лето и осень я могу оценить и выразить одним единственным и емким словом: счастье.

К обещанному мной сотрудничеству летом мы не стремились, ждали поздней осени, а лучше зимы; да и вообще — впереди у нас была целая жизнь.

Но счастье, как известно, не может длиться долго, иначе это будет несправедливо по отношению к другим. Так произошло и у нас с Раей. Рая устроилась на работу в фирму, осуществляющую охрану объектов, вахтовым методом. И опять на меня навалилась тоска.

«... Боже, почему ты не сделаешь, чтобы можно было все знать и видеть, ну, например, где сейчас Рая, что она делает?» — подумал я и тотчас ужаснулся своей мысли. Я сейчас, не зная ничего и не видя, и то еле живой. А если бы знал и видел, что делает и что думает обо мне Рая, близкие, дети я немедленно удавился бы, сошел с ума, погиб. В данном мне Богом неведении мое спасение. Большое ему за это спасибо.

Как все-таки мудр Творец. И как неразумны, а то и глупы мы. И все же заглянуть в неизвестное и запретное будущее нам порой, ох, как хочется. Я очень противился этому искушению и не выдержал.

И вот я сам у гадалки. Не у той, конечно, к которой не раз водил Раю. Водил, а в душе подшучивал над ее огромной страстью ко всему необычному, таинственному, над ее неподдельным интересом к эзотерическим наукам.

— Что Вас привело ко мне? На кого бросать?

— На меня.

Она неторопливо стала раскладывать карты и вдруг сказала:

— Я вижу, Вы приехали узнать не о себе, а по семейным делам...

— Да. И по семейным...

— Все было у Вас хорошо и вдруг... Вы очень встревожены, взволнованы, у Вас болит сердце. Рядом с Вами рыжая дама, она прямо рвется в Вашу семью. Зачем Вы ее впускаете? Не меняйте ее на ту, с которой живете. Она корыстная.

«Это Ольга» — подумал я и снова сказал. — Да, — и снова посмотрел в окно.

Она не может прожить и дня, чтобы не придти, не приготовить себе ужин.

— А вот еще одна. Она просто вредит вам, пытаясь вас развести, но вы не разойдетесь, вы будете вместе до конца своих дней. Семейная жизнь для Раи падает только с Вами...

— Вредит? Это, наверное, подруга или дочь.

За окном снова такая великолепная осень. В золотом убранстве слегка колышутся, роняя багряный лист, рощи, леса, одиноко стоящие деревья.

— Не волнуйтесь. Ничего страшного. Она боится Вас потерять. И в житейском, и в экономическом, и в других вопросах главенствуете Вы... Без Вас она пропадет, как рыжая мышь в степи. Никто о ней не будет так заботиться, никто так не поможет ей, как Вы, не защитит. Без Вас она никто. Вы буквально держите ее на руках.

«Как собаку в том сне», — промелькнуло в моем мозгу.

— А вот падает и ваш сын. Вы с ним сотрудничаете. А вот и дочка. С ней отношения немного другие. С ней вы общаетесь меньше.

— Да, она живет в Харькове.

— Обождите, Рая Ваша вторая жена? Это не ее дети.

— Да.

— У нее тоже двое детей. Дочки. У старшей что-то не ладится в жизни. Сама Рая прожила страшную жизнь со своими мужьями. Вы буквально вытянули ее из ямы, спасли от беды, и она Вам благодарна за это. Работа у нее есть, переставная...

— Правильно, вахтовая...

— Недавно она взяла кредит, но пусть не залазит, иначе будут проблемы...

— Да...

— Был у нее рыжий мужчина, но сейчас греха нет. Она не

хочет осложнять семейные отношения.

— Наверное, Валера...

Гадалка многое угадала из прошлого, и я поверил в то, что она говорила о будущем.

Расплатившись и поблагодарив, я вышел от нее радостный и окрыленный. Вдохнул на полную грудь свежего, пропахшего увядающей листвой и предзимней прохладой, воздуха. Мне опять хотелось жить, надеяться на лучшее. В хорошее всегда хочется верить.

Приближался день приезда Раи. Мое терпение давно лопнуло, я уже не то что не мог ее ждать, а не способен был жить. А поэтому я попытался спасти себя работой. В доме я все выдраил и выскоблил, выкупал в речке половики, ковры, ковровые дорожки, чего за мной никогда не замечалось. Пусть немного поревнует. Когда я все это расстилал, ко мне зашла Ольга.

— О, ты готовишься к приезду Раи!

— Как видишь...

А на следующий день Рая позвонила и сказала, что она заболела, а потому приедет на два дня раньше.

Я встретил Раю на вокзале. Ее было не узнать. Она была никакая: полинявшая, худющая, но по-прежнему... любимая.

— Будешь меня откармливать, — пошутила она.

— С удовольствием!

Войдя в выдраенную и выскобленную квартиру, Рая осмотрелась и вдруг сказала:

— Ясно! Здесь была женщина.

— Никого здесь не было! Можешь спросить Ольгу, она видела, как все это я делал сам, — нарочно неопределенно, чтобы немного подумала, сказал я, но она не поверила.

«Вот она-то здесь и была с тобой, — подумала Рая. — После этого я уж точно уйду от тебя».

И никакие мои доводы уже не могли поколебать этой ее уверенности.

Неделю она приходила в себя. У нее из головы ключьями лез волос.

— Я на эту работу больше не пойду...

— И не ходи.

Я был несказанно счастлив такому ее решению.

Но вскоре наша совместная жизнь, продолжавшаяся почти полгода и бывшая, казалось, счастливой, сделала неожиданный

зигзаг, а потом и крен. Все было прекрасно, пока однажды Рая не предложила:

— Давай покрасим трубы на кухне, побелим, старшая дочь хочет приехать к нам в гости.

— Хорошо. Я завтра узнаю почем сейчас краска.

Утром я объехал все магазины, вернувшись домой объявил:

— Узнал! Цена сносная. Завтра покупаем и красим.

Я не знал, что пока я ездил, Рая позвонила старшей дочери и та осталась недовольной ее решением, а потому Рая сказала мне:

— Куда ты торопишься. Дети приедут еще не скоро. Через месяц. Давай лучше сначала перевезем от Миши мои вещи: диван, постель, книги, шкаф...

— Сейчас я позвоню сыну...

Я тут же набрал номер его мобильного телефона.

— Сегодня и завтра я занят... В воскресенье выходной...

Понедельник тяжелый день. Короче, во вторник...

— Все, Рая! Во вторник перевозим твои вещи.

Рая ничего не сказала, промолчала, а потом, позвонив кому-то по телефону, вдруг вечером объявила:

— Митя, я уйду от тебя. Мы должны расстаться.

— Почему?

— Потому, что я до сих пор люблю Олега... К тому же ты ужасно ревнив... Может, в другой ситуации меня бы это и радовало, но...

— Где ты увидела мою ревность? Я что, устраиваю тебе скандалы, сцены ревности?

— Нет! Еще чего не хватало! Но ты фиксируешь каждое мое движение, поворот головы... Этот твой тотальный контроль... Я очень устаю от него, даже когда ты молчишь... Это еще хуже, чем если бы ты ругался...

— Чего же ты мне раньше этого не сказала?! Не придавай значения, оставайся... Не выдумывай! Чепуха все это...

— Нет, Митя. Это не чепуха. Я должна уйти. Ты первым не сделаешь этого... Но кто-то же должен? И как я первый раз дала себя уговорить? Мне недавно сказали, что я сумасшедшая, что живу с тобой...

— Или ты действительно спятила, или ты опять, как всегда, права...

— Не ерничай! Я думала, что забуду Олега, полюблю тебя... Видишь, не получается... Я не раз пробовала. То, что у тебя есть

положительного, хорошего, — перечеркивается твоей непомерной ревностью. При моем характере и состоянии здоровья, я не смогу жить с тобой, чтобы не болеть.

— Сможешь... Ведь ты же часто сама провоцировала эту ревность, говоря о своей любви к Олегу... А меня учила: «Думай, что хочешь, а вслух не говори» . Почему же ты сама не придерживалась самой же придуманных правил?

Видя, что это не нравится ей, я стал успокаивать:

— Рая, только не сердись, не надо...

— Я знаю, тебе выгодно жить со мной, — успокоившись, тихо сказала Рая.

— Да, это так, потому, что я был счастлив с тобой. Ну, а если говорить о выгоде, то я думаю, — это было выгодно и тебе. Я и в будущем, не уставая, всегда бы делал для тебя, что-нибудь. Ведь ты для меня по-прежнему — Ее Величество Женщина. Как источник воды в пустыне для жаждущих, источник счастья. Только представь: получать счастье от того, что кому-то что-то делаешь, заботишься?

В это время раздался телефонный звонок, Рая взяла мобилку, и я услышал голос старшей дочери:

— Мама, что тебя держит возле него?

— Жизнь, дочурка...

— Сколько тебе раз говорить, ищи квартиру! Ты ужешла?

— Сейчас пойду куплю газету с объявлениями...

Я не стал больше слушать их разговор, тихо сказал:

— Хорошо, я помогу перевезти твои вещи...

Вот тебе и гадание! А ведь гадалка многое угадала из прошлого, а потому я и поверил в то, что она говорила о будущем. Впрочем, может, это и лучше, что Рая уходит? — подумал я. — Я ведь ждал целый год после смерти Олега, что наши отношения с Раей изменятся к лучшему, но этого не произошло, а потому, как говорится, вольному — воля, блаженному — рай.

Ждать чего-то дальше не имеет смысла, подсказывал разум. Сердце же нашептывало совсем другое — прямо противоположное. И я, раздваиваясь, не знал: чью же сторону мне принять. Мне было непросто, но я не знал, что ждет меня впереди.

Я всегда чувствовал свою ответственность за Раю, за ее судьбу и жизнь.

Всю дорогу к новой квартире Раи мы мирно беседовали, как будто ничего и не произошло, будто мы всего-навсего вышли на

прогулку, а не расстаемся с ней навсегда. Мы оба были добры друг к другу, взаимно вежливы и предупредительны.

— Ты знаешь, Райчо, впрочем, мы с тобой уже не однажды говорили об этом, никак не могу понять, зачем судьбе было угодно соединить нас? Для того, чтобы помочь тебе в трудную минуту?!

— Не знаю...

— Вот видишь, даже ты не знаешь... Еще вчера, позавчера могло последовать продолжение наших взаимоотношений и что-то открыться. Сегодня же такое продолжение не предвидится... Тогда зачем все это? Моя неземная любовь к тебе, страдания... и твоя холодность?

— Ну, так нельзя сказать...

— Чего там нельзя, можно. Я сейчас о другом... Каждая женщина что-нибудь давала мне, обогащала... Ну, например, первая любовь — это плата за осознание самого себя в этом мире, за грехи отрочества и юности. Жена родила мне детей, Веса привела к Богу, Маша вдохновила на роман. Получается, одна ты бесплодна, как пустыня. Ну, почему, зачем? Допустим, я спас тебя от беды, вытянул из ямы, как говорила гадалка, но ведь все это я мог бы сделать и так. Со значительно меньшими затратами сил и нервов... Ничего не пойму...

— И я тоже. В последнее время я чувствую, как кто-то сильный, властный и невидимый буквально выталкивает меня от тебя в плечи, и я не могу противиться его воле. К тому же, и дети правы, мне пора устраивать свою жизнь...

Потом мы сходили с ней к Мише за ее вещами, взяли ковер, посидели на кухне, перемывая косточки последним общим событиям, и разошлись.

Уход Раи сделал меня ужасно несчастным. Решив, видно, порвать со мной окончательно и бесповоротно, она даже заботиться о себе не позволяла. Еще летом, когда она все время сокрушалась, что никак не может расстаться с этой зловредной своей привычкой, курением, я заказал для нее в Москве книгу Л. Карра: «Легкий способ бросить курить», обещавшую, по прочтении, почти стопроцентный, притом без усилий, абсолютно безболезненный отказ от курения.

Книга пришла, когда Раи уже не было со мной. Однажды встретив Раю, я сказал ей о книге, но она не взяла ее, заявив, что пока не собирается бросать курить, хотя раньше, живя с Олегом, а потом и со мной, все время собиралась. Этим своим отказом

она опять сделала меня глубоко несчастным, но я все же выразил сожаление:

— Зря ты ушла от меня...

— Я бы никогда от тебя не ушла, если бы ты не был таким занудным.

Я посмотрел на неё и промолчал. В тот же миг, увидев на ней новые сапожки, я побледнел:

— Это он тебе купил? — ринулся я с расспросами. Мне было невыносимо сознавать, что кто-то может заботиться о ней больше, нежели я.

Я ужасно страдал физически от того, что кто-то вдруг что-то, в том числе и день-день, делает для нее лучше, чем я. Делать для нее что-нибудь — было для меня источником жизни и радости. Не было ничего в мире, чего бы я для нее не сделал. И если раньше я был счастлив от какой-нибудь безделицы, пустяковины, то теперь, с уходом Раи, и выход книги, моего многолетнего труда, не приносил мне желанной радости.

— Да нет. Это дочь, — попыталась улыбнуться Рая.

Я несколько раз пристально посмотрел на ее новую обувь и, решил, что она не врет. С души немного отлегло, и я сказал:

— Страдания, которые выпали на мою долю, Бог, видать, посылает только за грехи. Так, видно, мучился, умирая, Валера...

— Не знаю... Наверно...

— Ведь ты потянулась ко мне душой, хотела, чтобы дружили наши дети...

— Да...

— И все могло бы быть у нас иначе, если бы ты осталась до конца с ним, если бы я не вырывал тебя оттуда, не желал ему гибели и втайне не радовался, что он умрет, а ты достанешься мне. А так все пошло на развал и разрыв...

— Наверное, ты прав... Только добавь, если бы ты еще не накладывал на меня, больше всего любящую свободу, свою несвободу.

— Хочешь сказать: вериги любви.

— Я уже все, что хотела сказать, сказала...

— Вот это, я думаю, и есть тот стержень, вокруг которого может закружиться повествование и лечь весь жизненный материал. А ты как думаешь?

— Не знаю.

А вечером у меня в одинокой, враз опустевшей без Раи квартире

опять родились стихи:

* * *

Дай Бог тебе и счастья, и добра,
Пусть лучик солнца вновь тебе приснится.
Как тяжело и горько без тебя,
Без губ твоих, улыбки и ресничек.

Я не прошу у жизни ничего.
Мне ничего в ней даром не досталось.
Лишь сладкий миг дыханья твоего,
Тепла ладоней призрачная малость.

Стократ тебя за все благодарю,
Давно уверен — все тебе простится.
Ты так улыбкой схожа на зарю,
Что ничего с тобою не случится.
Я не хочу ни клясться, ни просить.
Не вымолить того, что не судилось,
Но если жизнь моя тебе принадлежит,
Уверен — есть на это Божья милость?

Вот уже прошло несколько месяцев, как Рая ушла. Своим уходом она поставила меня на край гибели. Ночью, в одиночестве иногда мне кажется, что ничего хорошего я так и не знал с ней, было одно только зло. Хотя знаю — это не так. А иногда мерещится, что она ненавидела во мне все и тем сильнее и яростней, чем сильнее я ее любил, но и это, знаю, — неправда. Почему она была счастлива с ним и несчастна со мной, хотя я делал ей только хорошее? Но и на этот вопрос — нет ответа.

Однажды вечером мне позвонила Вера и сказала:

— Не жалею, Митя... Не послушал меня... Я же тебя предупреждала... теперь пеняй на себя...

— Спасибо тебе... Я до сих пор чувствую вину перед тобой... Рая не смогла со мной. Смерть Олега помешала ей, как и мне — смерть отца, по-настоящему полюбить тебя...

— Пустое... Чем ты сейчас занимаешься?

— Пишу.

— О ней?

— Да. Наконец, найден ключ и стержень к повествованию и к

нашему расставанию с Раей.

— Ну, и хорошо...

Я не стал объяснять Весе, что я нашел его в словах Раиной неоконченной повести: «Он вдруг почувствовал, что ему нравится быть с ней рядом даже тогда, когда она молчит. А она поняла, что он не мешает ей пребывать в своем одиночестве, быть самой собой».

И еще: «Он (Олег) с самого начала предоставил ей свободу, которой она так дорожила и никогда не посягал на ее независимость».

Все верно. Каждый человек имеет право на свою скорлупу, на свое убежище, на свою тайну, свою свободу и независимость. Во все времена за свободу люди платили своим здоровьем, а то и жизнью.

Привыкшая почти к абсолютной свободе, необыкновенно чувственная, чувствительная и ранимая, она в самой незначительной настороженности, малейшем подозрении видела угрозу своему благополучию и счастью, остро переживая самые что ни на есть драматические последствия надвигающегося в обозримом будущем скандала и разрыва даже тогда, когда он непосредственно и не следовал. Это был синдром беды, выработанный годами несчастливой жизни с прежними своими мужьями. Угроза неотвратимой расплаты, ожидание ее, повергало Раю в тяжкую болезнь, сопровождаемую немощью и приступами мигрени.

Олег был единственным человеком, повстречавшимся на ее пути и в ее жизни, который, предоставив ей полную свободу, никогда и ни в чем не упрекал ее.

А разве я не получал подтверждение в необходимости предоставления ей такой свободы в, наверное, уже забытом ею восторге в момент второй нашей близости. Подтверждение в словах, которых я никогда не забуду:

— Как мне только хорошо с тобой, Митя! Ты никогда не спрашиваешь, где я была, откуда пришла, куда иду.

Мучимый тоской и неизвестностью, я сел и написал, возможно, последнее стихотворение, посвященное Рае:

* * *

Ночь-колдунья встает над землей
Без разбора: и в стужу, и в зной.

Ты недавно была судьбою,
Ты моею была душой.

Нам от близости больше не вздрогнуть,
Жаль, не движется время вспять.
Ты мое отраженье, мой воздух.
Нет тебя — и мне нечем дышать.

Отболев, отошло, отпыпало
И оставило ночи без снов.
Неужели любви было мало?
Мало было признаний и слов?

Не сбылось. Не смогла. Не судилось.
Как жесток и безжалостен рок.
Ты прости, что любил, что обидел.
Не поэт. Не герой. Не пророк.

А на улице слякоть и сырость.
И не знает душа, как ей быть.
Мне хотя бы во сне приснилось,
Что сумел я тебя разлюбить.

И почти сразу же, в течение двадцати тридцати минут родилось
еще одно стихотворение:

* * *

Плененный силой твоих чар
Не в силах я
Себя заставить разлюбить,
Забывать тебя.

Пусть в прах рассыпятся миры
И жизнь моя...
Но кто мне может запретить
Любить тебя?

Мне не дано тебя забыть.
Прости меня...
И даже ты не запретишь
Любить тебя.

Давно уверен: дальше жить
Мне так нельзя,
Чтоб даже Бог не запретил
Любить тебя!

Да, я заложник у судьбы,
Любовь моя!
Мне даже смерть не запретит
Любить тебя.

Когда я, дописав последнюю строчку, отложил ручку, рассветало.
Прочитав мои стихи, мне звонили, отпускали комплименты, а при встрече не жалели слов благодарности:

— Благодарю, дружище! Вот это поэзия и я понимаю...

А встретившаяся старая учительница-словесница, растрогала меня до слез:

— Боже, какие стихи Вы написали, как они хватают за сердце, до слез трогают душу. Мне так хочется увидеть ту, которой Вы посвятили такие стихи. Какая она?

— Она, необыкновенная...

— Она читала Ваши стихи, знает?

— Да.

— Боже, на какую высоту она Вас подняла!

А и правда ведь, подняла.

Спасибо тебе, Райчо, за прекрасный, восхитительный мир, который ты нечаянно подарила мне и который я, возможно, не заслужил, и за все, за все, что, может быть, я не успел еще по достоинству оценить...

В этой жизни я был по-настоящему счастлив только с тобой, а потому ты навсегда осталась светлой страницей в моей жизни. Каждый прожитый с тобою день по богатству, глубине и яркости впечатлений — это целая жизнь со своими рассветами и закатами, счастьем и радостью. Каждый день без тебя — это медленная, мучительная смерть. И даже самый несчастливый день с тобой (хотя я таких и не помню, наверное, их просто не было у нас с тобой) во много раз счастливее всех счастливых дней моей жизни вместе взятых.

Теперь я часто думаю: хотел бы я повторения того, что было между нами? Безусловно, да! Но, к сожалению, то, что было тогда,

уже никогда не повторится, потому что за это время мы сами стали с тобой другими. Это просто невозможно, как невозможно дважды войти в одну и ту же реку.

Единственное, чего я хочу, так это поблагодарить Бога и судьбу за то, что Ты все-таки была, и, что страдания от твоего неожиданного ухода не ослепили меня, не обозлили, и все это вместе взятое не сделало нас врагами.

А главное, теперь я знаю, что такое счастье. Это когда душа ликует и трепещет, а я, неменяемый от твоего присутствия и близости, готов обнять и любить весь мир, и уже не помня себя от восторга и радости, обращаясь к небу, кричу:

— Я люблю тебя, Господи! Слышишь, люблю! Люблю, как никого и никогда еще не любил! Люблю за то, что Ты мне дал одну единственную в мире женщину, единственного человека на земле — Райчо! Люблю и знаю, что Ты дал мне эту любовь. Люблю и понимаю, что подобного со мной не было никогда и ни с кем. И уже никогда не будет.

Теперь-то я понимаю, что ты была единственной женщиной в моей жизни, которую я по-настоящему любил такой, каковой ты была на самом деле. Я знал почти все твои слабые и сильные стороны, все твои изъяны, и однако же любил, невзирая ни на что, потому как чувствовал: твои достоинства во стократ перевешивают твои недостатки.

В наших разговорах по телефону и при встрече ты обещала, что зайдешь ко мне в свой выходной. Нет, не для динь-динь, точнее не только для динь-динь, а для чего-то еще... Очень хочется тебя увидеть. Но прошло вот уже предостаточно времени, а ты не появляешься... И я понял, что между нами рвется последняя нить...

Может, лучше, чтобы она, наконец, порвалась?..

Я теперь часто гуляю в одиночестве. Иногда молча, иногда что-нибудь негромко напевая.

Сегодня в районе вокзала мне повстречалась девушка, говорящая по мобильнику. Она посмотрела на меня, поющего, и улыбнулась, видно, принимая меня за сумасшедшего или, может, счастливчика, абсолютно не подозревая, что пою я от того, чтобы посторонним не видно было, как рыдает душа. Как порой в отчаянии она кричит: «Господи! Все земные и небесные силы, верните мне ее!»

В ответ молчание. Но в этом молчании я читаю ответ: «Никто, ничего и никогда уже не вернет».

Порой кажется: не выдержать, не снести. Хотя знаю: должен, надо!

Человеческое счастье! Как порой много для этого надо! А мне не надо ничего: только делать для тебя что-нибудь, помогать тебе, тратить на тебя деньги.

Конечно, можно найти другую женщину. Клин вышибают клином, но как найти человека с которым можно быть постоянно и бесконечно счастливым? О котором заботишься, даришь безделушки, делаешь что-нибудь, тратишь на нее деньги — и от этого совершенно счастлив. Это только детей так любят, когда они маленькие.

Райчо! Я ни в чем не виновен перед тобой. Мне даже не за что попросить у тебя прощение, кроме как за то, что любил тебя.

Порой мне кажется, что я живу на этой земле только потому, что где-то есть ты.

Я понимаю: ничего у нас уже не будет, но соблазн быть счастливым с тобой может снова толкнуть меня тебе навстречу...

Вот я и написал о тебе, мое искреннее, любимое и золотое Райчо!

29.01.09 — 12.02.09 гг.

*Красиков М. М. Утро вечера : Стихи /
Михаил Красиков. — Х. : Эксклюзив, 2014. — 64 с.*

А.А. Потебня как-то отметил: «Лирика — это всегда *presens*»; то есть, лирика — это всегда настоящее время, попытка отразить мимолетность бытия. Поэт не может писать ни о чем другом, что бы он не переживал именно в эту минуту. Не существует отложенных впечатлений, как существуют отложенные книги. Именно поэтому стихи всегда очень трудно дорабатывать, ибо трудно (если не невозможно) возвратиться в ту эмоциональную стихию, при которой они создавались.

Сколько длится мгновение? При всей очевидности ответа, сказать все же тру не так просто. Иногда за миг можно подумать о многом, побывать мысленно так далеко, что мгновение вдруг неожиданно растянется, вдруг втиснет в себя всю жизнь. Поэзия, предметом которой есть сущий миг, тяготеет все же к сжатости высказывания, краткости изложения. Специалисты считают, что в сравнении с классическим периодом современная поэзия утратила множество признаков, оказавшихся относительными (рифму, строфику, размер). Осталась конститутивная особенность — уникальная насыщенность высказывания, возможность в одной строчке сказать так много, что прозой ее можно пересказывать очень долго.

У М. Красикова эта общая черта поэзии доведена до отточенности. Самые большие стихотворения — это три строфы, двенадцать строчек. Для него этого достаточно, чтобы схватить оброненное перо жар-птицей перо, запечатлеть миг, мимолетную мысль, вспыхнувшее чувство. Вся его книга — это дневник мимолетностей. Поэту свойственна сжатость, стремящаяся к афористичности.

Наиболее ярко эта черта отразилась в названии книги — «Утро вечера». Ведь это часть поговорки: утро вечера мудренее. Так говорила в сказках хозяйка, укладывая гостя-героя спать перед тем, как надо было принять судьбоносное решение или пройти

смертельное испытание. М. Красиков пишет для тех, кто эти сказки в детстве читал и хорошо запомнил вербальную формулу. Но именно поэтому, рассчитывая на читательскую память, он счел возможным урезать известный афоризм и оставить из трех слов только два. Он рассчитал, что третье скажем мы сами.

Оставшаяся неназванной мудрость превращается в главную героиню его поэтического сборника. Мудрость не приходит к человеку сама собой; ее приносят утраты, а утраты чреватые болью. На обложку книги М. Красиков выставил стихотворение-афоризм: «Совет поэту», текст которого состоит из двух коротеньких строчек: «Нет силы боли — / не пиши». Сила боли рождается из осознания утрат, а утраты приводят к мудрости.

Мудрость — это не константа, это процесс. Процесс обретения бесценного опыта и его осмысления. Такое осмысление поэт демонстрирует в каждом стихотворении. Вот одно: «Я вдвое старше своего отца... / Но не мудрей, конечно, не мудрее — / мудренее, быть может, и хитрее / сплеталась нить судьбы моей». Между мудрым и мудреным такая же разница, как между подлинным и поддельным. На другой страничке из дневника автор занят самопознанием: «Старатель памяти, смиренный архивист, / полуослепший над листом бумаги, / я не люблю художественный свист, / и я не гожусь в пророки или маги. / Стараюсь говорить, а не шуметь, / но более молчать и удивляться. И хоть жена советует умнеть, / но хочется все больше — умудряться».

Автор снова играет на различии смыслов: можно быть умным, но не мудрым, и можно быть мудрым, не блистать умом. В чем же разница? Ум — результат чистого созерцания, мудрость пропитана нравственностью, неотделима от нее. Представитель зла в народных сказках умен, но не мудр. Вот почему и М. Красиков противопоставляет процессы: умнеть и умудряться; для него это разные уровни обобщения человеческого опыта.

Концепт утрат, ведущих к мудрости, реализован во множестве стихотворений: в цикле «Памяти мамы», «Умершему другу», «Семейная эпитафия», в поэзиях с красноречивыми посвящениями: «Память не мирится с тем, что ты — Память...», «Мы все еще дети, пока не случилась беда...», «Прийти к старухе умирающей». Но хочется говорить даже не об этих стихотворениях, где боль уже уравновешена смиренным умиротворением, а о тех, где автор сумел подняться на вершину метапозиции и с нее оглянуть или оглянуться на прошлое.

«Голоса, / навсегда отзвучавшие / в моей телефонной трубке» — это не номинация (называние), это обращение; предложение заканчивается вопросом: «где вы?» и утверждением: «Я до сих пор вас слышу», я не настолько оглох, чтобы позорно забыть ваши интонации. Через глагол «забыть» автор выводит нас на понятие памяти. Любимое наречие памяти — когда.

Для сборника важны два стихотворения, начинающиеся этим словом. Первое: «Когда телефонный блокнотик / превращается в мартиролог». Второе: «Когда строгий Учитель...». Оба стихотворения развернуты вдоль хронологической оси: наше время — детство.

Так вот, когда телефонный блокнот превращается в мартиролог... Что это, собственно, означает? Что это говорит о возрасте автора, о его окружении? В мартиролог превращается блокнот, а не отдельные записи или даже страницы. Значит, потерь, утрат уже так много, что обо всем блокноте можно сказать: что это — мартиролог. И что же дальше? Что настает после этого «когда»? Автор видит спасение в памяти. Не в той памяти о близких, которая обжигает, обижается на то, что она только Память, то есть, предусматривает обижается на отсутствие то, что нет живых впечатлений, общения, а только то, что осталось в памяти, как в герметической оболочке. Это другая память, продуктивная память о детстве, о его радости, счастье, гармонии, когда можно было сражаться с «вождем индейцев», а потом «тихо сидеть у костра / рядом с непобежденным / врагом / и курить трубку мира».

А во втором стихотворении строгий Учитель после многих летних каникул (это может быть символом всей жизни) задает автору классное сочинение «Как я провел жизнь». Поэт после двух часов сдает чистый листок, ибо «Слову слова не нужны, / а словам перед Словом — / стыдно». Учитель оказался непрост, и не зря поэт написал это слово с большой буквы. Ведь это Слово оказалось Учителем. Слово тоже пишется с большой буквы, ибо это не простое слово, а то, что сродни с Логосуом, из которого возник мир, Вселенная.

Стихотворения, сжатые до афоризмов, — это отдельная тема. Удивительно услышать от поэта: «Не люблю говорить / о стихах, / как не люблю — / о любви». Если вспомним о заявленной ранее интенции стремлении «молчать и удивляться», то станет понятным стремление поэта к сжатости высказываний,

компактности мыслей. Он дорожит словом и не бросается им почем зря. Многие его стихотворения — это высказанные в одном предложении наблюдения. Вот как это: «Как переживают дождь, / старик переживает жизнь: / вот-вот прояснится Небо (sic! — с большой буквы) / и можно будет выйти / из случайного укрытия».

Афоризмы очень часто зиждутся на парадоксе: «Завести бы кота... / Завести бы собаку... / Завести бы жену... Завести бы их / далеко-далеко...». Автор не обделен юмором. Если принять все афоризмы, произведенные человечеством, за единицу, то не меньше половины из них будут построены на эффекте комического. У М. Красикова есть стихотворение «Вместо рецензии», состоящее из двух строк: «Сестра таланта тщетно ищет братца / в стихах немногословного паяца». Потрясают однострочные афоризмы: «Нечаянно прожили вместе жизнь» или латино-украинское выражение, которое нужно читать глазами: «Cogito, ergo — сум».

Сущность первого — в неожиданном наречии «нечаянно». Нечаянно совершают проступок, нечаянно разбивают чашку. Слово это происходит из старославянского «чаять», то есть ожидать чего-то. «Нечаянно» означает — неожиданно, что-то такое, чего не должно было случиться. Как можно нечаянно прожить совместно жизнь? А вот так и прожили люди, не ожидая и не надеясь, что ее, жизнь, доведется провести рядом друг с другом, но так и прожили невзначай. Вот вам иллюстрация к понятию о лирике как о сжатом типе высказывания. Ведь мы рассуждали только лишь об одном слове.

Другой афоризм под стать первому. Латинское выражение французского философа Р. Декарта «Cogito, ergo, sum», сформулированное впервые в 1637 году в трактате «Размышления о методе», означает: «Мыслю, следовательно, существую». М. Красиков переосмыслил его. Опять же, из трех слов Р. Декарта он оставил два и прибавил третье — украинское. «Сум» по-украински — невеселое настроение, вызванное утратой, горем, неудачей. По-русски его можно перевести словами «грусть, печаль, скорбь, уныние». Так вот, по М. Красикову, мыслить — это значит, переживать «сум», грустить об утратах, восполняя их в своей памяти.

На презентации книги перед студентами Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина я спросил автора,

как он относится к книжке стихов: как к сборнику поэзий, написанных за несколько последних лет, или как к художественной целостности. М. Красиков ответил, что, конечно же, как поэт он пытается воссоздать целостный художественный мир и обратил внимание на одну особенность книги: на каждой страничке в уголке, где место для номера, нарисован одуванчик. Сначала мы видим его с пушистой головой. Потом от нее отрываются под порывами ветра пушинки и улетают в разные стороны. На финальных страницах видим лысину, на которой не осталось ни одной пушинки. Одуванчик — красноречивый символ утрат, обнажения человеческого сердца, прекрасная аналогия к содержанию книги.

Мы же хотим обратить внимание на еще один изобразительный символ. Там, где обычно над лирическим стихотворением ставятся три звездочки... Вспомнилось у Льва Озерова: «Лирика. Три звездочки. Это не коньяк. / Это я буланого тороплю коня». Так вот, у М. Красикова вместо трех звездочек нарисован паучок или паутинка с паучком. По мировой мифологии, паук, создающий из самого себя свой дом, плетущий сети для добычи, — это символ Творца, создателя мира, Вселенной. Откуда берутся стихи? Из ниоткуда. Из воздуха. Поэт занимается плетением словес, как паук — паутины. А мы, читатели, попадаем к нему в плен. Паук — это тоже изысканный символ мудрости. Разве она не нужна для сотворения мира?

Вот в таком мире М. Красикова побывает каждый читатель его книги. И будет благодарен автору как интересному, мудрому собеседнику за время, проведенное вместе, и за те тайны, понять которые помог поэт.

АВТОРЫ ЖУРНАЛА
Биографические справки

ЗАЙЦЕВА (Глибицкая) Светлана Борисовна родилась в г. Харькове (1957). Закончила филологический факультет ХГУ им. М. Горького. В настоящее время – главный библиограф ЦНБ ХНУ имени В. Н. Каразина. Печаталась в журналах «Юность», «Радуга», «Дикое поле», «Союз писателей» и др. Автор поэтических книг «Всезнание сгоревшего листа», «Сколок», «Звенящий свет», прозаической книги «Искры в ночи». Автор библиографических, литературоведческих, краеведческих статей.

Живет в г. Харькове

КУЛИШКИН Георгий Семёнович родился в Харькове (1950). Окончил ХГУ им. М. Горького, филфак. Работал в сфере бытового обслуживания населения. Публиковался в центральной и местной печати. Автор двух книг (1987, г. Москва, «Молодая гвардия», 2016, Харьков). Одна из его книг экранизирована.

Живёт в г. Харькове.

КАТАЕВА Римма Александровна – поэт, переводчик, критик, публицист. Родилась в г. Харькове, школу закончила с золотой медалью. Член НСПУ. Автор 11 сборников поэзии. Публиковалась в украинских и международных сборниках, альманахах, журналах. Подборка стихов на украинском языке вошла в книгу «А українською – так» (Антологія російської поезії України. Київ, 2011). Лауреат всеукраинской литературной премии им. Николая Ушакова, муниципальной литературной премии им. Бориса Слуцкого.

Живёт в г. Харькове.

МИХАЙЛИН Игорь Леонидович родился в г. Харькове (1953). Окончил ХГУ им. М. Горького (1976). После окончания университета работает в нем, пройдя путь от преподавателя до профессора. Заведующий кафедрой журналистики (с 1996). Академик Академии наук высшей школы Украины. Председатель Харьковского историко-филологического общества (с 1999 г.), почетный гражданин г. Мерёфы Харьковского р-на (с 1997). Автор 345 научных и научно-популярных работ, учебников по журналистике.

Живет в г. Харькове.

ОЛЕФИРЕНКО Михаил Николаевич родился в селе Устивица Великобагачанского района Полтавской области (1945). Закончил Полтавский инженерно-строительный институт. Автор 12 романов, все произведения переведены автором на русский язык. Печатался в журналах: «Версия», «Темные аллеи», «Вітчизна», «Киев», «Березиль», «Слобожанщина». Лауреат шести литературных премий.

Живет в г. Балаклея (Харьковская обл.)

ОМЕЛЬЧЕНКО Василий Михайлович - член НСПУ, Союза писателей России. Автор более тридцати книг. Лауреат Международного литературного конкурса «Вечная память», посвященного 65-летию победы в Великой Отечественной войне. Лауреат республиканской премии имени В. Г. Короленко.

Живет в г. Харькове.

ПОЛЯКОВА Ольга Николаевна (1952-2015) окончила техникум, работала на подшипниковом заводе в измерительной лаборатории. Как отличного специалиста, её постоянно включали в специальные комиссии, с которыми она побывала почти на всех подшипниковых заводах СССР – в Сибири, на Урале, на Волге, в Москве, в Минске. Последние годы, после окончания курсов медицинских сестёр, работала в медицинском учреждении.

СЫТНИКОВА Антонина Семёновна родилась в Сумской области (1955). Окончила Харьковский политехнический институт и по распределению приехала в Орел. Работала на Орловском сталепрокатном заводе инженером-электронщиком. Член Союза писателей России и Международного Союза писателей и мастеров искусств, победитель Международного поэтического конкурса «Лики истории», лауреат региональной премии им. А.А. Фета, победитель регионального конкурса «Омские мотивы», лауреат Российского писателя за 2015 год. Автор трех поэтических книг: «Мираж», «Чаша света», «Звездная память» и трех коллективных сборников «Зеркало Пегаса».

Живёт в г. Орле.

ФИЛАТОВ Аркадий Павлович родился в г. Дзержинске Горьковской области (1938). Окончил физико-математический факультет Харьковского университета (1960); кандидат физико-математических наук (1971). Автор двух десятков книг, публикаций в журналах «Юность», «Знамя», «Континент», «Синтаксис», «Нева», «Звезда», «Заря Востока», «Звезда Востока», «Волга», «Урал». Писал сценарии для кинофильмов, отмечен премиями Московского (1980), Ташкентского (1981), Филиппинского (1981) и Рейкьявикского (1981) кинофестивалей за сценарий фильма «Великий самоед». Писал песни в содружестве с композиторами Б. Мокроусовым, Е. Дога, А. Шнитке, Л. Пугачевым, Ю. Ершовым, Ю. Севас-тьяновым. Переводил поэзию с болгарского, испанского, словацкого, украинского языков. Стихи Филатова переведены на английский, болгарский, грузинский, казахский, немецкий, польский, словацкий, украинский, французский, чешский языки.

Живет в Харькове.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ

Аркадий ФИЛАТОВ. «...Лукавит словами душа»	3
Светлана ЗАЙЦЕВА. «... Сердце бьет за раскатом раскат»	37
Римма КАТАЕВА. «... И распахнутся улицы улыбкою черёмухи».	79
Антонина СЫТНИКОВА. 450-летию основания г. Орла	167

ПРОЗА

Ольга ПОЛЯКОВА. Формула вечной жизни	10
Василий ОМЕЛЬЧЕНКО. Этюды о любви	43
Георгий КУЛИШКИН. Из книги «Мужской роман».....	86
Михаил ОЛЕФИРЕНКО. Райчо	174

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Игорь МИХАЙЛИН. Обронённое перо жар-птицы	235
---	-----

АВТОРЫ ЖУРНАЛА

Биографические справки	239
------------------------------	-----

Литературно-художественный журнал

СЛАВЯНИН

№28

Гл. редактор Л.И. Мачулин
Редактор отдела поэзии Р.А. Катаева

Корректор *А.Н. Балабанова*
Художественный редактор *В.В. Вербицкий*
Вёрстка *А.И. Забродин*

Подписано к печати 30.03.2016. Формат 70x108 1/16.
Бумага офсет. Печать офсет. Гарнитура *PragmaticaCond* СТТ. Уч.-изд. л. 14,40.
Изд. №2. Зак. №__. Тир. 300 экз.

Учредитель: 000 «Институт Восточно-славянской цивилизации».
61012, Харьков, ул. Полтавский шлях, 9, кв.1, 1А.

Адрес редакции для писем:
а/я 9127, Харьков, 61057, Украина.
е-mail: editor01@list.ru
<http://slvn.org/>

Издатель: Мачулин Л.И.
61057, г. Харьков-57, ул. Рымарская, 17, оф.14.
Свидетельство о госрегистрации: сер. ХК №125 от 24.11.2004 г.

ISSN 2221-9331